Г. АРТОЗЕЕВ

Партизанская быль

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В августе 1941 года по решению Черниговского обкома партии в Добрянском районе был организован партизанский отряд, в состав которого вошёл Г.С. Артозеев. 18 августа 1941 года отряд углубился в лес. Уже в первых боях с немецко-фашистскими захватчиками Г.С. Артозеев отличился смелостью и бесстрашием. Позже с небольшой группой партизан присоединился к Черниговскому партизанскому отряду под командованием Алексея Фёдоровича Фёдорова, где был назначен командиром разведывательного взвода. Мужественный, сильный и ловкий, он лично уничтожил 102 гитлеровца. В феврале 1942 года Г. С. Артозеева перевели в минёры, и он стал командиром взвода диверсионной группы партизанского соединения под командованием А. Ф. Фёдорова. За год боевой деятельности диверсионной группы Г.С. Артозеев лично подорвал 7 вражеских эшелонов и один бронепоезд.

- Г. Артозеев
  - Часть первая
    - После разгрома
    - Куда мы пришли
    - Большой семьей
    - Партизанская арифметика
    - «Мадьярский проспект»
    - Первая награда
    - Весна в лесу
    - В родном селе
    - Группа «Комсомолка»
    - Мадьяр Миша
    - Они не вернулись
    - Мед бывает разный
    - Листочек
    - Верный друг «Дегтярев»
    - Наша Лена

- Трудное задание
- Две свадьбы
- Танки «Черниговский партизан»
- «Новый вид» оружия
- Семьи Станченко
- В добрый путь, товарищи!

○ Часть вторая
- Командир отряда
- Первый марш
- Шапка Мономаха
- Кто был прав
- Тимоновичские подпольщики
- Совещание с «активом»
- Пасхальная всенощная
- На глазах у охраны
- Новые помощники
- Комиссар Немченко
- Лес в огне
- Опять у родного дома
- Караси
- Смена старост
- Село взято без боя
- Все помни, все проверь
- Родственные узы
- Бессонница
- Снова вместе
- Кудровский бой
- До последнего дыхания
- Новости большие и малые

Г. Артозеев
ПАРТИЗАНСКАЯ БЫЛЬ

Братья Артозеевы: Николай, Георгий, Владимир - партизаны Черниговского соединения им.н.н.Попудренко 1943-1944 г.

Часть первая

После разгрома

В сумеречный осенний вечер мы уходили из своего леса.

Отряд был разбит. Нас осталось пять человек. Надо куда-то идти, что-то делать, — надо жить.

У всех есть оружие. Я даже с пулеметом Дегтярева; к нему три диска. Есть у нас на всех одна полевая сумка, почти доверху наполненная мукой. Немного сухарей.

Идет холодный дождь. Одеты плохо. Но это бы еще ничего. Беда, что нас так мало. Мы уже не партизанский отряд, вообще — не сила.

Где-то в других участках этого большого леса, верно, есть еще наши ребята. Но где?.. Мало нас осталось в живых; это мы знаем.

Чтобы жить, надо найти другой отряд.

На Черниговщине лесов много. Может ли быть, чтобы в других районах не оказалось партизан!.. Только бы удалось проскочить полицейские заставы, не нарваться на врагов по дороге.

Мы быстро шли по знакомым местам. Тропинки хорошо известны — ведь лес был нашим, партизанским. Вот скоро пересечем дорогу в том месте, где недавно мы так удачно захватили грузовик с медикаментами. Дорога и сейчас не пуста. Явственно слышен шум. Он нарастает. Движется не одна машина, а целая вражеская колонна.

Конечно, можно бы переждать в сторонке. Но партизанская привычка тянула поближе к врагу — посмотреть, что за силы идут, хотя в нынешнем положении мы не могли нанести им урона.

Мы схоронились в кустах у дороги, стали ждать. Ждали долго. Колонна шла медленно. То ли размытый дождями путь был неудобен, то ли машины нагружены слишком тяжело?..

Вот появились первые грузовики. Считаем: восемь, пятнадцать, двадцать пять. А потом — тягачи с орудиями. Потом — танки. Кажется — век прошел, а они все движутся.

Холодно, мокро, страшно: нас так мало. Что мы можем сделать? — Нет нашего отряда, нет силы, нет даже смелости, может, потому, что смелость сейчас — просто глупость.

Очень хотелось, чтобы скорей уж проехали: смотреть в бессилии на врага — дело тяжелое.

Но едва с наших глаз скрылся хвост колонны и мы поднялись, чтобы идти дальше, как на дороге появилась группа пеших солдат. Они вели на поводках немецких овчарок.

Псы были большие, сильные. Мокрая шерсть слиплась, только уши торчат. Нелепо, что от этих собак, даже больше, чем от врагов, зависит сейчас жить нам или не жить?..

В сгущающихся сумерках собаки мне чудились везде. Когда же, наконец, отряд миновал нас и скрылся за поворотом, мы, ни слова не говоря, поднялись и побежали в противоположную сторону.

Уже давно позади дорога, а мы все не можем остановиться. На пути лежат поваленные буреломом деревья, растет густой кустарник, попадаются ямы, наполненные водой. Мы падаем и бежим снова. Пулемет скачет у меня на плечах, колотит по спине, по шее. Ужасно хочется пить.

Но вот — мы все-таки остановились. Сели на поваленное дерево. Я снял пулемет и пошел поискать лужу — напиться.

Передо мною блестит вода! Я наклонился, припал к ней губами, но едва успел немного освежиться, тревожное чувство заставило поднять голову.

По другую сторону лужи неподвижно замерла оскаленная собачья морда. Значит, шла следом, догнала.

Мне стало очень жарко. Потом сразу холодно. Осторожно потянул руку за оружием. А она — не шевелится, смотрит. И не лает. Только шерсть всклокочена, — у этих немецких овчарок всегда при виде врага шерсть поднимается на шее. А глаза дикие, встревоженные.

Замечаю: для овчарки, если действительно немецкая, пес выглядит плохо: те были свежие, холеные, а это — обшарпанная, с подтянутым животом.

И вдруг соображаю: волк! — и он даже рычать боится. Вот повернулся, прыгнул в кусты и затих. Я не тронул его, не послал вдогонку пулю.

Вернулся к товарищам и ничего не рассказал им. На душе было противно: мы сами, будто дикие звери, опасаемся встреч с людьми, крадучись подходим к селам, пьем воду из луж. Землю нашу захватили бандиты, убийцы. Вот — волка я не тронул, а любого из тех, что повстречал на дороге, мог, кажется, растерзать зубами.

— Что ты все бормочешь? — спросил меня один из товарищей.

Я даже не нашел слов, чтобы объяснить, какая меня охватила ярость.

— Нечего рассиживаться, пошли! — резко ответил я. Так

начался наш путь из родного леса.

Не помню подробностей — кто как себя вел, о чем говорили. Говорили вообще мало — было слишком тяжело. Мы верили друг другу, знали, что никто не выдаст, не засядет на печке у добрых хозяев; если придется драться — не побежит никто… Но иногда мы ссорились.

Товарищи предлагали зайти в село. Разведали — гитлеровцев там не было. Я воспротивился. Знал, что в этом селе поставлен старостой сын кулака, вор и спекулянт Влас Дудник, по тюремной кличке «Постой». Что это за тип — я знал неплохо. Не мог не знать: до войны я работал в милиции. Сам его однажды арестовал за хищение колхозного добра. Как он теперь тут оказался снова — черт его знает. Верно, бежал из заключения. Для нас такой экземпляр не лучше гестаповца.

В село мы не пошли; немного поругались, но я настоял на своем. А вообще-то — всюду было опасно.

До войны я ходил и ездил по нашему району как представитель порядка. Я был занят расследованием случаев хулиганства, краж, знахарства. Делал все, чтобы охранять права и интересы советских граждан, чтобы людям жилось хорошо и спокойно. Я и привык за годы работы в милиции смотреть вокруг себя именно с этой точки зрения.

Но вот — война. В райкоме партии мне сказали: «Останешься в тылу. Будешь воевать в партизанском отряде». «Хорошо, согласен.» Я тогда и не подумал, что на фронте было бы легче: не видел бы того, что творится в моем районе.

И вот теперь я, милиционер, оперативный работник, хранитель советских законов, — иду оборванный и голодный по своему району и не могу зайти ни в одно село, не могу помочь людям, потому что здесь нет ни Советской власти, ни милиции! Здесь теперь — капитализм, про который я читал в газетах с ощущением, что это — где-то далеко, вроде как на луне.

Раньше, надевая кобуру с оружием, я не собирался кого-нибудь уничтожать. Теперь только и думаю: как бы удачнее выпустить очередь из пулемета. Вот, жил на свете тридцать лет, и все было как надо. А потом мир перевернулся.

Мне казалось, что мои товарищи не могут ощущать все эти перемены так резко. На них раньше не лежала прямая ответственность за порядок и благополучие мирного населения. А вот мне — особенно трудно. Но, конечно, трудно было всем.

Очень плохо мы себя чувствовали, когда удавалось подойти к селу и спросить — не слышно ли чего о партизанах.

Кто из таких скитальцев, как мы, не стучался с этим вопросом в окно крайней хаты? Кто не радовался, услышав в ответ, что

партизаны близко? А нам такие ответы причиняли новую боль и горе: жители торопливо рассказывали о боевых делах нашего, Добрянского, отряда!

— На Октябрьские дни партизаны брали районный центр. В Добрянке Советская власть была, поднимали красные флаги.

— Взорвали какой-то важный автобус в Киселевке.

— На железной дороге подстроили три крушения.

— За Сожью, люди слыхали, был бой. Два дня сильно бились.

При каждом таком сообщении невольно опускалась голова. Нам ли не знать о взятии Добрянки? Тогда мы все принимали участие в нападении на районный центр. Да и все, о чем нам рассказывали, мы знали лучше, чем любой из жителей окрестных сел. Под штабной автобус в Киселевке я подложил мину собственными руками, да и сам чуть не взорвался: был неопытным. А про бой на реке Сожь — просто слушать невозможно: сжимается горло. Там-то и нашел себе могилу наш славный отряд.

Народ помнил каждый наш шаг, с гордостью говорил о добрянских партизанах. И пока мы не вышли из своего района — тень отряда будто шагала за нами по пятам. Отовсюду только и было слышно о боевых делах нашего погибшего отряда.

Какой хороший был коллектив! Как случилось, что он погиб — я не мог понять. Ведь всем заранее ясно, что партизаны обычно имеют дело с превосходящими силами противника. Но это же не означает, что те, кого меньше, в конце концов должны погибнуть. В чем тут секрет? Вот что тогда еще здорово меня мучило, и чего я никак не мог осмыслить. Не знали этого и мои спутники. Все были рядовыми бойцами. Исполняли приказы, но о тактике партизанского движения ничего еще не слыхали.

Один товарищ из нашей группы тоже, видно, пытался решить тактический вопрос и запутался. Может быть, просто струсил? Он вдруг заявил, что не видит смысла покидать свой район: партизаны затем и оставлены в тылу, чтобы действовать в родных, хорошо им известных местах. Он предложил разойтись поодиночке и попрятаться у верных людей до лучших времен или хоть до весны. Конечно, он, подобно нам всем, надеялся в глубине души, что к весне война кончится: Красная Армия скоро перейдет в наступление, мы победим.

Разговор с этим товарищем случился, когда сильно подморозило. Прошла та промозглая пора, когда сырость пробирает до костей: еще не зима, и уже не осень. Но вот кончился ноябрь. Выпал первый снег. Растаял. А потом выпал снова и одел схваченную морозом землю тонким покровом. Даже птичьи следы оставались на нем такими четкими знаками, будто

их печатали типографской краской на белой бумаге. А уж наши потянулись такой веревочкой, что самый глупый полицай сообразит, какие «птицы» ее оставили.

Мы даже боялись сделать привал, присесть, отдохнуть: следы, как же угнетали они нас! Но все же — крепились, помалкивали. Только товарищу Петряку они вывели из строя нервную систему. Он и вообще-то любил поворчать, в отряде его прозвали «воркотун». В остальном партизан как партизан, а начнет болтать — на глазах превращается в слякоть.

Мы все были не в парадном виде, шли со стиснутыми зубами. Каждый мучился по-своему. Двое молчали, будто языки поотнимались. Я то и дело поругивался. Наша единственная девушка мужественно переносила все мытарства. Редко отвернется, чтобы поплакать, при этом закроет щеки руками, будто зубы заныли. Но жалоб — никаких.

И вот на пятый или шестой день пути Петряк начал нас изводить.

— Не везет, так не везет! Хоть бы растаяло. А так идти же нет смысла! В любую минуту нас могут нагнать мотоциклисты.

Сперва никто ему не отвечал. Но следы сводили Петряка с ума, и он истощал наше терпение.

Однажды, когда он по своему обычаю каркал, что мы скоро погибнем, его прервала Мария. Я удивленно посмотрел на нее: охота вступать в спор? Известно, какой Петряк воркотун. Идет — и ладно!..

— Мотоциклисты! — сердито сказала Мария. — Будто у нас оружия нету. Что вы предлагаете? Только за душу тянете. Гибели ждете?

— Ты чего? Придира! — кинулся на нее Петряк. — Слова не дает сказать. Я тебе не мальчишка. Командуй своими комсомольцами, когда они найдутся. А меня не учи! Слышишь, не смей меня учить!.. — тон его был истеричным.

Не знаю, что ответила бы ему Мария. Она закашлялась. Меня взяло зло. Девушка была права. Я сильно и коротко выругал Петряка.

— А ты без «пулеметных очередей» не можешь? — огрызнулся он.

— Все-таки лучше без «слов», — неодобрительно сказала Мария.

Без слов — вообще всяких — действительно было лучше. Никогда еще на душе не было так темно. А что об этом скажешь? Уж вернее помолчать. И снова долго шли молча.

На седьмой или восьмой день попали в молодой березовый лес, где недавно произвели порубку. Вдруг настроение Петряка

резко изменилось. Его успокоило, что тут появилось множество следов: среди них затерялись наши. К тому же еще пошел снег.

За прикрытием высоких штабелей дров мы развели костер, сварили мучную похлебку.

— Вот это удача! — объявил Петряк, с шумом втягивая свою порцию супа.

Вообще известно, что после обеда люди рассуждают иначе, но с той поры Петряк стал то и дело переходить от полного уныния к необоснованному восторгу. Каждая померещившаяся ему фигура, эхо, далекий выстрел были «гибелью», а кусок хлеба, поданный доброй хозяйкой, — «спасением».

Потом он стал настойчиво предлагать разойтись по селам, доказывал, что мы заблудились, будем топтаться на одном месте, пока нас не схватят.

И без него было тошно. Кончилось тем, что мы разругались. Не выдержал самый молчаливый из нас — Тимошенко.

— И что ты зудишь хуже комара? — сказал он Петряку. — То «повезло», то «не повезло». Идешь — и иди.

Но Петряк был только рад возражениям. Тут-то он мог поговорить:

— Как это так — иди? — вызывающе спросил он. — Если бы мы находились в нормальных условиях. А тут — пропадешь ни за понюшку табаку. Не знаем даже толком — куда нас несет. Лишь бы идти!

— Это почему такое — не знаем? — обиделась Мария. — Ведь уговорились — в Корюковку.

— А вы точный адрес имеете? — съязвил Петряк. — Партизаны вам оттуда письмо прислали? Я вот знаю только одно: живет там Марусина мать. И место для дочери на печке найдется. А мы кто? Провожатые?..

В Корюковке действительно жила мать нашей спутницы. Мария горячо советовала нам идти туда. Мы согласились. Но вовсе не потому, что в городке был свой человек. Мария знала Короткова — секретаря Корюковского райкома партии; знала, что на местном сахарном заводе большая и сильная партийная организация.

— Не может быть, — говорила Мария, — чтобы в наших лесах не было партизан. Где же тогда быть всем этим людям?

Это было справедливое рассуждение. Мы пошли в Корюковку с уверенностью, что найдем там своих, найдем партизан и будем продолжать борьбу.

Истерика Петряка и его выпад против Марии истощили наше терпение. Митрофанов, работавший в Добрянке начальником конторы связи, высказался еще довольно деликатно:

— Ты что? Груз, оплаченный с доставкой на дом? Мы тебе квитанцию о прибытии к месту назначения давали? Захотел на печку — так и ступай!

Другие говорили попроще; я, признаться, без «слов» не обошелся.

— И прекрасно. И к черту, — отвечал Петряк. — В первом же селе от вас отстану. Немало есть патриотов — скроют у себя до подходящего момента. Посмотрим еще, кто будет прав. Лучше сохранить жизнь для борьбы, чем бессмысленно сдохнуть в дороге!

Однако в первом же селе вышло по-другому. Когда подходили к нему, услышали стрельбу, плач, крики. Ясно: даже к крайней хате подойти нельзя. Придется двигаться дальше. И вдруг в овражке неожиданно наткнулись на ползущего по снегу человека.

— Кто тут? — тихо воскликнул Тимошенко.

Вопрос остался без ответа. Было слышно только прерывистое дыхание, с присвистом рвущееся из груди человека.

Я подошел ближе, наклонился и разглядел забинтованную голову, солдатскую гимнастерку.

— Товарищи. — обратился я к своим. — Давайте, живо! Поднимайте! Митрофанов, Тимошенко — заходите слева. Мы с Петряком возьмем отсюда.

Раненый со слезами в голосе прошептал одно только слово:

— То-ва-ри-щи?

Когда подняли, он охнул и потерял сознание. Пошли — стал часто вскрикивать, метался, рвался из рук.

Наступила ночь. Мы сделали в лесочке недолгий привал. Солдата положили на еловые ветки. Свет костра так падал на его измученное, обросшее светлой бородой лицо, что парень казался седым стариком, а в иной раз тени заостряли его черты и чудилось: он умер.

Через час он все-таки очнулся. Кое-как поел мучной похлебки, и стало ему будто получше. Рассказал, что полз чуть ли не целый день из хаты до оврага. Немцы налетели на село еще с утра. Он ушел, чтобы не подвести хозяев: «Два месяца они меня выхаживали. Подвести разве можно», — говорил он очень тихо, с перерывами и большим напряжением: «Думал о партизанах, мечтал. И вы так близко. Какое мне счастье.»

Счастье ему выпало только то, что умер он на руках у своих. Мы пронесли его километров пятнадцать. В поле, близ села, к которому подошли мы под утро, стояла скирда немолоченной гречихи. Сильно подморозило. Земля будто камень. Кроме этой скирды, деваться некуда. Промерзшие стебли были жестки, как

проволока. Обдирая руки в кровь, мы вытащили несколько снопов и сделали пещеру. Туда уложили красноармейца и сами легли с ним рядом. Дышать было тяжело. Воздух в норе стал от нашего дыхания сырым и удушливым, но после пяти бессонных ночей все заснули.

Вокруг скирды завывал ветер, гоняя снежную пыль. У нас в укрытии по крайней мере не дуло.

Здесь и пришлось оставить тело нашего шестого товарища. В карман его гимнастерки положили записку:

> «Товарищи колхозники. Похороните честного солдата своей Родины — красноармейца Позднова. Не дайте фашистскому зверю надругаться над его телом. Мстите оккупантам! Кровь за кровь! Смерть за смерть!»

Записку писал Петряк. Когда кончил, разрыдался.

И снова мы пошли впятером по снегу. Мороз крепчал. Еще, кажется, никогда наша Украина не видала такой ранней суровой зимы. Нас не защищала окаменевшая одежда. Ветер больно резал лицо, выбивал слезы. Ноги у всех были уже обморожены. Мерзли даже зубы. И настал день, когда мы не выдержали — пошли на сумасшедший риск.

Укрыться было негде. Наступало утро. Лес далеко. Село близко. На улице стоит немецкая машина. К чердаку крайней хаты приставлена лестница. Кругом все тихо. Людей не видать. Мы переглянулись:

— А что, если на чердак?

И мы полезли. На чердаке оказалось много сена. Зарылись в него. Наконец-то согрелись.

Целый день мы пролежали в углу чердака, прижавшись друг к другу. А внизу шла своя жизнь.

Едва начался день, к «нашему» двору подъехали подводы. Мы слышали, как в хату вносят что-то тяжелое. И представлялось нам, что это мешки и чемоданы с награбленным добром.

Несколько голосов спорили по-немецки. Потом чокались, горланили песни, били посуду, над кем-то смеялись. Нестерпимо хотелось прямо через доски потолка расстрелять всю эту компанию. Но кто-то тихо плакал. Женщина или ребенок, не знаю. И казалось, что если решиться и дать через потолок очередь — непременно убью того, кто плачет.

До ночи лежали в том осином гнезде. Хорошо, что внизу так шумели; мы неслышно спустились и ушли незамеченными.

Когда пришли в лес, первым подал голос Петряк:

— Ах, как отдохнули! Мы, ребята, счастливые! Где хочешь, проползем.

И тут я обозлился. Не только на Петряка, нет, — на себя тоже, на всех нас.

— Чего радуешься, чучело! Еще раз шкуру спасли. А что мы будем делать с этой нашей шкурой?! Партизаны ушли незамеченными. Вот это достижение, вот это счастье! Нет, на такую жизнь не согласен. Собак боимся, мотоциклистов боимся, пьяной этой сволочи боимся, собственной тени боимся.

И вдруг Петряк как закричит:

— Ребята, айда назад! Побьем их, всех перестреляем! — вошел в раж, тащит меня за руку, — погибнем как герои!..

Маленький, похудевший, в измятом, испачканном коверкотовом пальто, Петряк был так жалок и смешон в эту минуту, что мы рассмеялись. Он обиделся, отошел в сторону. Пришлось его утешать.

Так начался двенадцатый день нашего пути. А не прошли и ста километров: Добрянка на самой границе Украины с Белоруссией; Корюковка южнее, в восточной части Черниговшины. По мирному времени — рядом. Но зимой сорок первого года казалось, что они на разных полушариях. Хоть бы и так, идти надо, и мы шли.

Шел и Петряк. Что он пережил, что передумал? Он нам ничего не рассказывал, да и хорошо сделал. Молчит — и слава богу. Видно, обозлился, даже губы сжал. И больше не жалуется.

Только у самой Корюковки мы опять начали разговаривать.

— Коротков — старый коммунист? Или из молодых?..

— Я слышал, корюковские леса густые. Ох, там, наверно, и лагерь!

— Маруся, а вдруг твоя мамаша в связных ходит? Вот бы здорово.

— Лес-то к городу близко? А ваш дом с краю?

И вот, наконец, выйдя поздним вечером из леса, мы увидели скромные огоньки местечка, к которому стремились.

Сыпал снежок. Ночь была тихая. Из городка не доносилось ни звука. В крайнем домике слабо мерцал свет.

— Здесь раньше жил один рабочий с сахарного завода. — прошептала Мария. — Хороший человек. Попробуем к нему.

Медленно, затаив дыхание, двинулись мы к домику со стороны огорода. Вдруг Митрофанов споткнулся и с шумом свалился в канаву.

Тут же раздался громкий окрик:

— Стой! Кто идет?

— Свои! — не подумав, ответил я и скатился в канаву. Лег и нацелил пулемет на домик. Остальные тоже приготовили оружие. И возле домика послышалось щелканье затворов:

— Какие свои? Давай сюда! — А вы какие?

— Сказано свои. Долго нечего разговаривать. Стрелять будем.

Что дальше? А может это полицейская застава? «Свои» — говорят все.

— Я пойду туда! — прошептала Мария. — Я местная. А если схватят, буду орать. Стреляйте тогда прямо на мой голос.

Не успели ей ответить, как она выбралась из канавы и пошла вперед. Ее тонкая фигура исчезала в темноте. С полминуты видел я белый платок, потом все утонуло во мраке.

Я лежал, судорожно вцепившись в пулемет. В глазах рябило от напряжения. В горле пересохло, по лицу лил пот. В эти минуты Мария была для меня самым дорогим человеком на земле. А если она сейчас закричит? Значит. Что же? Неужели — стрелять по ней?

Мне казалось, что прошло уже много времени: «Была Мария и нет», — стучало в голове. Может, схватили, зажали рот и крикнуть не успела. И в тот момент, когда я уже был уверен, что она в руках врага, со стороны домика донеслись голоса. Среди них выделялся один очень взволнованный, почти крик. Этот голос принадлежал женщине, без всякого сомнения, но это не был голос Марии. Между тем чужой женский голос звал:

— Свои!.. Скорей идите! Идите сюда!

Рядом со мной поднимались и что-то говорили товарищи. Я схватил Петряка за пальто и зашипел:

— Это не она. Погодите. Постойте.

Но Петряк вырвался от меня и побежал вперед.

Действительно звала нас Мария. Ее голос стал другим — столько в нем было радости. И какая это была радость!

Мы пришли в партизанские места.

Куда мы пришли

В уложенных сеном санях, на которых нас везли вглубь леса, мы уже чувствовали себя дома.

На душе было весело. Даже мороз казался мягче и лес надежней. Такого хорошего леса я, кажется, никогда и не видел. Тут и старые, высокие деревья и молодая поросль; место не ровное, а все холмиками — очень подходящее для партизанского лагеря. Хорошо выбрано!

Досадно только, что так необщителен ездовой: все «нет», «не знаю», «сами там увидите». Тюлень попался, не понимает, что

людям не терпится.

Наконец застава. Ездовой сказал отзыв, и мы думали, что поедем дальше. Не тут-то было. Нас задержали. Приказали ждать. Один партизан верхом поскакал в штаб.

Однако у них тут строгости!.. Большой ли отряд, давно ли в этом лесу стоит, почему его называют «областным», — этого мы и на заставе не узнали. Ответили лишь, что командир какой-то Орленко.

Фамилия незнакомая. Скорей всего — не черниговский. У нас такого не было; поделился с товарищами — они со мной согласились. Если не лично, то понаслышке мы руководящих работников знали. Орленко? — Никто о таком не слыхал.

Странно, что командир не Коротков. Мария знала твердо, что секретарь Корюковского райкома остался в тылу. И вот, пожалуйста, в его районе хозяин — другой. Почему бы это? Скорей бы уж все узнать.

Но вместо того, чтобы доставить в штаб, нас развели по землянкам на отдых. Так что мы не только командира, но ни лагеря, ни людей не повидали.

В пути мне показалось, что как только доберусь до места, где можно в безопасности подкрепиться, так меня двое суток не разбудишь — хоть из пушек стреляй! Но вот — и сытный обед дали, и в теплую землянку поместили, а не спится. Все вспоминаются нравы и порядки в Добрянском отряде. Бывало, и к нам новые люди приходили. Что особенного? — К командиру! Он расспросит и тут же определит людей к делу. А здесь со мной уже два раза беседовали — всю биографию перетрясли; однако сам-то я ничего не знаю. Командира не видал, — назначения не получил, об отряде не имею ни малейшего представления.

Лежу на нарах и думаю: «Этот Орленко, верно, армейский человек. Возможно, с большим званием. Строит партизанскую жизнь по воинскому уставу. У нас в Добрянке так не было: мы жили семьей. Здесь все иначе. Хорошо, если здесь окажутся еще и настоящие, армейской выучки подрывники, минеры. Для партизан великое дело! Сколько мы у себя в отряде мучились, пока освоили, как надо обращаться с толом!»

Нет, очень здорово, если среди партизан есть грамотные в военном деле люди. А то соберутся, как у нас: одни «гражданские бойцы». Проверенные и отобранные райкомом для работы в тылу, преданные, хорошие коммунисты — чем не партизаны? Но только начинают воевать — у кого осечка, у кого — промах, кто сумку с патронами потерял, а кто и сам растерялся. На первых порах поэтому дело идет не шибко. Трудно мирным людям переходить на военную жизнь.

И мне почему-то все больше казалось, что этот «областной» отряд находится под руководством армейского командира: уж больно строго поставлено дело с новичками. Я мысленно готовился к встрече с полковником. Вот, думаю, спросит:

«Вы что в своем отряде делали? Кем были? Пулеметчиком? Разведчиком? Автоматчиком? Подрывником? Каков боевой опыт?»

А что ответить? У нас всем приходилось заниматься. Думал я обо всем этом, думал, просыпаясь ночью. Один партизан при свете коптилки чистит оружие. Часть нар занята спящими людьми. «Ну, все! Теперь до утра дожидаться».

И вдруг — за мной. Вежливый такой, подтянутый малый, говорит: «Командир вызывает». Я поднялся и сказал, что давно жду. А он смеется: «Я за вами два раза приходил — вы все спите!»

Мы быстро дошли до землянки штаба. Он толкнул дверь и пропустил вперед. Вхожу, готовлюсь встретиться лицом к лицу с командиром, но вижу свою спутницу Марию Скрипку. Она сидит на лавочке возле двери.

У другого стола, спиной ко мне, какой-то человек возится с радиоприемником. Больше никого. Что ж, сажусь рядом с Марией. Она, оказывается, тоже только что пришла.

Помещение хорошее, с окнами. Часть отделена занавеской, за ней нары и, кроме того, особнячком, никелевая кровать, аккуратно заправленная солдатским одеялом; стол, накрытый скатертью, да на нем совершенно, на мой взгляд, необычная для партизанского быта вещь: стакан крепко заваренного чаю. Стоит, как полагается, на блюдце и рядом два кусочка сахара.

За другим столом сидит человек. Кроме радио, на столе — карта, чернильница. Везде чистота, порядок. Живут же люди! У нас не так было. Не пойму даже, нравится мне это или нет? Все зависит от того, как они воюют. Наш командир никелевой кровати не имел, а сражался — дай бог каждому!..

Но вот дверь в землянку открывается. Мы встаем. Один за другим входят трое мужчин, на ходу продолжая вести разговор.

— Федор Иваныч! — подскакивает Мария и бросается к одному из них.

«Что такое? — думаю я. — Значит Короткое все-таки здесь?..» Но не успеваю сообразить, как сидевший возле радио боец говорит:

— Вас тут ждут, товарищ командир!

— Да, знаю, — отвечает другой — не Коротков — я повертывается к нам:

— Здорово, земляки!

Так это и есть командир? Это — «Орленко»? Перед нами —

сам первый секретарь Черниговского обкома партии, депутат Верховного Совета Федоров. Я его отлично помню. Видел незадолго до войны на партактиве в Чернигове. Да и кто же его в области не знал!

Не отвечая на приветствие, смотрю на него во все глаза. Федоров привык, верно, что новички удивлялись. Спокойно, без улыбки, пожал нам руки, указал место у стола:

— Садитесь, рассказывайте.

Но я все еще будто не проснулся. И пока Федоров давал одному из вошедших с ним какое-то распоряжение насчет листовок, мое удивление понемногу сменялось мыслью, что эта встреча — правильная. Где же быть секретарю обкома, как не с нами, на своей земле? Вот, значит, как партия подходит к нашей партизанской борьбе — такого руководителя оставила в тылу!

Понемногу я все же сосредоточился. Мы с Марией начали рассказывать Федорову, как воевал наш отряд, как был окружен и разгромлен карателями.

Мы сбивались, перебивали друг друга. Федоров слушал, расхаживая по землянке. Потом начал расспрашивать: «Известно ли было, что лагерь окружают? Был ли дан командованием приказ оставить свой район?»

Мы стали докладывать.

— Наше командование было против, — сказал я. Командир считал позором оставлять свой район, — добавила Маруся Скрипка.

Тут в землянку вошел человек в кожаной куртке с маузером на ремне. Федоров обратился к нему:

— Знакомься, Николай Никитич. Добрянцы. Опять, понимаешь, то же дело, та же ошибка; держались до последнего за свой район. Дорого нам стоит эта ошибка, эх, дорого! — Повернувшись к нам, Федоров пояснил: — Имейте в виду, партизаны всегда в меньшинстве. Внезапно следует не только нападать, внезапно надо и уходить! Понятно? Передвигаться быстро и ускользать, чтобы явиться с неожиданной стороны. А ну, попробуйте действовать так в одном своем районе. Командир, видите ли, считал позором уйти из своего района. А почему это вдруг Корюковский или Холменский уже не ваш, не наш район? В чем дело? Кто это выдумал?!

Мы с Марией молчали. Что мы могли ответить?

Вновь пришедший сел неподалеку от нас. Теперь хорошо было видно его лицо, и это лицо показалось мне знакомым. Когда Федоров снова назвал его «Николай Никитич» — я вспомнил: да это же Попудренко, второй секретарь Черниговского обкома. Оказывается, они оба тут.

— Добрянцы активно действовали, — продолжал Федоров. — Хорошо! — с ударением повторил он свою оценку. — За три месяца подорвали двенадцать эшелонов, сорок машин, семь мостов, водокачку. Уничтожили семьсот шестьдесят гитлеровских солдат и офицеров.

Я не мог не удивиться тому, что секретарь обкома сразу запомнил названные нами цифры. А он их называл и говорил веско: каждое его слово было не справкой, а как бы венком нашим погибшим товарищам.

Попудренко спросил об обстоятельствах гибели нашего командира. Поглощенный разговором, я не сразу обратил внимание на то, что в землянку уже пришли новые люди, пока не увидел среди них очень памятного мне человека. Три года назад он работал секретарем Семеновского райкома, где меня принимали в партию.

— Товарищ Капранов? — тихо произнес я.

— Что? Знакомого встретили? — спросил Федоров. А Капранов глядел на меня с удивлением:

— Хм, не помню.

— Как же, Василий Логвинович! — сказал тут я. — Вы же меня в партию принимали, помните, в Семеновке?

— В Семеновке? Возможно. Постой, постой. Кто ж ты есть?

— Артозеев я. Может, конечно, и забыли, да и вид теперь не тот. Вы меня видели в милицейской форме.

— А-а! Так бы сразу и сказал. Что же ты, брат, такую бороду страшенную отрастил? И лица-то за ней не увидишь!

— Партийный билет при вас? — спросил Федоров.

Этот вопрос, хотя я, кажется, ни в чем не был виноват, расстроил меня ужасно. Перед уходом из города я с трудом нашел кусок пергаментной бумаги и старательно обернул партбилет, чтобы спасти его от грязи, сырости, а быть может — и от собственной крови; так удачно зашил его в специальный карман — поближе к телу, чтобы все время чувствовать. И теперь я должен сказать, что партбилета при мне нет: когда положение осложнилось — комиссар Добрянского отряда закопал все партийные документы в лесу. Однако Федоров не высказал порицания:

— Было такое указание обкома, — коротко заметил он. — А поскольку товарищ Капранов подтверждает вашу партийность — встанете на учет у Ивана Мартьяныча Курочки. Кстати, вот он — знакомьтесь. — И Федоров указал мне на одного из недавно пришедших в землянку.

Я знал, что Курочка — секретарь Холменского райкома.

Вот значит, как: здесь Федоров, Попудренко, Короткое,

Капранов, Курочка. А кто же еще те четверо, которых я не знаю? Я подошел к Капранову.

Другие были: — Новиков — секретарь обкома по кадрам, Яременко — член обкома, Днепровский — пропагандист и Дружинин — секретарь Тарнопольского обкома.

Я смотрел и глазам не верил. Что же это такое? Ведь тут обком партии, да еще с активом! Будто на конференцию съехались!.. Так вот почему отряд «областной»!

— Ты чуешь, Мария, что это получается? — тихо спросил я у своей спутницы. — Ведь здесь — весь наш Черниговский обком партии.

Большой семьей

Пока мы шли сюда, дни тянулись мучительно долго. Здесь же время потекло незаметно. Вот, кажется, только пришли — еще вчера были в лагере новенькими, осваивались, встречали земляков, переживали эти встречи, рассказывали. А назавтра уже в новичках другие люди и ведутся другие разговоры.

Только что товарищи с гордостью описывали нам, какой был у них недавно удачный налет на немецкий гарнизон в Погорельцах. Но вот со стороны Савенок на лагерь наступают мадьяры. Первое отделение, куда я был определен пулеметчиком, ведет вместе с другими бой под командованием Попудренко. У мельницы отбиваем врага; и теперь уже товарищи из областного отряда не рассказывают мне, как они воевали, — вспоминаем вместе.

Еще третьего дня я жадно выспрашивал у областных партизан обо всем, что передавалось последнее время в сводках Информбюро. Но наступило тринадцатое декабря, и среди ночи поднялся весь лагерь. Волнение, крики, шум, даже стрельба. Это только что принято сообщение о разгроме гитлеровских дивизий под Москвой.

Вместе пережили эту радость. Не спали до утра.

В партизанскую семью входить недолго: один, другой бой — и тебя уже знают, и ты привык. Сближают общие горести и радости. После ночи тринадцатого декабря, когда нас всех встряхнула и подняла весть о победе под Москвой, я начал считать себя старожилом областного отряда, перестал смотреть, какие «у них» тут порядки: решил, что эти порядки мне уже ясны.

Однако решил слишком рано. Долго потом возвращался к сравнению маленького Добрянского отряда с большим областным

— осмысливал разницу.

Первый толчок для этого я получил при таких обстоятельствах.

Стою с группой товарищей на заставе. До смены еще далеко. Вдруг поздно вечером подъезжает Попудренко. Приказывает заставу снять и немедленно идти в лагерь.

«Как же так? — думаю я. — Еще днем тут шел бой! А мы обнажим место, куда только что совался противник!»

Я решительно ничего не понимал: положение-то день ото дня становилось серьезней? Новости одна хуже другой. Фашисты подожгли село Жуклю, уничтожили Рейментаровку, заняли Савенки. Обстреливают лес артиллерией. Явно готовятся нанести отряду сокрушительный удар. И в такой-то обстановке снять заставу? Уму непостижимо. Я шел в лагерь, размышляя о том, что бы это означало. Может быть, отряд уйдет на другое место? Но никакой подготовки к уходу не было видно. Напротив — среди партизан поговаривали, что бросить среди зимы хорошо знакомый лес, базы, благоустроенный лагерь — гибельное дело. Бойцы готовились к встрече с противником; они полагали, что при численности в пятьсот человек отряд вполне может отразить штурм врага. И я думал так же. А потому шел в лагерь в полном недоумении.

А. лагеря-то уже нет! Безжизненными стоят наши уютные землянки. Костры затоптаны. Кони запряжены. Грузы уложены. И голова большой колонны уже выступила вперед.

Да, поневоле вспомнишь, как в Добрянском отряде думали уходить: спорили, шумели, обсуждали — весь лагерь гудел. А тут — сами партизаны не заметили никакой подготовки к перемене места.

И вот ночь прошла в пути, а ранним утром двадцать третьего декабря мы остановились на короткий привал среди леса. Едва светало. «Наш» лес остался далеко позади — мы прошли не менее сорока километров. Пора было немного отдохнуть.

Коней не распрягали, только подбросили им немного сена, а сами, чтобы не замерзнуть, пританцовывали и на ходу подкреплялись сухарями.

Члены обкома и командиры уселись под большой мохнатой елью, что-то весело обсуждали и смеялись. Нам причина такого их радостного настроения была неизвестна. Многие бойцы как раз были не в духе, доказывали, что ушли с насиженного места зря и не видать нам теперь благоустроенного жилья как своих ушей.

Вдруг тишину зимнего леса нарушили гулкие залпы артиллерийских орудий. И через несколько минут все мы поняли,

что произошло в это раннее морозное утро: немцы пошли на штурм лагеря областного отряда!

Под мохнатой елью, где разместился обком, стало еще веселей. Начальник штаба Рванов тыкал пальцем в свои часы и с жаром говорил что-то.

Тем временем артподготовка продолжалась. Наверно, через полчаса каратели пойдут завоевывать оставленный нами лес.

Мне, как и всем, было радостно сознавать, из-под какой опасности нас вывел точный расчет командования. Но было и грустно: если бы наши добрянские порядки не были такими семейными, если бы было поменьше разговоров об уходе, а вместо них сделали бы такой же хороший, четко организованный рывок. Если бы!.. И чем яснее становилась удача сегодняшнего рейда, тем больнее было вспоминать о двух последних днях жизни нашего маленького отряда. «Вот, — думал я, — серьезный урок партизанской тактики. Цена ему дорогая, жестокая. Чувствуют ли сейчас то же, что и я, мои товарищи добрянцы?» Мне захотелось сию же минуту найти Тимошенко, Митрофанова или Марию и поговорить об этом. Но они были в других группах, а колонна уже тронулась в путь. И пока мы ехали, я сам старался осмыслить прошлое и настоящее.

После ночного перехода весь отряд, вопреки предсказаниям некоторых товарищей, расположился с такими удобствами, о которых в брошенном лагере нечего было и мечтать. В селах Ласочки, Майбутня, Журавлева Буда жители приняли нас в своих хатах. И как приняли!.. Откуда-то появились гармоники, нашлись запасы выпивки и закуски, а девушки, будто по щучьему веленью, обратились в разряженных по-праздничному красавиц.

Мне еще не приходилось видеть, как население встречает партизан. До сих пор я ходил в села только на разведку: подберешься бывало тихонько до верного человека. Узнаешь, что надо, и так же крадучись — давай бог ноги подальше от людского жилья!.. Не то было на этот раз. Мы пришли как дорогие гости, и каждый вошел в хату, будто в родной дом. Живи и радуйся!

Но и в этих обстоятельствах сразу можно было почувствовать, как твердо командование направляет жизнь коллектива по хорошо уложенным рельсам. После одного дня отдыха сразу был установлен строгий воинский распорядок дня. С утра — строевые занятия; обед — во-время; вечером — выпуск стенгазет, политзанятия. Ни дать ни взять — армия в мирные дни!.. И снова я должен был признать, что за три месяца добрянского прошлого я не провел ни одного такого дня, хотя свободное от боев и заданий время и у нас бывало.

Да, было на что посмотреть, о чем подумать.

Жизнь текла, конечно, не так уж мирно, чтобы заниматься только стенгазетами и политучебой. Партизанская работа шла своим чередом. Вот, например, стало известно, что неподалеку — в большом селе Орловка, Холменского района, появилось очень много полицаев.

Видимо, опять гитлеровцы сосредоточивают вокруг нас опорные пункты, собирают силы.

Ну и что же? — рассудили бы в Добрянском отряде. — Когда пойдут на нас, дадим бой, встретим, как сумеем, и карателей и полицаев.

А здесь командование отнеслось к делу иначе. Среди партизан стал известен разговор Федорова с секретарями Холменского райкома партии товарищами Курочкой и Водопьяновым.

— Село Орловка — вашего района? — спрашивал у них командир. — Бывали там, людей знаете? — Вот пойдите теперь в Орловку и разберитесь. Как и почему врагу удалось там сколотить такой полицейский стан? Используйте свою связь с населением и на месте определите, кто там орудует: где настоящие враги, а где люди, попавшие в полицию под страхом смерти. Если в Орловке действительно сто полицаев, то среди них немало и взятых по мобилизации. Действовать, имейте в виду, надо не горячась — разобраться как следует.

Положение секретарей Холменского района представлялось мне очень тяжелым. Конечно, правильно сказано — разобраться. А как? Вот когда на праздник Октябрьской революции Добрянский отряд сделал налет на свой райцентр, было захвачено немало полицаев и людей, пошедших на службу к оккупантам. И мы их отпустили. Уж очень трудно было разобраться. Выбора-то у нас нет: или расстрелять, или отпустить. Лагеря для военнопленных в наших условиях не организуешь. В руки законных властей на справедливый суд не передашь. Что делать с этими людьми?

Расстрелять человека недолго, а жизнь его не вернешь. Ведь встречаются же неплохие, но слабовольные люди. И если дать такому опомниться, пожить — он придет в себя и еще оправдается перед народом. Из этих соображений в Добрянском отряде с полицаями обращались довольно мягко. Писали к ним листовки. Возлагали надежды на пропаганду. А взятых в плен при штурме Добрянки отпустили. Командир произнес перед ними речь, пристыдил; они обещали больше не служить оккупантам.

Вот и все наше разбирательство.

А что сделают Курочка и Водопьянов? Как разберутся они? Мне очень хотелось быть свидетелем этого, но, к сожалению, в

Орловку пошли другие группы.

Когда утром наши партизаны вернулись из Орловки, я начал расспрашивать у бойцов, как проводили они рацию.

— Обыкновенно, — рассказывали товарищи. — Перевес был на нашей стороне. Сопротивлялись они недолго. Село мы оцепили. Рванов дал приказ обезоруживать полицаев и доставлять в здание клуба. Ну, потом собрали в клуб жителей и начали разговаривать. Выяснили, что об этих полицаях народ говорит. Оказалось, что большую часть гарнизона оккупанты привезли невесть откуда. Понабрали где-то бывшее кулачье, уголовников. Может, выпустили из тюрьмы. Говорят, они специально всяких подонков отыскивают — сколачивают себе «кадры». Ну, а орловчане, конечно, знают, что и как: они и показали на своих, местных, что им силой надели полицейские повязки, что народ они не обижали. Так и разобрались.

— И что же с ними сделали?

— А что с ними делать? — Бандитов расстреляли, а все местные тут же начали к нам в отряд проситься. Только Курочка им ответил: вам торопиться некуда. Уже поторопились. Страх — страхом, но голову на плечах надо иметь. Вы думаете просто: полицейскую повязку с рукава сняли, а красную ленточку на шапку нацепили! Нам людей, которые «туда-сюда», не надо. Поживите дома, поработайте на партизан. Проверим, тогда поговорим.

А мы-то в Добрянке брали в отряд безотказно всех, кто просился. Остальных отпускали на все четыре стороны под честное слово.

Ненависти у нас, что ли, было мало? Или военного опыта?..

Задавая себе такие вопросы изо дня в день, я однажды сам на себя обиделся за отношение к добрянскому прошлому. Все-таки сделали немало. И коллектив хороший был! Уж не слишком ли я придираюсь?..

Даже заподозрил себя в том, что меня подавляет авторитет секретарей обкома. А может, здесь я все вижу в розовом свете: питаемся хорошо и живем в тепле.

Однако скоро пришлось нам перейти на такую трудную жизнь, при которой ни о каком «розовом свете» не могло быть и речи. Снести ее было по плечу только сильному руководству и сильному коллективу.

Эта перемена к худшему в нашем быту произошла сразу вслед за радостным, всех взволновавшим событием: впервые удалось наладить связь с Большой землей. Федоров получил радиограмму Никиты Сергеевича Хрущева: нам в помощь обещали выслать самолеты с вооружением. Никита Сергеевич

передал партизанам привет и пожелание успехов.

Когда Федоров торжественно зачитал перед строем это приветствие, тут же было объявлено о собрании коммунистов и комсомольцев. Мы ожидали продолжения праздничного разговора о самолетах, о поздравлении секретаря ЦК.

Но речь пошла о другом.

— Место стоянки Нашего отряда, — начал Федоров, — известно немцам. Оставаться здесь больше нельзя. Трудно. За нас пострадают в первую очередь люди, которые предоставили нам свой кров. Вы уже видели, как фашисты расправляются за связь с партизанами. Многим приходится платить за это жизнью. Наше место — в лесу. Этого требуют интересы мирного населения и наша собственная безопасность. В лесу будет тяжело. Предупреждаю — надо подготовить людей к серьезным испытаниям. Будет холодно, возможно и голодно. Коммунисты должны показывать пример и помогать товарищам. Помните об этой задаче, товарищи! Завтра уходим в лес.

Зима стояла лютая. Мороз доходил до сорока градусов. Худшие предположения командира оправдались. Испытания начались сразу же — при рытье землянок.

Земля промерзла больше, чем на метр. Ломов у нас не было. Рыли топорами и лопатами, оттаивая каждую пядь кострами.

Люди были одеты плохо. Мой товарищ Иван Кудинов, с первых дней поставленный вторым номером к «Дегтяреву», был обут в калоши. На других посмотришь — ничем не лучше: одна нога в валенке, другая — в сапоге. Особенно плохо были одеты бойцы в стрелковых подразделениях. Да и у командиров обмундирование оказалось не зимнее. Николай Никитич Попудренко ходил по лагерю, подбадривал бойцов, а у самого — уши белели под фуражкой. Я тогда же оторвал половину рукава своей меховой куртки и для Попудренко вышла хорошая шапка. Но сколько люди ни делились своим добром — от этого его больше не становилось.

Первые ночи спали не в землянках, а в норках, какие удалось выкопать. Только лежа на сырых ветвях, поплотнее прижимаясь друг к другу, и можно было согреться. Заглянешь в такую норку, все, будто братья родные, лежат. И до утра слышно, как партизаны стучат замерзающими ногами: забудешь пошевелить ими — после захочешь, да не сможешь.

Плохо стало и с питанием.

Все изменилось к худшему, только наши обязанности остались те же. Пошла в разные концы разведка. Отправились на работу подрывники. Большая группа бойцов — в ней был и я — двинулась в дальний путь: на уничтожение Софиевского

спиртового завода.

В эти дни, когда без всякого снисхождения к обстоятельствам наш коллектив подтягивали до уровня подлинно армейской части, я снова искал ответа на свой вопрос: почему эта большая партизанская семья живет более организованной и более высокой духовной жизнью, чем жила наша маленькая семья? Если коротко сказать, я понял это так.

Недостаточно быть преданным делу, не жалеть своей ЖИЗНИ ради него. Недостаточно жить дружной семьей, стоять друг за друга, чувствовать возле себя плечо товарища. Все это у нас было, но всего этого оказалось мало. В областном отряде я увидел, что боевой коллектив силен тогда, когда человеческая преданность и дружба строго подчинены законам партийной морали и суровой воинской дисциплины, когда командование действует с непреклонной ненавистью к врагу, с революционной твердостью и решимостью.

Партизанская арифметика

Командование направило в разведку, в Семеновский район трех партизан: Ивана Плечистого, Антона Гопчаренко и Сергея Саленко.

По пути эта тройка остановилась погреться и закусить на хуторе «Буревестник» Ивановского сельсовета у знакомого им гражданина Сенько. Дело было ночью, перед самым рассветом.

Хата Сенько с краю, сам хутор — в густом лесу, — оккупанты появлялись здесь не часто. Хозяин, хоть и удивился приходу партизан, принял приветливо. Он их накормил, уложил отдохнуть, а когда они уснули, пошел за три километра к другому хуторянину одолжить соли. Поговорил с соседом о том, о сем, — в лесу новостей не много; не удержался, рассказал, что у него гостят партизаны. А сосед потихоньку вышел, запер Сенько в своей хате, запряг лошадь и поскакал на станцию Костобоброво.

Партизаны сладко спали в тепло натопленной хате, когда пятьдесят хорошо вооруженных солдат окружили двор и с двухсот шагов открыли сильный пулеметно-винтовочный огонь.

Разведчики проснулись. В хате, прошивая стены, свистели пули; сыпалась с печи глина и вообще было довольно шумно. Разведчики быстро скатились с печи и поползли в сени. Солдаты приближались и кричали:

— Рус, сдавайся! — им была обещана большая награда в том случае, если удастся взять партизан живыми.

Наши товарищи не торопились отвечать на крики и на огонь противника. Надо было обсудить положение.

У каждого по автомату и по запасному диску, пистолеты, по две гранаты за поясами.

Вокруг хаты земляная насыпь, пол тоже земляной: лечь па пол — насыпь хорошо укроет от пуль. Согласились на том, что оборону держать можно.

У дубового стояка двери Саленко прокопал ножом щель. Теперь можно было вести наблюдение. Когда враг стал приближаться, эта щель послужила и бойницей: Саленко уложил автоматной очередью трех гитлеровцев. Плечистый, лежа за печью, держал на прицеле окно.

Гончаренко пошел разведать нежилую часть дома, примыкающую к сараю. Через минуту он уже кричал:

— Сюда, ребята!

Саленко и Плечистый перебежали за ним в сарай. И — вовремя. Не решаясь ворваться в хату, гитлеровцы подожгли соломенную крышу зажигательными пулями. Через несколько минут она вся полыхала.

Пока хата горела, обе стороны молчали. Но вот все кончено. Гитлеровцы явно ничего не понимают: пусть партизаны были убиты, а потом сгорели. А где же патроны? Почему не было слышно ни одного разрыва?..

Солдаты настороже, с оружием наперевес подошли к пепелищу. Тогда партизаны ударили по ним огнем из трех автоматов. Семеро осаждавших упали. — Начался обстрел сарая. В нем, кроме наших разведчиков, находились еще постоянные обитатели: пала раненная насмерть лошадь, завизжал раненый кабан, мычит в страхе корова. Раскудахтавшись, мечутся из угла в угол куры. Но вот от зажигательных пуль вспыхнуло сено, все застлало дымом. Трое товарищей пробили заднюю стенку сарая и под прикрытием дымовой завесы выскочили в огород. Залегли там.

Сарай горел, как костер. Каратели радовались, что наконец уничтожили партизан. Потихоньку подобрались ближе. Ждут разрыва патронов. Но неожиданно в самый центр их толпы упали и разорвались три гранаты. Кровь обильно окрасила белый снег. На нем остались лежать пять гитлеровцев. Остальные бросились врассыпную.

Когда гитлеровцы опомнились — партизаны уже были далеко.

Гончаренко ранило — в левую руку, плечо и шею. Он совсем ослабел от потери крови. Саленко и Плечистый положили товарища под куст, разорвали рубашки, забинтовали раны, а сами

побежали в Ивановку за подводой.

И вот все трое разведчиков благополучно приехали в лагерь на подводе и сдали командованию рапорт. Ими было уничтожено двадцать гитлеровцев. А наш Гончаренко, на счастье, ранен оказался не тяжело. Через месяц вступил в строй.

Бой на хуторе «Буревестник» вызвал среди партизан много разговоров. Что ни говори, такие истории приключаются не каждый день.

Одни считали, что трое против пятидесяти — это такая арифметика, которая только раз в жизни может дать хороший итог. Другие возражали: если по законам арифметики подобный случай не пройдет, то есть еще на свете высшая математика.

Так или иначе, жизнь вскоре предоставила нам еще один подобный пример. Партизан на этот раз было четверо, но зато противников — сто двадцать. Разумеется, при таком соотношении сил речь не могла идти об уничтожении врага, тем более, что было опять неожиданное столкновение, а не организованная операция.

Дело было так: Иван Кудинов, Саша Березин, Аркадий Савчук и я выехали с заданием штаба в партизанское село Елино.

Почему партизанское, что это такое? Были такие села, которые находились как бы в постоянном уговоре с нами. Все жители в них — и женщины, и старики, и детишки — считали себя партизанами и помогали нам, чем могли. Вот и Елино было одним из таких сел. Там даже староста был свой, поставленный подпольным обкомом партии. Каратели давно точили зубы на это село, но боялись нашего соединения, знали, что начни они только палить и стрелять — жители вызовут партизанскую подмогу.

Но к тому времени, о котором пойдет рассказ, соединение отошло. Елинцы решили покинуть хаты и перейти на лесную, партизанскую жизнь. Подготовились и ждали указания нашего командования.

Мы четверо поехали на связь, передать старосте пакет. Задание легкое, такие не часто получаешь. Мы катили в свое удовольствие, весело погоняя гнедого красавца жеребца.

Быстро добрались до нашей заставы. Проверили, какие новости в Елине. Ребята сообщили, что не так давно оттуда приходили связные — в селе противника нет. Поехали дальше.

Утро тихое. Только потрескивают ели от мороза да скрипят полозья саней. На востоке загорелся горизонт. При восходе солнца по небу раскинулись разноцветные лучи. И поездка наша такая спокойная, что в самый раз и природой полюбоваться.

Вот и Елино. Миновали гумно, крупорушку. Еще издалека увидели на перекрестке, возле столба с указателями дорог,

человек пять. Все в гражданском. Без винтовок. Они не вызвали у нас подозрений. Скорее всего — сельский патруль.

Но когда доехали мы до перекрестка, людей почему-то уже не было — разошлись. Мы даже посмеялись: хорошо елинцы службу несут — патруль как корова языком слизала!

Едем дальше. Уже миновали первые хаты, вдруг позади крик:

— Стой!

Обертываемся и видим: немецкий солдат, с винтовкой на изготовке.

Что за привидение? Откуда он взялся?.. Уж не ошиблись ли мы только что на перекрестке? Не из той ли он пятерки? — В размышлении останавливаем сани. Ничего не можем сразу сообразить. Сидим и смотрим на этого солдата. А он, видимо, тоже не знает, за кого нас принять. Выстрелил в воздух.

Мы опомнились, соскочили с саней, легли в снег и сразу же открыли огонь. Подбили солдата не совсем удачно — в ногу. Гитлеровец упал и боком-боком пополз к подворотне.

В селе поднялась тревога. На улице показались выскочившие из хат гитлеровцы. Мы дали залп: я стрелял из «Дегтярева». Кудинов из винтовки, Березин из полуавтомата. Улица опустела. Только несколько подбитых нами врагов остались лежать поперек дороги.

Мы прыгнули в сани, Савчук развернулся и погнал коня из села.

А там делалось что-то странное. Вместе со словами немецкой команды явственно раздавались голоса, кричавшие по-русски: «За мной, давай, ребята, окружай!» Но прислушиваться не время: за нами бросилась погоня. Огонь моего «дегтяря» не дал ей ходу. Да и товарищи не зевали. Мы успели истратить довольно много патронов и, как следует партизанам, — не напрасно.

Добрый конь мчал нас к лесу. А в Елине разрасталась суета, продолжалась беспорядочная стрельба. Она поднялась почему-то и на хуторе Млинки, отстоящем от Елина за два километра. Что бы это могло быть? Кто же это ведет бой? Кто кричал по-русски? Не следует ли нам вмешаться в эту потасовку? Может быть, там каким-нибудь чудом оказались наши?

Но нет… Скорее всего это провокация карателей. Если бы тут развертывался бой с партизанами, штаб не послал бы нас на связь.

И только в лагере мы разобрались в том, что произошло, заодно и узнали кое-что новое о партизанской арифметике. Причем интересно, что в подробности событий, в которых приняли участие, мы были посвящены последними. Весь лагерь уже знал о них: из Елина раньше нас сюда примчались трое

мальчишек. Они бежали напрямик по лесу, по известным им тропинкам, И рассказали, как было.

За полчаса до появления наших саней в село из Городни прибыли части карателей-новичков. Они не представляли себе, что такое партизанское село, и спокойно разместились по хатам.

Из Елина к нам в лагерь тотчас отправился связной — сообщить новость. Мы с ним разминулись.

Между тем немцы залезли по хатам греться. Они ожидали отставшие от колонны сани и нежились в тепле, думая после отдыха начать расправу с населением партизанского села.

Жители Елина, не растерявшись при появлении врага, вели наблюдение за дорогами. Они подсчитывали силы карателей, чтобы сообщить партизанам точные данные. Пятеро стоявших на перекрестке людей и были патрульной группой, продолжавшей нести свою службу.

Заметив партизанские сани, сельский патруль поступил согласно договоренности с нашим командованием: по этому условию, в случае появления партизан в занятом врагом селе, жители должны поднять панику и всячески содействовать успеху налета. Поскольку наше командование было оповещено о прибытии врага, елинцы, ни сном, ни духом не ведая, что к ним заскочила только четверка партизан, решили, что началось наше наступление.

Они поступили, как полагалось: подняли тревогу и открыли стрельбу.

А у карателей создалось впечатление, что партизаны напали на село с разных сторон. Они отвечали огнем.

Как раз в это время отставшие от своей колонны фашисты подъехали к хутору Млинки. Услышав стрельбу в Елине, они решили, что их передовая часть выбивает из села партизан. И они «пришли на помощь»: с расстояния двух километров поддержали своих огнем.

Тут уже гитлеровцы, находившиеся в Елине, начисто потеряли ориентацию: решили, что «главное наступление партизан» идет со стороны хутора Млинки. И они спаслись от «неравного боя» бегством. Удрали туда, откуда приехали.

Вот какая получилась арифметика: появление четверых партизан вызвало бегство более сотни врагов.

Почему это вышло? Если умножить партизанские силы на силы населения — все будет ясно. От этого простого арифметического действия всегда получался очень внушительный итог.

«Мадьярский проспект»

Вокруг нашего лагеря в Елинском лесу лежали села! Гута Студенецкая, Тихоновичи, Ивановка, Безутловка, Елино, Кирилловка, Хоромное и другие. Конечно, в каждом из них пришлось побывать не один раз.

Я теперь был разведчиком — пулеметчиком.

В Кирилловке мы с товарищами проводили мобилизацию призывного возраста в партизаны: расклеили по селу объявления, устроили на крупорушке мобилизационный пункт, там принимали народ, как в настоящем военкомате.

Но после с этим селом вышло плохо: налетели каратели. Они согнали сто тридцать человек — первых попавшихся — в ту же крупорушку, где за день до того работали мы, заперли и подожгли. Сожгли и часть села.

Вскоре районная полиция под командованием оккупантов прибыла в Гуту Студенецкую. В Ивановке расположился штаб мадьярского батальона. Появился противник и в других местах. Ходить стало труднее, а задачи разведки осложнились.

Помню, трудно мне было добыть данные перед нашей операцией в Гуте Студенецкой. Но мы сильно тогда потрепали полицейский гарнизон! После того, как три партизанские роты налетели на село, на его улицах осталось лежать пятьдесят шесть вражеских трупов. Крепко от нас попало оккупантам в Ивановке: каждое село в этом краю, каждая дорога к нему остались памятны на всю жизнь. Но есть среди тех дорог одна, получившая от партизан название «мадьярского проспекта». Ее партизаны помнят особенно хорошо.

Этот самый «проспект» (а точнее говоря — просека) ведет из села Луки на Ивановку. На некотором расстоянии от его центральной части в глубине леса располагался наш лагерь.

В начале февраля мы с товарищами Кудиновым, Березиным и Савчуком возвращались из разведки со стороны Гомеля. Подошли к своему лесу и слышим: с разных сторон строчат пулеметы. Судя по всему, на лагерь идет наступление.

Что мы застанем дома? Может, отряд уже сменил место? Не нарвемся ли мы на врага? Идти ли нам дальше? Еще разлетишься и попадешь прямо в лапы карателей. Состояние довольно беспокойное. Мы постояли в берёзовой роще минут пятнадцать — подумали, порассудили, как быть и пошли в лагерь. Ничего, прошли.

В землянке штаба кипела жизнь. Как пчелы в улей слетались бойцы с донесениями к Федорову и Рванову, руководившим

отсюда всеми подразделениями.

Едва мы успели войти, как прибежал связной с заставы, обороняемой Ковтуном. Там создалось угрожающее положение. Целая рота мадьяр, которой только что преградил Прямой путь к лагерю ударный взвод пулеметчиков Авксентьева, двигалась теперь по просеке Луки — Ивановка. Стоявший там Ковтун нес большие потери и не мог задержать их своим огнем, просил подкрепления.

Как я понял, бой шел уже давно, неприятель окружил партизанский отряд о трех сторон. Уже не одна атака была отбита, и теперь враг бросил новые силы, а у нас резерва не оставалось. Казалось, в лагере только и были те люди, что сошлись в штабе.

Федоров еще головы к нам не обернул, а мы уже знали, что надо идти на помощь к Ковтуну.

— Соберите разведчиков! — приказал командир политруку нашего взвода.

Оказалось, что еще несколько человек из наших ребят были «дома». Вместе с ними мы и двинулись к заставе Ковтуна.

— Давай сюда! — закричал, как только увидел нас, Ковтун. — Мадьяры тикают. Еще маленько, добавим на дорожку!

Действительно с края просеки, где залегли наши бойцы, было видно, что неприятель уже поворачивает обратно. Но он вовсе не «тикал», как решил в горячке боя Ковтун, а пытался предпринять обходной маневр.

Тут Кудинову пришла мысль: обойти их сторонкой по молодому сосняку и устроить с другого конца встречу.

Мы с Куликовым и пулеметчик Ковтуна Ганкин обогнали мадьяр, лесом и залегли.

При этом никто из нас не подумал, что полный успех этой затеи вовсе не желателен. И что же получилось? Когда мы встретили колонну пулеметным огнем, мадьяры растерялись. Они решили, что нарвались на еще более сильную заставу, и повернули снова на Ковтуна.

Нам это было ни к чему. Получилось, что мы погнали их на ослабевший взвод, у которого» сами же еще увели пулеметчика.

Надо немедленно возвращаться. Тем же ходом, по собственным следам мы повернули обратно.

Успели.

Я расположился совсем близко к дороге, под кривой березкой, и погрузился в глубокий, рыхлый снег. Рядом со мной окопался Ваня Кудинов. А левее, у старого дуба, занял место Ганкин.

Дорога отлично просматривалась сквозь хорошо

маскирующую нас елочку. Ее молодые ветви обвисали под тяжестью снега мохнатыми арками. Мы прицелились. Ждем.

Колонна приближается. Пусть подойдут. Пора! Первые сани в сорока метрах; мы ударили из пулеметов. Нас поддержали огнем автоматов бойцы Ковтуна.

Лошади взвились, заржали. Одни упали, другие кинулись в снежную целину. Восемь головных саней загородили дорогу. Мадьярам двигаться вперед уже невозможно. Крик, суета. Солдаты прячутся за сани, кони тащат в стороны, а мы — поливаем огнем.

Если бы все шло этим порядком и дальше — лучше бы и не надо. Но у Ковтуна боеприпасы на исходе, и с его стороны огонь притих. А мой сосед — пулеметчик Ганкин был страшно не экономен в стрельбе. Не знаю, как скоро это случилось, но слышу — работает один мой «Дегтярев».

— Скажи Ганкину, — кричу я Кудинову, — пусть ползет к Ковтуну на ту сторону просеки. Я прикрою его огнем. Пусть они смотаются до лагеря и подтащат патроны. Мы с тобой продержимся вдвоем.

Ганкин переполз, и мы остались с Ваней. «Сейчас, — думаем, — придет подмога!» Но время идет, а подмоги нет. Что держит — мы не знаем. А может быть, только кажется, что много времени прошло? В бою не всегда разберешь, где минуты, а где часы.

Пока что надо сражаться вдвоем. Наше счастье — хорошо замаскировались. Мадьяры никак не поймут, откуда по ним жарит пулемет. Но скоро стали ложиться возле нас мины. Совсем плохо дело.

Вдруг несколько мадьяр в белых халатах поднимают руки. Что такое? Винтовки за плечами, в карманах гранаты и в этаком виде хотят сдаваться. Мы с Ваней только переглянулись. На минутку я прекратил огонь: пусть подойдут поближе. Но им не очень-то хочется.

Обратно они, конечно, не ушли. Хитрость не удалась. Один успел кинуть гранаты, но больше ничего сделать им не довелось. А нас только забросало снегом, да от близкого взрыва запершило в горле.

И все же наши дела были не очень-то хороши. С задних саней мадьяры приподняли станковый пулемет и стали сеять очередями по просеке. Били неточно, однако расставаться с жизнью из-за случайной пули тоже не хочется. Нас могут достать и без точного прицела. Пришлось укротить этого активного «сеятеля». После этого при моем «дегтяре» остался только один диск.

Мы с Кудиновым видим: недалеко нам до смерти. Но зачем,

спрашивается, гибнуть двоим?.. Я могу еще прикрыть отход его через просеку! Может, он успеет доставить патроны и привести подкрепление?..

Иван Кудинов — мой хороший друг. Вместе прошли не один бой. Я кричу: «Иди!» Он отказывается. Не хочет оставлять. Предлагаю снова, но он твердит: «Живыми они нас не возьмут. А помирать — так обоим».

Может, первый раз Ваня меня не понял. Я вовсе не хотел помирать. Как я мог принять такое предложение? В нем не было никакого смысла: расстрелять оставшиеся патроны я могу и без него. И я тогда приказал Ивану уходить.

— Успеешь — выручишь, — сказал я, — а нет — расскажешь командиру про наш бой.

Мы расцеловались. Пополз мой товарищ под прикрытием коротких очередей. Благополучно миновал просеку и оглянулся. В эту минуту прозвенела у моего уха пуля, попала в березку, и кусочки коры обсыпали мне лицо. Что-то попало в глаз — кусочек коры или щепочка. Я откинулся назад и потянул за собой пулемет. Ствол задрался.

Когда я присел в своем гнезде поглубже, вынул соринку и снова готовился к продолжению обороны, то заметил, что Кудинов, схватившись за голову, не оглядываясь, побежал в лагерь. Не иначе — он решил, что я убит, значит, патронов не принесет.

А я сидел за своей мохнатой елочкой, под кривой березой. У меня в диске оставалось несколько патронов, И в пистолете семь. Четыре гранаты. Вот и вся моя жизнь. Надолго ли хватит? Помощи мне вряд ли дождаться. Однако погибать неохота. Как самого себя выручить? Надо соображать, надо оглядеться. Если Ивану, показалось, что я убит, — может, и враги также считают. Надо сидеть тихо.

Вижу — у врага порядочная паника. Они уже вперед не рвутся. Не знают, как им справиться с обозом. Мобилизованные в селах ездовые побросали сани и расползлись по снегу. Лес в этом месте редкий, за ним светится поляна. Мне хорошо видно, что на ней, как мухи в сметане, барахтаются люди в черных куртках. Долго притворяться мертвым — ничего не добьешься. И я решил помочь мадьярам развернуться без ездовых в обратную сторону: выпустил по обозу последнюю очередь.

Видимо, это было последней каплей, переполнившей; чашу. Силы партизан показались мадьярам неисчислимыми. Исход боя был решен. А против их роты стоял один пулеметчик!

Враги отступили.

Теперь делать нечего — пора уходить. Я быстро закопал еще

горячего «дегтяря» в сугроб. Броситься прямо к лагерю, через просеку? Не годится. И я кинулся со всех ног туда, где ползали ездовые. Там лес редок, но может, и я сойду за ездового.

Помчался, сколько было сил, наметив целью — достигнуть, пока не очухались мадьяры, высокого гребня снега. За тем гребнем небольшая полянка с лозовыми кустами, а там до нашего леса рукой подать. В первые минуты казалось, что лечу, как на крыльях, не сам бегу, а несет меня неведомая сила. Только ветер свистит в ушах.

Но я все-таки не птица, а человек, причем человек в больших сапогах, они тонут в снегу. Поэтому «летел» я недолго.

Заметили. Уже пули свистят, взрывая снег. Передвигаюсь все медленней. Сердце — как молот. Дышать больно. Пот заливает глаза. Сапоги, проклятые, застревают в снегу, как в капканах. Два раза проваливался выше пояса. А пули: «В-зз-жи!» — и тонут в сугробах.

И тут мне стало страшно. Почему они в меня не попадают? Нарочно? Живым взять хотят? — Я не дамся!..

Уже сунул руку в карман за пистолетом и — упал.

Секунду, не больше лежал я в снегу, но успел ясно представить себе растерзанное врагами тело нашего партизана. Видел пять дней назад, а сейчас будто он рядом со мной. Как ни люблю я жизнь, как ни больно мне расставаться с ней, но в тот миг, честное слово, мечтал, чтобы пристрелили! Только бы не даться в руки! Решил: если дотяну до высокого гребня, перевалю за него — значит жить. Не дотяну — надо стреляться.

Ползу, от дороги отделились пятеро мадьяр и — за мной. Щупаю пистолет — нету. Потерял. А пятерка тянется по моему следу. Им легче. Нагло идут за мной, будто я уже и не человек.

Эта наглость меня разожгла. Сейчас увидите, как партизана в плен брать! Сейчас встречу! Себя не пожалею.

И все-таки соображаю — остаться живым. Тащу из-за пояса гранаты. Если удачно подобью, можно двигаться дальше. Но вряд ли всех сразу возьмешь. Надо бросить и сразу бежать. А как тут побежишь? Сил уже нет. И тут пришла мысль. Не знаю, что они подумали, когда я ни с того ни с сего плюхнулся в снег. Сижу — будто их поджидаю, будто сдаюсь или ранен. А мысль моя такая: разуться, облегчить ноги. Раз, два — готово. Вскакиваю, прыгаю им навстречу, кидаю две гранаты. И дальше, через гряду, босиком.

Теперь у меня прыжки огромные. Ноги стали легкими, прямо-таки отскакивают от земли. Лес подвигается ко мне все ближе.

Один раз оглянулся. Бросив сани, солдаты уже отходят от места боя, отступают к Ивановке. И никто уже за мной не бежит.

Двое лежат в снегу. Я обнял руками первое встретившееся в лесу дерево и глубоко набрал грудью воздух. Все! Спасен, живой.

В лагере действительно со слов Кудинова меня считали погибшим. «Покойнику» устроили теплую встречу. Приятно было узнать, что меня вспоминали как хорошего бойца и собирались ехать на просеку, чтобы осмотреть место сражения и подобрать своих, значит, и меня.

Вот я вместе со всеми и поехал в санях к «мадьярскому проспекту», как тогда же окрестили просеку партизаны.

Здесь мы нашли сорок девять подвод. На них: двадцать шесть тысяч патронов. Одиннадцать ящиков гранат. Семь ручных пулеметов. Один — станковый. Четыре ящика ракет и много другого вооружения, снаряжения и всяких полезных вещей.

На снегу лежали тридцать шесть мадьяр, тринадцать полицаев, шестеро ездовых и десятка три лошадей. Но мне было не до трофеев: ведь тут оставался мой пулемет Дегтярева. Не испытал бы я полного счастья, когда б не нашел его. Честно говоря: бросать оружие я не имел права. То, что закопал «дегтяря», очень меня мучило, хотя никто и не попрекнул.

Вот знакомая березка, вот сугроб. Мой славный защитник здесь. Обледенел, оделся корочкой, как будто лежит давно-давно.

Тут я даже «ура» закричал: как здорово все получилось! И враг побит, и я «убитый» жив остался, да к тому же «дегтярь» при мне! Как было не запомнить такой день.

Первая награда

В нашей трудной, полной испытаний жизни было немало радостей. В основном мы добывали их себе сами, но те, которые приходили с Большой земли, ценили особенно высоко.

Как ни дороги партизанам были собственные воинские успехи, как ни поднимали они наш боевой дух, а вести о победах Армии были еще дороже. Я уж не говорю о таких сообщениях, как декабрьское — о разгроме немцев под Москвой. Все, что посылала в эфир столица, мы ловили с жадностью. Даже концерты по заявкам партизан поднимали весь лагерь на ноги.

В первую партизанскую зиму мы несколько раз пережили счастье прямого общения с Большой землей. (Я говорю не о той регулярной связи, которую имело наше командование, а только о случаях, доступных всему коллективу.)

Когда впервые было получено известие, что нам вышлют самолеты, партизаны кувыркались по снегу, как маленькие дети.

Услышать гул моторов советской машины, увидеть ее было огромной радостью, а получить из Москвы боеприпасы, газеты, встретиться с живыми москвичами (всегда очень беспокоились: сядет самолет или сбросит груз на парашютах?) мы считали просто счастьем.

При таком отношении к каждому слову, к каждому предмету из Москвы, каково же нам было услышать ее прямую ласку, поощрение, весть о том, что Правительство награждает орденами и медалями бойцов и командиров отряда, где командиром товарищ Федоров?

Мы получили это сообщение в трудное время.

Шли беспрерывные бои, почти каждую ночь мы уходили на новое место. Нас теснили враги. А тут еще — лютые морозы и того пуще голод.

Коням и то есть было нечего, обгрызали кору на деревьях.

Соль кончилась. Ни хлеба, ни жиров, ни муки. Картошку можно было добыть только боем. Приходилось ради нее терять людей.

С трудом разыскали семь мешков ржаной муки, зарытой в лесу еще летом прошлого года. Мука давно от сырости зацвела, но и ей были рады. Одна кружка на ведро воды — и получалась знаменитая партизанская затируха, в которой в общем ничего затерто не было.

Помню, что я как раз возвращался с разведки, мечтая об этой затирухе, а пришел — не успел и ложки хлебнуть, как за мной следом прибежал рассыльный из штаба Саша.

Я, конечно, подумал, что командование недовольно моим докладом. Если разведка проведена плохо — наверно, опять идти. Я шел, перебирая в уме все свои грехи.

Зачем бы еще я мог понадобиться, если только что сдал рапорт? Факт — какой-нибудь непорядок!

Приближаясь к штабу, я был поражен веселыми возгласами, криками «ура». Там качали командира Перелюбского отряда Сашу Балабая. Едва Попудренко увидал меня, как закричал:

— Давай сюда, борода! Товарищи, качать бороду!

Я удивился еще больше. Если я ничего плохого не сделал, то и хорошего — тоже. Разведка была самая обыкновенная. За что меня качать? Но не успел я сообразить что-нибудь, как меня схватили, подбросили и, только когда вдоволь накидались, поставили на землю и сказали:

— Ну, а теперь — иди к командиру!

— Легко сказать: иди! — проворчал я. — Меня от вашего качанья ноги не держат.

— Ничего — поговоришь с Федоровым — на крыльях

полетишь!

Федоров встретил меня торжественно, пожал руку, поздравил меня с высокой наградой — орденом Боевого Красного Знамени. Оказывается, только что было принято сообщение из Москвы.

Я растерялся. В жизни не имел никаких отличий, и вдруг — сразу такое большое.

— Откуда в Москве знают про меня? — спросил я у Алексея Федоровича.

— Мы тебя представили.

— Спасибо, Алексей Федорович.

— Не меня благодари. Тебе орден дает наше Советское правительство, Верховный Совет.

Весь день у меня прошел как в тумане. По подразделениям проводили митинги, везде нас поздравляли и опять-таки качали. Ликование было общее: люди видели, как высоко оценили нашу жизнь, нашу борьбу; в глубокой тьме вражеского тыла нам засветил из Москвы такой светлый луч, такое тепло и радость, какие могут познать далеко не все награжденные.

Пришли поздравить меня Мария Скрипка и те товарищи, что были со мной вместе в Добрянском отряде. Вспомнили старое, помечтали о будущем. Вот ведь проделали вместе такой трудный путь. Он должен был бы нас превратить в неразлучных друзей, но мы мало общались. Каждый занят своим делом, принадлежит своему боевому подразделению. А Мария стала ответственным лицом — секретарем комсомольской организации. Она мне сказала:

— Подумайте только, товарищ Артозеев, такую вы большую награду получили! Ведь это нам всем добрянцам — честь.

— А ты подумай — каким ты большим человеком стала, — отвечаю я ей, — вожаком комсомола! Шла — плакала: «зубы болели»!.. Мы все здесь окрепли, поднялись.

Долго мы сидели, перебирали в памяти, как учились воевать, дожили до таких высоких отличий: в отряде сорок пять награжденных.

Рано утром, когда уже можно было улечься отдыхать, я вспомнил, что так и не пообедал сегодня.

Взводная повариха поднесла мне вторично разогретую затируху с таким видом, будто это было по крайней мере мясное жаркое. Я взялся за свой суп. В мутной белой водице оказалась целая картофелина! Это был чудесный подарок, и я съел ее с большим аппетитом.

Больше ничем отпраздновать событие не пришлось. Правда, ребята откуда-то раздобыли щепотку настоящего крепкого самосада и торжественно вручили мне самокрутку. Это было

событием. Мы курили в те дни сорт «лесная быль»: сушеные листья, хвойные иголки и все прочее, способное дымиться.

Каждый курящий знает, какие разнообразные побуждения заставляют его запалить табачок и затянуться. Теперь я давно уже не курю, но в партизанской жизни хватался за самокрутку и в радости, и в горе, и просто так.

Закрутка была прекрасной закуской после выпивки или сытного обеда, а частенько заменяла и то и другое. Она сопровождала наш отдых, помогала стоять на посту, разгонять сон. В трудные минуты табак действовал просто, как повязка, наложенная на больное место, а закрутку, которую сворачивали для раненого друга, мы делали с таким старанием и бережностью, как медсестра — перевязку.

В тот день, когда нечем было справить пир, нам заменили его густые облака табачного дыма. Он валил от каждого партизана, как от паровоза. Когда же мы легли рядом на своих нарах — в землянке появилось облако, за которым никто не видел друг друга. Партизаны размечтались.

— За что ты хотел бы получить второй орден? — спросили меня.

— Ишь вы! — ответил я. — Еще от этого не опомнился, а они — следующий!..

— По правде говоря, — тут же признался я, — хотелось бы перейти к подрывникам и пустить под откос этак двенадцать-пятнадцать отборных эшелонов. Вот это бы чувствительно для врага было. В таком деле и отличиться приятно.

И пошел у нас разговор о том, кто в каком деле желал бы отличиться.

Один хочет обязательно участвовать в освобождении Чернигова. Другому этого мало: ему бы из Киева гитлеровцев выгнать. Третий разошелся — Берлин хочет брать. Столько геройств в разговорах натворили, что впору хоть завтра получать новые ордена. Потом вернулись к действительности.

— А помните, как недавно говорили: сидим мы тут в лесу. Ходим крадучись, спим спрятавшись, а если и бой ведем, так дальше нашего леса не слышно. Выходит, что слышно?

— Вот удивленье будет! Кончим воевать и придем домой из лесу в орденах!

— Теперь, друзья, нам воевать веселей будет!

— Конечно, раз мы на виду стали, до наград дослужились.

— А вот что я хотел бы знать: удостоится ли кто-нибудь из наших звания Героя Советского Союза? Вот бы здорово.

Тут все запыхтели «лесной былью» еще с большим усердием.

Уже засыпая с легким головокружением от счастья, голода и

табачного дыма, я услышал последнюю, сказанную кем-то с особым выражением фразу:

— Все равно, что мать родная приласкала.

Весна в лесу

Лагерная жизнь, походы — все у нас на природе, а человеку ведь занятно наблюдать лесное население: хлопочущих на ветвях белок, игры молодых медвежат, лису, поднявшую дудкой хвост.

Сколько раз бывало движется партизанский обоз среди зимнего леса. Скрипят, поют на разные голоса полозья, стонут, охают, будто жалуются на мороз деревья. В темном небе горят зори. Все кругом сковано холодом, а живет: только приглядись, прислушайся!.. Но ты идешь за санями по глубокому снегу, иззябший, голодный, с назойливыми думами: вытянут ли истощенные кони? Проскочим ли до утра опасный рубеж? Удастся ли в пути хоть воды согреть — напиться партизанского чаю?

В таких обстоятельствах не обратишь внимания на мелькнувшего в кустах зайца, не посмотришь на причудливые шапки снега, украсившие молодые ели, не порадуешься высокому небу в звездах, да и луной полюбоваться некогда: при ее свете — самая работа!

Другое дело — солнце!.. Нелегко было нам дождаться его первого тепла. Ведь большинство из нас начали воевать осенью.

Все мы мечтали о весне. Тепло сулило нам много. Наш народ возмущался выдумке гитлеровского командования — будто русским помогает воевать зима, поддерживает генерал мороз.

— Мы что не из того же теста, что и все другие люди! — говорили партизаны. — Большая стужа все живое одинаково губит. А если у наших хватает воли стерпеть — так и говори. Какая может быть привычка — руки, ноги отмораживать? Они тоже не из Африки явились. Почему у них привычки нет?

Мечты о весне у нас были связаны с самыми точными представлениями о том, что она нам принесет и как мы станем бить врага без поддержки генерала мороза: листва даст нам верное укрытие. Переходы будут легче, не надо строить землянки: летом каждый кустик ночевать пустит. Изголодавшиеся копи получат обильный корм. Нам не придется заботиться о зимней одежде. Может, и с питанием станет полегче» — начнутся радости внепланового снабжения. Сначала — прошлогодняя картошка на полях, потом — птичьи яйца, а там — до ягод и грибов недалеко.

Но весна в этот год на Черниговщине запоздала.

В конце марта разыгралась страшная вьюга. Дул несколько дней северный ветер, поднялись стены снежной пыли. Потом спустились тяжелые тучи, и начался буран.

Наших коней, стоящих в кустарниках, совсем занесло. Высокие сосны кланялись чуть не до земли.

Вспоминались бабушкины рассказы о ночных криках бесов и адских песнях домовых и ведьм. Что приключилось? Откуда сорвался и злобно бушует над нами ураганный ветер, воющий, как стая волков?

При каждом новом порыве бури сидевшие в землянках люди невольно прекращали разговор, смотрели с тревогой друг другу в глаза. А из лесу, как одиночные выстрелы, доносился треск ломающихся деревьев.

В землянках еще ничего. А на посту? — Казалось, что давно уже в теле не осталось ни капли крови: промерзали даже кости.

На пятые сутки стало стихать. Будто утомилось и умирало что-то живое. Вдруг, как после грозы, явилось солнце. Так пришла к нам в лес первая наша партизанская весна.

До настоящего тепла, когда набухнут почки, еще далеко. Но если очень ждешь — радуешься и самой малой примете.

Солнце после бурана оценили все. А какой был следующий день — уже никто не помнил. Пришла такая череда, что мы уже не могли интересоваться весной, следить за ее тихими шагами. Было все равно, когда она придет: неизвестно, останемся ли живы сегодня. За зиму мы хорошо насолили фашистам. Теперь вокруг Елинского леса все туже стягивалось кольцо карателей. Кто из федоровцев не помнит март 1942 года? Мороз, голод, непрерывные бои. В эти дни еще больше сплачивался наш областной отряд.

Однажды утром меня послали с поручением на заставу. Я шел глухой лесной просекой, задумался, глядел под ноги, только и видел свою черную тень на тропе. Солнце грело спину.

В пути заболела нога — плохо обмотал портянку. Я сел на пень, чтобы переобуться. Вдруг мне за шиворот падает пригоршня снега. Наверху возня, шум. Не вставая, я поднял голову, оглянулся вокруг и будто прозрел в эту минуту.

Две белочки резвились над моей головой. Они, управляя пышными хвостами, прыгали с дерева на дерево, мохнатые верхушки елей сверкали зеленью на фоне синего неба. При полном безветрии было ясно видно, как от коры струятся испарения. С нагруженных снегом веток вниз падали чистые сверкающие капли.

Весь лес был словно расписан яркими узорами синих теней, а

там, где солнечные лучи свободно ложились на пелену нетронутого снега, искрились тысячи разноцветных огоньков. Вокруг звенели птичьи голоса, дышала, шуршала жизнь леса.

И, как это ни странно, мне показалось, что я давно-давно не видел такого леса, веселых белок, курящихся елей, не слышал птичьих голосов. Все это было похоже на воспоминание о далеком прошлом, о тех днях, когда можно было свободно шагать по родным лесам, легко дышать под весенним солнцем.

Вернувшись в лагерь, я нашел его тоже каким-то другим.

Некоторых раненых вынесли на солнышко, и они лежали, закрыв глаза и улыбаясь. Медсестры развешивали для просушки выстиранные бинты. За кустарником, прямо на воле, открылась «парикмахерская». Наши сапожники работали своими молотками и, словно дятлы, оглашали воздух дробным стуком. Кое-кто чистил оружие, и даже щелканье затвора звучало весело. А от костра, на котором варился завтрак, бежал ручеек талого снега с особым весенним бульканьем.

Еще через несколько дней в лесу появились проталинки, и партизаны, будто куропатки, выбирались погреться на темные пятачки земли. Казалось, очень скоро настанет новая пора нашей жизни. Но прежде, чем набухла первая почка, прежде, чем раздались голоса перелетных птиц, — нам пришлось встретиться с теми обстоятельствами весны, которые не облегчили нашу жизнь, а во много раз усложнили ее.

Снег быстро таял — а у нас нет подвод: мы на санях.

Продукты давно кончились — а запасы у крестьян тоже вышли.

Лес окружен — а дорогу в другой район преграждает вскрывшаяся река.

Вот с чем пришла к нам весна 1942 года.

Положение создалось тяжелое. Ближние леса мы уже исходили вдоль и поперек не задерживались нигде больше чем на пять дней. Холод, особенно по ночам, был еще порядочный. Без землянок трудно, но строить их каждый раз не хочется, да и не стоит: только отложишь топор — уходи. Противник преследовал нас, ожидая, когда мы пойдем на прорыв, чтобы навязать нам бой на марше, в открытой местности. Видно, ему хотелось выманить или выгнать нас из леса, чтобы применить танки, бронемашины, авиацию.

Люди измучились от частых переходов по распутице, изголодались на тощей конине. Без соли, без хлеба. Солнце пригревало все жарче, но нерадостные лица оно освещало. Я хорошо помню первый, по-настоящему теплый день: тогда пала от голода верховая лошадь Федорова, прослужившая ему всю зиму.

Мы, жалея верного спутника партизан, вскопали рыхлую землю и похоронили ее под березой. А на стволе дерева лупой, свинченной с трофейного бинокля, выжгли надпись.

С того дня и пошло потепление. Грохот льдов на реке становился все тише. Наконец лед сошел, а на лугах вспыхнули первые желтые цветы.

Земля кругом воскресала. Неохотно менялся только наш угрюмый еловый лес, «где лишь редкие березки стояли в новой одежде, как на празднике.

Озабоченный ходил командир. На белый свет не смотрит, покусывает себе ус. Глянешь на него и подумаешь: нелегко нашему Алексею Федоровичу. Мы — каждый со своей бедой, своей болью, а тут — поди! Почти ТЫСЯЧУ человек к жизни вывести надо. Где он видит путь? Ходит рядом, — а не спросишь.

Но вот дан приказ собираться, залить огни костров. Радисты снимают и сматывают антенны. Партизаны разваливают шалаши. Старшины подразделений распределяют среди бойцов груз: лошадей осталось немного, им с нашим добром не справиться.

У лагеря теперь запущенный, грустный вид. Все чувствуют себя напряженно, даже присесть неохота. Не в первый раз за последнее время мы меняем место, но все чуют, что это — не просто перемена. Мы уходим в рейд.

В тихую безлунную ночь, минуя несколько болот, колонна подошла к возвышенности урочища Гулино, на правом берегу реки Снови. Остановились в местности с неласковым названием «Чертов хутор». Река шумела еще угрюмо, будто ворчала, что несет так много вод.

— Здесь, видно, нам «крещение» принимать, — тихонько говорят партизаны.

Переправу пришлось строить без гвоздей, проволоки, веревок — бревна крепили лозой. Длинный плот перетянули с одного берега до другого, и вот — путь открыт. Противник не ждет, что мы пойдем водой, не верит, что мы можем преодолеть такое препятствие. И действительно это было очень нелегко.

Сырые деревья глубоко, почти полностью уходили под воду. Под тяжестью людей и подвод плот утопал на половину человеческого роста, норовил ускользнуть. Течение сильное. Вода холодная. Лошади переплывать не хотят. Фыркают и поворачивают обратно. Спасательные команды на утлых челноках справиться с ними не могут. Один челнок перевернулся — гребцы спаслись, ухватившись за гривы и хвосты лошадей.

Над рекой были слышны всплески, сдержанная брань партизан, тихие вопросы и приказания командиров.

К концу переправы плот не выдержал: вязка посередине

разорвалась, и левая половина поплыла. Десятку бойцов пришлось нырять в холодную воду, но спасательные команды никому не дали погибнуть. Оставшихся на левом берегу переправили на своих «душегубках».

Наконец весь отряд на правом берегу. Только разве это берег? Низкая равнина обильно залита водой. Земля под ней болотистая, кочковатая. Не попадешь на трясучий холмик над водой — и нырнешь по пояс, а то и по шею. А груз придавит сверху, как крышкой. И так до самого рассвета. После форсирования реки еще километра три пришлось идти водой.

Но вот взошло повыше солнце, и задымилась паром мокрая одежда. Вылезли из болота грязные, черные, не чуя себя от усталости, не разбирая толком, куда пришли, как вдруг увидели перед собой березовую рощу.

Навстречу подул душистый, теплый ветер, насыщенный хмельными весенними запахами. Воздух в роще был будто настоен на клейко-смолистых почках. Пройдя рощу, мы углубились в лес. И тут по-настоящему встретились с весной.

Как хорош, оказывается, может быть отдых на теплой, даже на мокрой земле! Все кругом тянется к жизни, к свету, к солнцу, да и жителей тут оказалось немало: «ку-ку» — считают нам долгие годы кукушки, «фиу-шу» — распевают с прилета иволги, «гуурр-лу» — выводят дикие голуби, «цвинь-цвиринь» — заливаются синички… Такой гомон, счастливая возня среди птиц, что и люди радуются: ведь хлопочет, работает пернатый народ, а все делает весело. «Такая компания нам подходит!» — шутят наши ребята.

Только то плохо в весеннем лесу, что подкрепиться нечем. До ягод и грибов еще далеко, но никто не унывает: полезли по дубовым стволам — срывают с ветвей уцелевшие прошлогодние листья. Это — курево. Находится и «выпивка»: березы, будто винные бочки, наполнены бражным соком. Надо только подрезать кору и нацедить сладкой березовицы по кружкам и бутылкам. Прекрасный напиток!

Вдруг среди «виноделов» поднимается шум. Что такое? Оказывается, у партизан есть собутыльники. Это дятлы. Они раскупоривают толстыми клювами березы и тоже справляют весенний пир. — А белки-то, белки? — смеются наши люди. — Тоже не прочь полакомиться. Ишь, облизывают проклеванные дятлом деревья. Запылали костры, потянуло горьковатым дымком. Варить особенно нечего, но в котелках над огнем весело булькает — кипит болотная водица. Одежда почищена, просушена, «квартира» обжита, и начинается нормальный партизанский режим. Наши девушки — медсестры слушают

лекцию. Поодаль от санитарных курсов поместилась на приволье школа партучебы. Занятия ведет наш комиссар Дружинин. Своими делами заняты и агитаторы, и радисты, и бойцы: весь лагерь тихонько шумит, как пчелиный улей.

А еще немного позже гармонист Семен Тихоновский тихонько заводит колхозную польку. Кругом ему начинают подпевать, подсвистывать, хлопать в ладоши — мы давно уже этот мотив наизусть выучили. Все больше народу собирается близ гармоники, и тут ездовой штаба — старый дед Степан Шуплик преподносит партизанам новый сюрприз. Наш «поэт-демократ», как его окрестили, сочинил созвучную моменту частушку:

Курили б мы табачок
Так у нас нэмаэ.
Мы куримо дубнячок, —
В лисе выстачае.

Эх! — Вылетает под этот веселый припев первый плясун на круг. И пошла песня за песней, танец за танцем. Гремит «Корюковская полечка»:

Поезд мчит по зализници
И кричит: ту-ту-ту-ту!
Партизан пидсунув мину —
Все пишло на красоту!
Мчит екпресс по зализници,
Просто з Харкова в Берлин.
Не дойде вин до граници
Гриша зробит з ньего блин!

И вдруг на середину выходит наш солидный начхоз — Василий Логвинович Капранов. — А ну, давай «барыню»! — кричит он Тихоновскому и как топнет, как поплывет, да подскочит. Телогрейку сбросил, улыбается, подмаргивает и даже вприсядку сумел! — Вот это сила! — подсмеиваются партизаны, а Капранов будто забыл, что у него склады пусты. Руки в боки, гуляет по кругу и подпевает: «Чоботы, чоботы вы мои! Наробили хлопоты вы мени, гоп, гоп.»

Навстречу Капранову вылетела как птица наша лучшая плясунья — медсестра взвода Авксентьева — Нонна Погуляйло. Это черниговская восемнадцатилетняя красавица. Тут начхозу уж никак нельзя ударить лицом в грязь. «Гоп, гоп!» — уже не поет, а рявкает почтенный Василий Логвинович, и сапоги его так и

мелькают перед изумленными партизанами.

Федоров, улыбаясь, стоит в кругу, а комиссар Дружинин кричит ему на ухо: — Смотри, Алексей Федорович, какие таланты у нас в лесу хранятся!

Услышали бы тогда оккупанты наше веселье — испугались бы, пожалуй, не меньше, чем смелой операции.

Трое суток отряд простоял здесь на отдыхе, празднуя первое тепло. Тут нам ничто пока не угрожало. Но партизаны спокойной жизни не искали: командование наметило маршрут. За три дня разведка обернулась и доставила нужные сведения. Колонна оставила уютный, ласковый лес.

Позднее мы узнали, что этот лес прозван Соловьиным. Уж не мы ли те соловьи?..

В родном селе

В один прекрасный день понадобилось пойти на разведку в село Машево — место, где я родился и прожил детство.

День на самом деле был прекрасный: ночная гроза освежила землю. С восходом солнца сильнее запахли цветы и травы. Весело пели на разные голоса птицы. Дышалось привольно, шагалось легко.

Мы втроем вышли из лагеря, расправив грудь пошире, невольно любуясь окружающим нас привольем. Конечно, так свободно шли недолго. Пришлось согнуться и вспомнить: мы сейчас не хозяева на родной земле.

Остановились на опушке. Вот перед нами освещенное солнцем поле. Дальше за полем, на косогоре, видно хорошо знакомое мне кладбище. Над, ним высятся старые вербы. За вербами подымаются большие, окружающие церковь липы, а за липами и церковью — село.

Я не мог оторвать глаз от кладбища. Узнал склонившуюся вербу — под ней похоронили в 1917 году мою мать, Степаниду Митрофановну. Целыми днями просиживал я тут. Ходили со мной на могилу и младшие сестры. Дома нам жизни не было: там хозяйничала злая мачеха. А когда умерла бабушка Анисья, за ней — дед, нам стало совсем худо.

Ох, памятна мне эта верба! Под ее тенью прошло такое тяжелое детство, что впору было и сейчас слезу уронить. И нынче на сердце было тяжело: каково смотреть на родные места и сознавать, что не можешь свободно ходить по ним.

Товарищи окликнули меня из-за кустов. Я не сразу

сообразил, о чем они говорили. В поле появились люди. Бугристый даже рассердился:

— Что на тебя столбняк нашел?

У Васи Кузнецова душа была почувствительнее. Он не стал ругаться, а только подозвал меня и подал свой, недавно взятый с гитлеровского полковника бинокль.

— Посмотри-ка, — сказал он, — получше! Кто тут из твоих земляков подходящий?

Я начал разглядывать пришедших на огороды людей. Это всё были женщины и как будто — незнакомые. Но я увидел шедшего за конем мужчину. Друг детства — Алеша Головач!

— Всё! Кого надо, того и нашел! Сидите пока тут.

Я добрался до подводы, оставленной Алешей в тени кустов близ огорода. На ней нашел бутыль с холодным квасом. Тут же лежал платок с хлебом, огурцами и куском сала. «Хорошо живешь, Алеша», — подумал я, прикладываясь к горлышку. По дороге в Машево мы пили воду из луж. Я отпил из Алешиной бутыли несколько глотков, но больше ничего не тронул: полагал, что он и сам мне последнее отдаст.

Вот приближается мой друг. Маленькая лошаденка еле тащит соху. Алеша не видит меня — согнулся, надулся, крепко сжимает ручки своего дореволюционного орудия — помогает коняшке. Подходит все ближе. А мне даже интересно: где он эту музейную штуку откопал. Неужели сам сделал?

Как ни странно — первой заметила меня лошадь. Тогда увидел меня и Алексей. Не подошел, не окликнул, вытащил соху из борозды, счистил босой ногой глину и погнал лошадь дальше.

В чем дело? Я оглянулся — поблизости никого нет. Снова глянул на Алексея: лицо бледное, руки дрожат, лошадь погоняет зло и растерянно. Так вот что! — испугался. Конечно же — испугался меня! Не видел никогда с бородой. Мог и не узнать.

Я, не вылезая из-за укрытия, тихонько окликнул его:

— Алеш! Не узнал? Подойди на минутку! Не поворачиваясь ко мне, он буркнул:

— Чего вам тут?

— Что ж ты старого друга не помнишь? Артозеева не узнаешь?

Тогда Алексей все с таким же постным лицом подошел и остановился метрах в пяти.

— А-а-а. Артозеев. Чего ты тут? Есть приказ коменданта — задерживать подозрительных. Так что. Да что тебе тут?

— Как что? Я — не подозрительный, я — партизан. Мало ли что мне тут нужно. Я — на своей земле, и с земляком, с другом разговариваю. Или ты уже не друг, а фашистский прислужник?

— Прислужник или нет, а имеется приказ. А потому я тебя задержу — и пойдем к старосте, — говорил этот человек, нерешительно приближаясь ко мне. Он состроил подобие улыбки и добавил: — Ты же наш, машевский, тебе ничего не будет! А меня за такой запрещенный разговор расстрелять могут. Идем, что ли? — уговаривал он меня, а сам каким-то пыльным взором косился на лежащий под возом топор.

Возможно, Головач решил, что я пришел и спрятался за возом, чтобы читать ему проповедь, но я уже сообразил, с кем имею дело, и подготовил довод более убедительный. Едва он сунулся к топору, как я навел на него дуло автомата.

Бывший мой друг и бывший советский человек упал на колени. Стал просить прощения, умолять меня идти на все четыре стороны: он мне, мол, зла не желает.

Вся кровь во мне закипела. Но что делать? Фашисты часто расстреливали на дорогах, в полях и в лесу мирных граждан, а потом объявляли, что это — дело рук «партизанских бандитов». Рассчитайся я с этим жалким подлецом пулей — работающие кругом женщины узнали бы только одно: явился из леса неизвестный партизан и среди бела дня убил мирно трудившегося гражданина.

Пришлось сдержаться.

— Мы еще встретимся, — сказал я ему, — еще поговорим, доведем разговор до конца!

Я приполз к ожидавшим меня ребятам не солоно хлебавши и довольно расстроенный.

— Вот тебе и «друг детства»! — поздравили они. Я только рукой махнул: что теперь говорить! Меня послали не на встречу с друзьями. Надо думать о разведке. В этот день в родном селе мне решительно не везло.

Едва мы углубились немного в лес, чтобы на свободе обсудить положение, как услышали треск сучьев. Оставив товарищей, я пошел посмотреть, кто это.

Сразу за просекой, на поляне, увидел согнувшуюся женщину. Она собирала ягоды. Пригляделся. Это была Пелагея Надольная, одна из ближних соседок наших на селе. Решил подойти:

— Здравствуйте, Пелагея Ивановна!

Надольная подняла голову, уронила от неожиданности корзину. Я рассмеялся:

— Что вы испугались? Своих не узнаете?

— А вы кто?

— Сергея Семеновича. Артозеева сын. Не признали?

А-а-а, Сергеевич. — будто обрадовалась она. — А я испугалась. Вырвалась на минутку ягод набрать и бегу домой.

Полиция-то в лес ходить не разрешает. Чтобы народ не связывался с вами, с партизанами. — Кто же у вас тут в полиции за главного?

— Головченко да Гецевич. Они рассказывали, что в лесу есть банды, которые убивают всякого, кто им попадается. А тут у нас неподалеку овощехранилище большое строится, так туда все ящики с патронами и минами возят. У нас теперь ужас, как строго стало. Так что нам тут быть нельзя. Уж вы извините.

Она подобрала свою корзину и степенно пошла от меня в сторону дороги Машево — Углы.

— Ну, прощайте, — сказала она. — Вы за мной, пожалуйста, не ходите. Я по шляху пойду. А там теперь — машина за машиной и все с солдатами. Вам там быть никак нельзя.

С этими словами она скрылась за кустом.

Опять нехорошо вышло. Но я расхохотался: по глупости ли проболталась Надольная или схитрила, но ведь она мне дала весьма важные сведения. Нет, уходить нельзя. Надо узнать подробности.

Решили обождать до вечера. Возможно, что женщины пойдут с поля, удастся среди них найти более смелую собеседницу.

Чтобы удобнее было завязать разговор, я решил залечь у дороги к селу и окликнуть кого-либо из знакомых, когда они пойдут с работы. Все же сказывалось, что я не был здесь несколько лет: не знал, к кому можно обратиться прямо, без сомнений.

Когда стало заходить солнце, мы обошли поле и по известной мне тропе проникли в лес. Я оставил ребят в глубине, а сам спрятался у дороги. Мимо меня по двое — трое шли землячки. Я не решался их остановить, памятуя мои первые неудачи.

Вереницу женщин замыкали девушки. Среди них я узнал тех, кого помнил девчонками: Машу Пурыгину, Веру Коноваленко.

Но не стал их окликать, а просто высунулся из своего укрытия: что будет, когда они меня заметят? И тут произошло нечто такое, после чего я уже никогда не верил тем, кто меня «не узнавал».

Маша бросилась ко мне. За ней — другие. Не только узнали, но сразу поняли, кто я такой.

— Господи ты, боже мой! — сказала Маша. И заплакала. — Георгий Сергеевич! Сколько времени мы мечтаем — хоть бы до нас партизаны заглянули! Ведь сил нет никаких терпеть. Неужели нам мстители народные не помогут?..

Тут еще две девушки заплакали.

Я, признаться, обрадовался этим слезам, даже облегченно вздохнул: девушки одним только выражением горя стали мне

близки.

Конечно, они перебивали друг друга и подсказывали одна другой, но это мне и нравилось: мне все казалось более достоверным оттого, что они с одинаковым жаром поддерживали друг друга. Впрочем, в достоверности их рассказа, к несчастью, не могло быть сомнений. Все было слишком похоже на бесчинства, происходившие на оккупированной земле вокруг.

— Третьего дня на село с «овощехранилища» приехали гитлеровские офицеры. Захотели посмотреть на молодежное гулянье. По приказу полиции собрали нас всех, заставили петь, плясать. А как наступила ночь, закрыли всех в амбар за «нарушение правил». Офицеры дали команду и, вместе с пьяными полицаями, начали обстреливать амбар.

Девушки рассказали об издевательствах, которые терпел народ от фашистов и их прислужников, но подробно сообщить что-либо ценное мне, как разведчику, не смогли.

Прощаясь, я дал им листовки и велел никому не рассказывать о нашей встрече. Они даже обиделись:

— Ой, что вы, Георгий Сергеевич! Мы же вас еще раньше видели, когда вы мимо домика лесника проходили. Так мы же никому, никому!.. Даже друг другу сказать боялись. А сами думаем: «Вот хорошо! Пришли партизаны. Может, наши мучители-полицаи хоть немного уймутся.»

Едва расстался с девушками, на просеке показалось стадо. Я решил подождать, глянуть, кто его гонит.

И на этот раз удача. За скотиной брел старый учитель машевской школы — Фотий Лазаревич Поправко. Он шел, прихрамывая, крепко задумавшись. Босой, в белых крестьянских портах, в серой, подпоясанной веревкой рубахе. На плече — грабли. В левой руке — узелок и пастушеский кнут. По лицу видно: невеселую он думает думу.

Как же он обрадовался, когда я окликнул, его! Подскочил, будто молодой, заволновался.

— Ах, вот как хорошо! Вот та-ак! — услышал я его любимую присказку. — Хорошо-о, люблю! — Фотий Лазаревич имел обыкновение приговаривать так на уроках, когда ему верно отвечали, и вообще когда слышал и видел то, что ему было приятно. Дальше старик мне сказал как ни в чем не бывало:

— Ты тут стой. Жди! Я скотину загоню, потом вернусь… хм… поискать одну коровушку. Забрела, мол, где-то тут. А мы ее тут и привяжем. Вот и выйдет, что надо искать. Вот видишь как, а? — Хорошо? — Хорошо! Он сам спрашивал и отвечал, видимо, очень довольный. Глаза его заблестели, морщины осветила хитрющая улыбка.

Я помог ему привязать корову в глубине ельника, и старик погнал стадо дальше, приговаривая любимые слова. Я даже по спине его видел, как ему не терпится вернуться, и тоже очень довольный остался ждать.

Когда Фотий Лазаревич возвратился — обнял меня и по русскому обычаю три раза поцеловал в щеки. Потом по-деловому осведомился:

— Ну, а где твои молодцы? — Видно, старый учитель решил, что я — командир отряда и за моей спиной стоит целое войско.

Я повел его к товарищам, чтобы поговорить всем вместе. Их он тоже по очереди обнял и одобрительно, по-отцовски, похлопал по плечам. Против ожидания Фотий Лазаревич не поразился, что нас так мало: удивительно толковый был человек.

Нам пришлось рассказать старому учителю о партизанской жизни.

— Вот как! Хорошо!.. Люблю. — говорил старик. Он как-то умел повторять это на разные лады, и каждый раз присказка звучала с новым смыслом. Он задавал столько вопросов, что казалось, не мы, а он — разведчик. Мы рассказывали, что могли, а он только жмурился от удовольствия и приговаривал:

Все равно Россия победит! Много к нам любителей совалось. Будет тут и Гитлеру крышка!

Мы начали рассказывать об ожидании второго фронта, но старик сердито перебил:

— Мягко стелют, жестко спать! — почти закричал он. — Им невыгодно, чтобы Россия пала; невыгодно, чтобы победила. И нам от них спасения не нужно! Они за него потом такую ноту предъявят, что впору будет снова воевать. Своими силами возьмем. Наша армия, наш народ — победа будет наша!

Фотий Лазаревич нисколько не торопился домой. Видимо, давно ни с кем не говорил по душам. Пришлось его прервать. Конечно, на досуге не мешает и самим в международной политике разобраться, но досуга не было.

Мы спросили Фотия Лазаревича о том, что нас интересует, и получили довольно четкие ответы:

«Овощехранилище» — это склад боеприпасов. Со дня на день в Машево должны прибыть из Новгорода-Северского фашистские солдаты. Сколько — неизвестно, но, судя по тому, какое жилье готовят полицаи, — не меньше роты. Новгород-северский комендант — Пауль Пальм создает «национальный русский батальон» для борьбы с партизанами. Туда зачисляют бывших кулаков и добровольно сдавшихся в плен. В Семеновке тоже строится склад и авторемонтные мастерские.

Что касается жизни в селе, учитель подтвердил все,

рассказанное девушками, и добавил, что машевской полицией руководит какой-то пришлый националист, которого Фотий Лазаревич не знал, а я — тем более. Ближайшими подручными рыжего были: Крючков, Коноваленко, Сержан, Коваленко и другие известные мне лица. Они стреляли во время вечернего обхода в мирных жителей за то, что те задерживались на улице.

Мы попросили учителя идти: от греха подальше. Близился час обхода.

Ему очень не хотелось с нами прощаться. Мы обещали дать о себе знать и доложить о нем командованию как о верном связном.

Можно было уходить и нам. Однако нам уже известно, что полицаи делают обход по четыре-пять человек и на пути их следования лежит мост через реку Рванец.

Нас — трое, до моста дойти нетрудно. Впрочем, если б полицаев оказалось и больше — для партизан это не страшно.

Пробрались к мостику огородами. Я сел у самого берега, под ольховым кустом: Положил автомат диском на край моста, укрылся ветвями. Ребята устроились с другой стороны.

Сначала мы слышали голоса шумевшей у качелей молодежи. Там, видно, уже пошли в ход наши листовки. Потом мимо нас проходили торопившиеся по домам односельчане. Некоторые шли с мельницы — несли тяжелые мешки с мукой и задыхались от быстрой ходьбы, но шага не сбавляли.

Было начало одиннадцатого. У качелей послышался грубый окрик — «Р-расходись! Что за сборище?» И снова тихо. Вот и расходиться уже некому. Только поет соловей да насмешливо квакают не подчиняющиеся «общественному порядку» лягушки.

Медленным, спокойным шагом шли к мосту полицаи в сознании своей власти, в уверенности, что уже никого не встретят в ночной темноте. Когда они подошли поближе, я увидел, что они беспечно повесили автоматы прикладами вверх, и услышал такой разговор:

— Сегодня Надольная собирала в лесу ягоды, а к ней подходит здоровый обормот с черной бородой: бандит-партизан из здешних Артозеевых.

— Ну и что? Грозил?

— Будто бы только поздоровался да велел никому не рассказывать.

— Куда двинулся?

— По просеке на Курилки.

— Ты знаешь эту просеку? Она удобная. Если он там ходит, можно сделать засаду, схватить живьем.

— Да, хорошо бы его ухватить. Особенно потому.

С этими словами полицаи вступили на мостик. Они были на

расстоянии метра от меня. Я нажал спусковой крючок.

Полицаи упали. Один хотел отцепить от пояса гранату, да руки отказывались служить. Другой, обалдев от неожиданной боли, хрипел:

— Господа, что вы. Мы же полицаи. Охраняем.

В селе наши выстрелы переполоха не произвели. Народ привык к стрельбе в этот час. Мы забрали у полицаев документы. При одном оказалось командировочное удостоверение за подписью бургомистра Орловского. Из этой бумажки мы узнали, что полицай имел разрешение на семнадцатидневный отпуск для поездки в Сумскую область к родным. Но мы ему выписали другую командировку: вместе со всей компанией он отправился ко дну речки Рванец.

Группа «Комсомолка»

Бабушка Дарья торговала семечками, сушеными грибами, а иногда и конфетами кустарного производства. Она, как партизан, жила на ногах. Ходила из Новозыбкова в Гомель, Унечу, Стародуб, — куда только ей было по силам. По дороге заглядывала на наши заставы и наделяла народ своим товаром и новостями. Старушка получала задания и в срок приносила донесения. Путешествия ее всегда протекали благополучно, потому что у бабушки Дарьи был на руках очень веский документ: пропуск, выданный новозыбковским комендантом.

— Бабуся, как же вы получили такую бумагу? — интересовались партизаны. — Зачем вам дали ее?

— А чтобы к вам ходить, родимые. — простодушно отвечала на такие вопросы бабушка. При этом она каждый раз добавляла, что ей обязательно надо дойти до самых главных командиров: есть очень серьезное поручение.

— А нам не доверяете?

— Отчего ж не доверять? — удивлялась она. — Только мне приказано до главного — так исполнять надо.

— Кем же приказано? Уж не Комендантом ли? — смеялись ребята.

— Не самим, а вроде того. — отвечала бабушка.

Когда об этой настоятельной просьбе доложили Федорову и доставили бабусю в штаб, оказалось, что она говорила правду. Поручение было не от коменданта, а «вроде того» — от начальника паспортного стола, желавшего связаться с партизанами. Этим начальником, по словам бабушки Дарьи, была

«очень хорошая девушка Маруся».

Через наших связных и подпольщиков начали Марусю проверять. Кое-что было поручено выяснить и мне. Вот что я доложил командиру на основании собранных мною сведений.

Маруся Третьяк, член комсомола, бывшая студентка Новозыбковского педагогического института, служит начальником паспортного стола. Знает немецкий язык. Пользуется доверием.

До настоящего времени выдала 67 паспортов нашим окруженцам и беженцам из лагерей военнопленных. Снабжает жителей Новозыбкова служебными пропусками. Запутала учет населения города, благодаря чему жены красноармейцев и командиров Красной Армии получали продовольственные карточки наравне с работающими на немцев. Действует не одна: является командиром группы девушек под названием «Комсомолка».

Федоров поручил мне связаться с Марусей.

Согласно приказу вместе со мной пошли два знавших эту девушку местных человека: некие Василий и Борис. Оба вчера еще служащие новозыбковской железнодорожной станции, работавшие на оккупантов. С грехом пополам они выполнили задание — взорвали бетонный водосток на линии Гомель — Новозыбков, и теперь стали как бы партизанами.

Не очень-то нравилось мне их общество, и главным образом потому, что не я вел их, а они — меня. Здешних мест я не знал; им же был известен каждый кустик. Угодно или нет, а я должен шагать за ними, как баран на веревочке.

Состояние напряженное. Что на уме у моих новых товарищей? Да и можно ли их товарищами считать? Взорвали водосток только вчера, ничем себя больше не показали. Доверять им или нет? Не нравилось мне, что они очень много расспрашивают о нашей жизни.

Я думал о том, что не имею права на легковерие, что партизанская бдительность обязывает меня быть настороже. Но чрезмерная подозрительность может отпугнуть хороших людей. Ведь часто человек становится гораздо лучше именно оттого, что чувствует доверие. Эти мысли мешали мне сосредоточиться, думать о задании, о деле.

Позднее, с опытом, у меня появился какой-то особый «нюх» и разобраться в человеке мне уже не стоило больших усилий. Но тогда, помнится, всю дорогу я только и ломал себе голову загадками, на которые не мог ответить.

Моим спутникам я, конечно, о своих сомнениях не говорил. Даже рассказал им в ответ на их вопросы о таких доблестных

делах партизан, что и сам развеселился. Так и шли.

Дело уже близилось к рассвету, когда мы подошли к месту встречи с Марусей, — в сосновую рощу близ военного городка. Роща небольшая. Если бы нас обнаружили — спастись трудно. Залегли в гущу молодняка. Маруся должна прийти вечером. Ждать долго.

Закусили выданными нам в хозчасти продуктами. Борис предложил по очереди поспать. Но никому из нас не спалось и не лежалось. Сюда доносился городской шум. По лесу, рядом с нами ходили женщины и дети, собирая шишки. Время тянулось томительно.

О чем мы только не переговорили, лежа целый день в кустарнике! Уже перестали рассуждать о войне, углубились в воспоминания молодости: кто где родился да как рос, когда женился. Перебирали друг друга по косточкам. И как ни странно, именно во время этой, будто бы легкой беседы меня перестала тревожить мысль, доверять ли Василию и Борису. Понял, чем они жили, с какими думами к нам пришли.

Вот уже шесть вечера. На небе собрались грозовые тучи, спряталось солнце. Загремел гром, и полил крупный дождь. Молния освещала каждую ветку на сосне и каждый дом в городе. Кругом все притихло — людей стало не слышно, только одна природа шумела: молотил дождь по земле да гремел гром в небесах.

Мы тоже лежали тихо. Только изредка кляли грозу. Не воды мы испугались, боялись, что девушки не решатся выйти к нам в такую погоду. Ведь на улицах ни души — сразу привлекут внимание.

На счастье, часам к семи ветер разогнал тучи. Посветлело, будто второй раз на дню настало утро. Снова кругом зашевелились, заговорили люди. Это были те же женщины и дети, которые собирали шишки и, видимо, схоронились неподалеку от дождя.

Из города идет прямо на нас группа девчат. Босиком, на плечах грабли, в руках корзины и мешки. Шумят, веселятся, будто козочки подскакивая на ходу, и беспечно смеются. Я взял бинокль и, разглядев легкомысленную компанию, сказал Василию:

— Надо получше замаскироваться или переползти на другое место. Девчонки сорвут нам встречу.

Василий попросил у меня бинокль, взглянул и ухмыльнулся:

— Так это наша группа и есть! Впереди — Маруся, за ней Люба, потом, кажется, Катя и еще две, — этих не знаю.

Василий высунулся из-за кустарника и помахал шапкой. Девушки побежали еще шибче и юркнули к нам в молодняк; вот

так конспирация!.. Лишь позднее я понял, что чем проще и свободнее себя ведешь, тем меньше вызываешь подозрений. Но в тот раз возмутился ужасно. Однако сдержался. Девушкам не сказал ничего.

Василий познакомил нас очень торжественно, а сам представился так:

— Я теперь уже не немецкий служащий, а партизан!

Но девушки не обратили на его слова никакого внимания, а упорно разглядывали меня. Они не спускали глаз с моей черной бороды, которая им казалась настоящим партизанским документом.

Одна сказала:

— Прямо себе не верю. Уж как мы ждали!

Она смутилась и покраснела. Лицо горело от радости. Она была порывистой, шустрой, любопытной. В глазах блестела смелость, а с губ не сходила улыбка. Казалось, дай только задание — вскочит и побежит. Настоящая комсомолка!

Это и была Маруся Третьяк. Подружки ее — тоже бойкие девчата. Вся группа — пять человек: помощник начальника паспортного стола — Люба, бухгалтер Катя и Вера с Аней — уборщицы в немецком общежитии. И эти девочки ворочали в городе большими делами, спасли десятки жизней советских патриотов!.. Они радовались мне и не догадывались, как, глядя на них, радуюсь я, как горжусь ими, их делами!

Заметно было, что комсомолки к встрече готовились. Маруся оказалась неплохо информированной об интересующих наше командование делах. Без запинки на память привела цифры: в Новозыбкове 7 тысяч немцев. В городе формируются прибывшие из Гомеля стрелковые части. Имеют: 8 танков, 32 орудия, 69 минометов, пулеметы и т. д. На днях части отправляются на фронт — в сторону Брянска. В скором времени прибытие новых сил противника как будто не ожидается.

Маруся рассказала и о том, что делается в ближайших населенных пунктах: в Злынке — большой немецкий госпиталь для выздоравливающих; оттуда их снова посылают на фронт. Настроение у многих солдат неважное. Известны случаи симуляции и членовредительства.

Пока Маруся рассказывала, девушки аккуратно выложили на разостланное ими полотенце жареную рыбу, масло, яйца, хлеб и выставили литр чистого спирта. Они считали, что партизаны обязательно должны быть голодны, а если начнут есть-то обязательно должны пить. А что же пить партизанам, если не спирт? Мы посмеялись над их представлениями о партизанских аппетитах. От спирта наотрез отказались. Затем я передал им

наши листовки. Девушки обрадовались.

— Все вручим точно! — сказала Катя. — Русские — русским, а немецкие — немцам. Вера с Аней в общежитие снесут и повсюду их разложат.

Маруся только кивала головой: мол готова выполнить любое поручение. А показавшаяся мне тише других Аня вдруг покраснела и выпалила:

— Мы помним, мы — комсомолки! Если кто из нас провалится, — ни одна подруга не выдаст. Верно, девчата?

— Ничего эти турки от нас не добьются! — подтвердила Вера, да так просто и весело, будто речь шла о гулянье, а не о тюрьме и пытках.

Я дал Марусе личное задание: достать для нас пять немецких паспортов и семь чистых бланков па пропуска, заверенных комендантом.

— Как вам передать? — только спросила она. Мы уговорились о дне и часе встречи и наметили «почтовый ящик» — под пнем груши-дичка.

Пора было прощаться. Девчата быстро начали собирать шишки, за которыми будто бы приходили, и одна за другой выбирались из сосняка. Вскоре они скрылись с наших глаз.

Уже настолько стемнело, что и нам можно было двигаться в путь.

Обратно я шагал куда веселее: тридцать километров за десять показались. Девушки-то какие деловые! А разведчик тогда и живет, когда кругом находит своих людей, выполняет свою нелегкую работу заодно с народом. Я пришел в хорошее настроение; вспомнил песню «Молодая гвардия», потом другие, и сам не заметил, как начал распевать одну за другой. На душе было легко и чисто. Мои новые товарищи сперва посмеялись тому, что я так развеселился, но потом и сами начали потихоньку подтягивать. До лагеря мы дошли скоро.

Начальник разведки Новиков принял мой рапорт, по назначенный мною для встречи день отклонил: документы, заказанные Марусе, нужны были срочно. В ту же ночь мы отправились обратно. В случае, если почтовый ящик под пнем окажется пуст, я должен был найти способ вызвать Марусю.

На рассвете у пня дикой груши, конечно, никого не было, и я был уверен, что и под пнем ничего нет. Но молодец Маруся, честное слово! Нас уже дожидался пакет, а в нем — все нужные документы. Кроме них, была еще и записка:

«В городе тревога. У немцев паника. У солдат под одеялами и в тумбочках обнаружены партизанские листовки. Одна оказалась у коменданта в кармане шинели. Проводят массовую проверку

граждан. Разогнали базар. Выход из города воспрещен — еле пробралась: спасибо знакомому полицаю. Для борьбы с партизанами коменданту обещана поддержка Гомеля: два полка. Из сел на подкрепление будут сгонять полицаев. Между Гомелем и Унечей поставлено на дежурство два бронепоезда. Карательные части пойдут по двум направлениям: на вас и в Брянские леса. Больше ничего пока узнать не удалось. При первой возможности донесение дополню, но вам лучше сюда не приходить и вообще уйти временно подальше. Когда вернетесь — ищите мою почту тут же. Мы будем работать и ждать вас. Передайте пламенный комсомольский привет партизанам и обкому партии.

Комсомолка».

Мы положили в пенек новую пачку листовок и номер газеты «Комсомольская правда» с первомайским приказом Наркома Обороны товарища Сталина.

Наше командование, предупрежденное о планах карателей, приняло свои меры. Мы ушли из этого леса. А когда, спустя некоторое время, вернулись — наша разведка снова связалась с Марусей. Ее подпольная группа еще не раз исполняла наши поручения точно и в срок.

На встречи с девушками ходили другие партизаны — мне больше не довелось повидать славных комсомолок. Но когда вспоминаю о них, мне почему-то кажется, что мы встречались не один раз, и всегда они были веселы, смелы и готовы рисковать своей молодой жизнью за наше общее дело.

Мадьяр Миша

Однажды после боя у нас в лагере появилось новое, необычное лицо. Интересно, наверно, было поглядеть со стороны на этого человека, когда он сидел среди нашего брата у костра. Смуглый, черноволосый, с тонким носом с горбинкой — сразу видно, что не русский и не украинец.

Попал он к нам в отряд не совсем обычным путем.

При разгроме полицейского гарнизона в Гуте Студенецкой в числе прочих документов нами было захвачено распоряжение немецкого майора. В нем говорилось, что полицейские части должны перейти в подчинение командира мадьярского батальона Кемери, штаб которого прибудет в село Ивановку.

Проверили. Действительно — там только что расположились сотни две мадьяр, да и полицаев не меньше, будя по всему, все это на наши головы. Командование решило карателей не

дожидаться.

На рассвете три наши роты окружили Ивановку и застали противника врасплох. Мы так стремительно опрокинули посты и влетели на деревенскую улицу, что мадьяры не успели даже одеться.

Какой-то усатый офицер выскочил из хаты босой, в одних кальсонах и побежал по селу Слобода. Многие, в чем были, попрятались по сараям, чердакам и погребам. — Другие пытались скрыться под женской одеждой — напяливали на себя платки и шубейки колхозниц.

Несмотря на растерянность, охватившую карателей в первые минуты, они все же опомнились и кинулись обороняться. Бой получился серьезный: у противника немало станковых и ручных пулеметов, автоматы почти у каждого солдата. Мы начали нести потери.

Но произошла неожиданность: мадьярский пулеметчик, поставленный на оборону штаба, встретил бежавших к нему по тревоге на помощь солдат огнем. Сцену эту наблюдали только те наши бойцы, которые вели бой в непосредственной близости к штабной хате. Поэтому, когда все уже было кончено и победа осталась за нами, с мадьярским пулеметчиком, повернувшим оружие против фашистов, наши партизаны обошлись довольно сурово. Его сочли уцелевшим по недоразумению и как бы это сказать? Ну, словом, сунули ему сгоряча пару тумаков.

Пулеметчик сразу завоевал симпатии тем, что нисколько не обиделся на это. Он так и сказал, что считает подобный прием неизбежным делом. Свидетели происшествия у штабной хаты доложили командиру о поступке мадьяра; была дана команда «знакомство» отставить, и мадьяр покинул Ивановку в наших рядах.

Первый день после боя было не до него. Мы потеряли в этой операции одиннадцать человек и среди них всеми любимого и уважаемого командира первой роты — Сидора Романовича Громенко.

Многочасовой бой, похороны товарищей — все это заставило нас разойтись по землянкам без всякого интереса к судьбе мадьяра. У нас было кому им заняться в штабе.

По вот прошло несколько дней, и мы стали знакомиться с перебежчиком по-настоящему.

Это был очень общительный, даже восторженный человек лет сорока пяти. Он охотно поверял каждому партизану историю того, как решил перейти на нашу сторону, как трудно было заставить себя стрелять по своим, но, что делать, это необходимо, — он давно понял, на чьей стороне правда. При этом

мадьярский пулеметчик с такой страстью доказывал нашу правоту, а тем самым и свою, что невольно становилось смешно: получалось, что он агитирует нас за партизан!

Миша, как его вскоре стали все называть, знал немного русский язык. Нещадно коверкая слова, дополняя их жестами, он рассказывал, как его народ ненавидит Хорти, как мадьяр силой заставляют воевать за Гитлера и как плохо живется трудовому народу на его родине. Сам Миша был, уж не помню точно кто по профессии, кажется, булочник.

Выяснилась интересная подробность Мишиной жизни: оказалось, что он уже бывал в нашей стране. В прошлую войну Миша вместе с чехословаками перешел к русским; потом с чехословацкими частями принимал участие в гражданской войне, но перешел на сторону красных. Он служил в одной части со знаменитым чешским писателем Ярославом Гашеком, автором книги о похождениях бравого солдата Швейка. То и дело Миша говорил, что он сам — наполовину чех, славянин, наш брат по крови. Вообще он любил пышно выражаться, что было для наших ушей непривычно. Он много рассуждал о славянской доблести, верности, о том, что будет драться вместе с нами плечом к плечу, до последнего дыхания.

Среди партизан не было принято употреблять такие сильные выражения, щеголеватые фразы, и мы не умели их принимать всерьез.

Тем не менее слушали с большим интересом Мишины рассказы о жизни в европейских странах: он бывал в Чехословакии, Болгарии, Румынии, Франции. Он в свою очередь жадно расспрашивал бойцов о нашем довоенном житье.

За разговорами у костра настоящим партизаном не станешь. Слушать-то мы Мишу слушали, но признали только тогда, когда проверили в деле. Оказался молодцом. Стойко держался в бою. Только не очень соблюдал законы воинской дисциплины. Но это рядовые партизаны ему прощали. И еще всем пришлось по вкусу, что он прекрасно владел оружием иностранных марок, которого наши бойцы терпеть не могли.

В том же бою, в котором Миша перешел к нам, было захвачено четыре станковых и восемь ручных мадьярских пулеметов. Все радовались трофеям, но никто не проявлял желания получить их. Взять хотя бы меня: еще в Добрянском отряде после неудачных выходов с польским пулеметом я так привязался к своему «дегтярю», что ни на какое другое оружие и смотреть не хотел. Так же и остальные товарищи.

Тут-то Миша и оказался весьма полезным. Он охотно учил пулеметчиков работать с иностранными образцами оружия.

С успехом Миша занимался еще одним важным делом: писал листовки к своим соотечественникам. Он призывал их следовать его примеру, переходить на сторону партизан. Десятки его обращений распространяли наши связные.

Вскоре стал известен приказ Коха, обязывающий немцев вести строжайшее наблюдение за чехами и мадьярами: не ходить в строю впереди них во избежание удара в спину; запрещать отлучаться из части; заподозренных в неблагонадежности — расстреливать без суда.

Наш Миша гордился тем, что внес свою долю в создание духа неблагонадежности у бывших товарищей по оружию. Он был так увлечен своей новой работой, что для большей силы воздействия написал несколько вариантов в стихах. Командование не разделило его поэтических восторгов, и он возвратился к прозе. Правда, после этого Миша со стихами уже не расставался и, чтобы командиру и комиссару было все понятно, сам переводил свои стихи на русский язык. Только он начал сочинять их, так сказать, «для внутреннего употребления». Поклонников его таланта было мало; партизанам больше нравились вирши деда Степана Шуплика — ездового нашего штаба. У деда получалось понятнее, проще, ближе к сердцу. Миша же изъяснял свои чувства в высокопарном стиле, и я даже не запомнил ни одного его произведения, кроме последнего, которое записал и храню до сих пор. Но об этом после.

Итак, мадьяр Миша совершенно освоился с нами, а мы с ним. Он как равный друг и товарищ провоевал вместе с нами всю зиму.

Однако мне все время казалось, что Мишу больше всего увлекает отсутствие строгого регламента — беспорядочная сторона партизанской жизни. Он вырвался из-под палочной дисциплины своей армии и радовался всякой возможности отступления от дисциплины вообще. К тому же некоторая исключительность его положения тоже содействовала всяким поблажкам: им восторгались, но совсем не воспитывали его. А он до последнего дня так и не выходил из состояния восторженности.

И вот случилось.

Когда настала летняя пора, в хорошую, теплую ночь Миша отправился с хлопцами из хозяйственной части на заготовки продуктов.

Едва мадьяр увидел, с какой лаской и радостью население встречает партизан, с ним сделалось что-то невообразимое. Особенно его тронуло, что люди, против которых воевала армия его страны, поняли его и даже радуются вместе с ним тому, что он сумел уйти из-под фашистского влияния и подчинения.

Колхозники выносили свои запасы, доставали припрятанные на особый случай бутылки с самогоном и от души угощали партизан, а вместе с партизанами, конечно, и Мишу. Миша чуть не плакал, кланялся хозяевам в ноги и, проходя по селу, безотказно принимал угощения у каждой хаты. На его беду самогона в селе наварили немало. Везде ему подносили стаканчик, и везде он пил, плакал и смеялся от умиления и восторга.

Дело было, как я уже сказал, ночью. Обоз собрали; пора было уходить. Часть подвод ушла раньше. Когда сделали перекличку — Миши среди партизан не оказалось.

— Вот тебе и раз! — рассуждали наши хлопцы. — Неужели надумал опять на другую сторону перебегать? По своим соскучился?

— Нет! — возражали другие. — Что он мог соображать о какой-то перебежке? Он так выпил, что ни «папа», ни «мама» сказать не мог.

И тут же нашлись свидетели того, что один из ездовых, уехавших вперед, подсадил Мишу на свою подводу.

Тогда наши спокойно попрощались с селянами и отправились домой в лес.

Но в лагере Миши не оказалось.

Все партизаны были очень обеспокоены. Разведчики кинулись на поиски. И вот что они узнали.

Рано утром в село, где мы накануне проводили хозяйственную операцию, приехали гитлеровцы. Поставив машину во двор одной из хат, обратили внимание на гром» кий храп, слышный из сарая. Там спал Миша.

Свалился ли он с телеги, на которую его подсадили? Соскочил ли с нее по доброй воле, желая еще раз поблагодарить жителей села? Это осталось неизвестным.

Жаль было Мишу. Его полюбили за веселый и незлобивый нрав, за простоту, за храбрость в бою. И себя мы ругали. И опасались: как-то он себя поведет, оказавшись в лапах у гестаповцев? Миша долго пробыл с нами, многое знал, — а ведь не всякий, кто мужественен в бою, проявляет такое же мужество в застенке. Очень мы горевали, что Миша пришел к такому печальному концу. Впрочем, конца мы еще не знали.

Прошло время. Немало провели боев, немало погибло боевых друзей. О мадьяре вспоминали реже. Среди партизан появились люди и вовсе его не знавшие.

И вдруг то в одном, то в другом месте селяне заводят разговор о храбром мадьяре-партизане, о его героической гибели. В каждом селе рассказывали по-своему, но так или иначе — имя

Миши стало почти легендарным. Ему приписывали подвиги, которых он никогда не совершал. Но в описании его последних дней чувствовалась правда. Все рассказчики единодушно утверждали, что мадьяр погиб смертью героя.

Одни говорили, что он перед казнью плюнул коменданту тюрьмы в лицо, другие — что бросился на него с кулаками, третьи — что опрокинул стражу и пытался бежать.

Рассказывали, что немцы сочли его просто за дезертира и собирались отправить в штрафную роту.

Но он не захотел воспользоваться этой ошибкой. Заявил, что он партизан, и принял смерть, как герой.

Это была правда: позже к нам в отряд попал человек, сидевший в той же тюрьме, где замучили Мишу. Мы узнали подробности его казни.

Этим же человеком (его зовут Павел Черкасов) мне были переданы последние слова Миши. По просьбе мадьяра Черкасов записал их. Вот они:

«Нас Хорти отправил сюда воевать. Заставил за немцев стрелять. Но правду я понял, повернул пулемет и сам стал фашизм истреблять.

Партизаны! Вам мной клятва дана. Держу ее до последнего дня.

Не выпадет счастья на долю мою. Нет сил крылья раскрыть, и тут я умру.»

Они не вернулись

Еще ранней весной сорок второго года, когда только начало припекать солнце и не сошел снег, я пережил очень тяжелый, нелепый случай, отнявший у меня хорошего друга, лишивший весь отряд одного из лучших подрывников. Если бы это произошло в стычке с врагом, у нас оставалось бы по крайней мере то утешение, что погибший выполнил свой долг; что мы были рядом и, так же как и он, подвергались опасности; что, наконец, его жизнь не дешево стоила врагу. Но тут.

Лейтенант Березин получил задание заминировать просеку, ведущую к нашему лагерю. Он был минер армейской выучки, артист своего дела, учитель многих наших партизан. Я вызвался пойти вместе с ним. Не для того, чтобы помочь, а просто — подучиться, еще раз присмотреться к его работе.

Мы весело дошли до места. День был добрый, ясный, работа предстояла нетрудная. Всю дорогу мы вспоминали, как проводили в детстве такие погожие деньки. Березин очень любил ходить на лыжах и сказал, что после войны обязательно займется лыжным спортом.

Пришли на место. Выкопали в снегу ямку. Установили в ней ящик с толом — самодельную мину. Присыпали снегом. Потом Саша привязал белую шелковую нитку от парашютного стропа к взрывателю и веточке. Сделал так, что и опытный сапер ничего не приметит.

Мы отошли в сторону полюбоваться, и я еле нашел место, где лежит мина.

Двинулись в обратный путь. Березин то и дело оборачивался — проверял впечатление. Вдруг говорит:

— Ах, черт! Надо возвращаться. Забыл, понимаешь, одну штуку сделать. Ты погоди, а я пойду исправлю.

Я хотел пойти тоже, но Березин запретил.

— Не мешай. Еще наступишь куда не надо.

Он пошел. Подобрал полы своей шинели, работает. Потом говорит:

— Теперь — класс! — и стал подниматься. Пола шинели свалилась с его колен, упала на ниточку.

В ту же секунду меня сильно подбросило, перед глазами метнулся столб черного дыма с огнем, я потерял сознание.

Когда пришел в себя, Березина нигде не было. Дым заслонил буроватым облачком солнце. Вверху, на ветке, я увидел кусок мокрой шинели.

Бессмысленность случившегося ужаснула меня. В глазах было темно, в голове шумело, сердце стучало часто, грудь стеснило так, что я никак не мог набрать полного вздоха.

Я продолжал оглядываться по сторонам, все чего-то искал. Па дороге еще виднелись следы, только что оставленные нами обоими. Но я был один.

Зачем я отпустил его? Как мог сделаться безучастным свидетелей этого нелепого случая? Было такое чувство, что во всем виноват я. Как теперь возвращаться в лагерь? Как рассказать?

Тогда мне казалось, что если б Березин погиб в бою — мне было б легче смириться с его смертью. Но прошло немного времени, и случились две новые беды разом: мы потеряли храбрых разведчиков — Аркадия Савчука и Петра Романова. Они не вернулись из разведки.

Савчук упал мертвым после того, как уложил одиннадцать фашистов. Романов, отбиваясь от врагов, убил себя последней пулей.

Оба погибли, как герои. Они исполнили свой долг. Но остаться без наших славных друзей было так тяжело, что никакое число убитых ими гитлеровцев не казалось достаточной ценой за их жизни.

Мы часто говорили на эту тему с Иваном Деньгубом, пытались разобраться — какая смерть неизбежна, почетна, какая бессмысленна, нелепа. Память о Березине, Романове и Савчуке была нам одинаково дорога. Правильно ли это? Мы долго искали ответа на свой вопрос, но так и не решили ничего толком. Правда, однажды, кажется, были близки к истине, но Ивана послали па задание. Когда он уходил — попрощался и в раздумье сказал:

— Знаешь, вот я вернусь — поговорим с комиссаром. У нас, может быть, просто не хватает теоретической подготовки, чтобы самим разобраться.

С этого задания Ивана принесли тяжело раненого.

Его окружили врачи, медсестры с бинтами, по никто ничем не мог помочь.

Я рад был бы принять на себя часть его боли. Он словно понимал это. Он смотрел блестящими, расширившимися глазами на друзей, будто искал, за что бы уцепиться, продлить свою жизнь пусть на часок, хоть на минутку. Качал головой, тянул вперед руку. Но страдания обессилили его. Рука упала. Иван почуял неминуемую смерть. Просит: «Пристрелите меня, товарищи! Помогите, — не могу страдать больше. Пристрелите! Все равно не жить мне на свете. Без меня довоюете, дорогие товарищи.»

Но разве мог кто сделать это? Я стоял, глядя на любимого друга. Взял его руку в свою, будто мог передать ему живое тепло, которым мы с ним всегда делились. Сколько раз нас заливало дождем, засыпало снегом, а мы прижимались друг к другу так, что воды между нами не прольешь. Лежали, как родные, от одной матери братья, воевали дружно, как одного отца сыны. На двоих у нас была одна ложка и фляжка. Он — второй номер моего пулемета, и оба мы — разведчики. Поклялись не расставаться после победы — вместе так же дружно работать, как били врага.

И вот я вижу, как лицо Вани начинает бледнеть, в серых глазах его исчезает прежний блеск, они движутся медленно, лениво.

Он скончался, окруженный товарищами. Тело обернули той солдатской палаткой, под которой мы вместе спали. Похоронили под величавым дубом. Насыпали невысокий холм.

Когда я бросил последнюю горсть — не знал, куда мне от могилы повернуться, куда пойти, что сделать. Мне казалось, что держу его руку, и делалось холодно, будто он унес частицу моего тепла. Я был сам не свой. Все потери последнего времени стояли перед моими глазами. Сердце болело за погибших, разум отказывался справиться с этой болью. В таком состоянии я не сумел придумать ничего лучше, как обратиться к спирту.

Мне удалось раздобыть довольно изрядную порцию. Я позвал Ваню Кудинова, еще двух товарищей и устроил поминки. Крепче всех приложился сам, — думал отогнать одолевшую меня тоску. Но ничего не помогало, и все мои путаные мысли и обиды оставались со мной.

Надо было случиться, чтобы во время этих горестных поминок меня вызвали в штаб. Состояние у меня было, конечно, не строевое, и я понимал это. Однако пошел. Предстал перед глазами командира.

До сих пор не знаю, думал ли товарищ Федоров послать меня на задание или ему кто-нибудь доложил, что мол Артозеев устроил во взводе пьянку.

Встал я перед товарищем Федоровым и ожидаю изъявления его командирской строгости, как в данном случае подобает.

— Что празднуют разведчики? — спросил у меня Федоров.

— Нету, — ответил я. — Праздника нету. Такие наши товарищи погибли, что и живой себе места не найдешь. У нас — поминки, товарищ командир. И тут из глаз моих полились слезы.

Алексей Федорович, как отец родной, усадил меня за стол. Приказал принести обед и чарку. Тут же были товарищи Новиков, Дружинин и другие его помощники.

Меня растрогало, что Федоров разгадал мое состояние.

Командир постучал своим стаканом по краю моего и сказал:

— Давай выпьем за погибших героев-партизан и нашу победу! Я пьяниц не люблю, да среди нас пьяниц и нету. Иногда и беремся за чарку, а дело делаем!

Я чувствовал себя стесненно в такой семейной обстановке за одним столом с командиром, которому партия доверила руководство партизанами во вражеском тылу. Но Алексей Федорович разделил мою скорбь как друг, выслушал мой рассказ о страданиях из-за гибели Вани, Аркадия и Пети.

А про гибель Саши Березина сказал так:

— Нет на войне бессмысленной смерти, кроме той, какая настигает трусливого беглеца. Такая гибель не только бессмысленна, но позорна. Лейтенант Березин отдал свою жизнь, исполняя долг. Он стремился как можно лучше справиться с боевым заданием и погиб за нашу общую победу. Надо учиться работать, как он только будьте осторожны до той последней капли, которой ему не хватило.

Товарищ Федоров призвал меня быть во имя павших товарищей еще беспощадней к фашистам. У меня ненависти было достаточно, но слова командира разволновали меня, подняли во мне новые силы и решимость.

Я ушел из штаба совершенно протрезвевший, словно с умытой душой.

Мед бывает разный

Уже несколько дней мы стояли на новом месте и питались только грибами. Поэтому, когда я получил приказ идти с группой на разведку в ближайшее село, товарищи нам завидовали: будут у нас неприятные столкновения или нет — неизвестно, но уж если попадем в какую-нибудь хату — покормят наверняка.

Село неподалеку от леса. Скоро мы подошли к нему. Жители спали. Только в одной хате блестел огонь. Поглядели в окошко: молодая женщина качает ребенка. Больше никого. Решили постучать.

Женщина накинула на маленького платок, вышла с ним на улицу. Увидев нас, заплакала. Ее муж недавно был расстрелян за связь с партизанами.

Мы узнали, что на селе гитлеровцев нет, а начальствуют староста да четверо полицаев. Такие силы нам не страшны. Поблагодарив хозяйку, мы свободно пошли по улице. Вызывали хозяев других дворов, проверяли и получали нужные сведения.

Население встречало нас радостно, по улице пошел шум: «Партизаны пришли». Услышав это, полицаи со старостой убежали в лес. Мы же спокойно расположились в доме, где нам накрыли на стол. Люди расспрашивали нас и рассказывали сами.

Когда беседа шла к концу и мы начали собираться, молодая девушка комсомолка Вера сказала:

— Во дворе уполномоченного по заготовкам продуктов для немцев накоплено пудов шестьдесят меда. Заберите его, товарищи партизаны, или уничтожьте! А то не сегодня-завтра отправят в район и достанется этим гадам.

Остальные подтвердили это и поддержали просьбу комсомолки. Вера указала на дом.

Услышав, что пришли партизаны, хозяин удрал куда-то на огороды через окно, да мы и не особенно им интересовались. Нас встретила хозяйка. В избе было темно. Женщина суетилась, бегала из угла в угол, будто искала спички. Она так и не нашла огня и, видимо, рассчитывала, что мы с тем и уйдем. Но Саленко посветил ей сам, чтобы она увидела, что в хату к ней пришли не детки в прятки играть, а семь хорошо вооруженных партизан.

Едва блеснул огонек, взбудоражилась туча спавших где-то мух. Они летали, с жужжанием ударяясь о наши головы: жж-ж-жж-бу-бу!

Где у вас заготовленный для немцев мед? — прямо спросил я, отгоняя от лица сытых, жирных мух.

В ответ хозяйка ударилась в слезы, перекрестилась на угол, где висели иконы, и быстро-быстро заговорила:

— Прости и помилуй нас господи!.. Снова сволочной народ посылает нам погибель! Поверьте, господа, или вы кто, товарищи? — нам жизни не дают, ну и народ! У нас в селе готовы человека в ложке воды утопить! Никогда меда у нас не было и нет. Это все деревенские сплетни. Люди завидуют, что муж мой дома, поэтому с нами и враждуют. Ах, сколько я уже через него, идиота, перетерпела горя! — трещала она, продолжая всхлипывать. — Пусть только завтра утром приведет коня, я ему скажу — иди от меня куда хочешь, чем мне через тебя мучиться!

Она утирала подолом нос и глаза и пересыпала свои слова бранью по адресу односельчан, твердила, что меду нету.

Партизан Юрченко, скромный, еще не искушенный молодой товарищ, не отличал настоящие слезы от поддельных. Он сказал мне на ухо:

— Товарищ командир, тут ничего, видимо, нет! Видите, как она горько плачет?

А боевая хозяйка, несмотря на то, что нас в хате было полно, не терялась — всех хотела обмануть. Слова сыпала как автомат.

На мое последнее требование она ответила ловко: подошла к кухонной полке, отдернув занавеску, достала кувшин меду. В нем было килограмма два. Поставила на стол и сказала:

— Если вам уж так хочется медку, то я вот вчера на базаре выменяла на платок. Для больного ребенка. Скушайте последнее — и идите себе с богом!

Никто к кувшину, стоявшему на столе, не подошел. Даже любитель сладкого Саленко, который мог миску моду съесть, воздержался.

Юрченко первый вышел в сени: считал, что вопрос ясен. Саленко вышел вторым и посветил, чтобы открыть дверь. В сенях стоял большой незамкнутый сундук.

— А что здесь хозяйка? — спросил Саленко.

— Старое тряпье.

По сундуку ползали пчелы. Саленко приподнял крышку: полно неоткачанных рамок! Здесь же, в темных сенях, обнаружили четыре бочонка с медом. Неподалеку стояла медогонка и куча пустых рамок.

— А это что, немецкие служаки? — громче всех закричал Юрченко. Он, кажется, готов был теперь разорвать хозяйку в клочья.

— Открывай амбар! — приказал я хозяйке.

— Хозяин с собой ключи унес. — вяло ответила она. Но мы догадались поискать ключи на обычном месте: при входе в хату с левой стороны двери. Они были там.

В амбаре оказалось столько бочонков, что не пройдешь. Все полны, закрыты, приготовлены к отправке. Ребята выкатывали их на улицу, двое побежали спросить по соседям подводы.

Хозяйка вертелась в амбаре, старалась закрыть собой бочонки:

— Тут уж больше нет!

А мы еще обнаруживаем. Потом она расщедрилась и произнесла:

— Раз уж так — берите весь мед. Вон еще три последних бочонка стоят возле закрома! Да езжайте поскорей со двора, неровен час, немцы приедут, так всем плохо будет!

Говоря это, она пятилась, загораживая собой угол амбара.

— А что позади тебя?

— Ей-богу, ничего нет. Вещи и посуда.

Она стояла упрямо, и Юрченко хотел оттолкнуть ее в сторону.

Сопротивляясь, эта женщина упала на то, что загораживала. Она села в широкий, низкий деревянный чан, полный свежего, еще не засахарившегося меда. На наших глазах она утонула в нем

по шею.

Партизаны разрубили топором обручи чана. Мед расплылся, хозяйка кое-как поднялась. На сарафане ее нависло немало душистой клейкой массы.

Когда весь мед был погружен, я сказал на прощанье:

Вот видишь — мед бывает разный: вашего мы бы не взяли. А ты старалась нас обмануть кринкой для ребенка! Теперь гляди — на одном сарафане больше пуда повисло, и нам кое-что досталось. Медок поделили хорошо, и все довольны. Скажи лучше своему мужу, чтобы бросал работу на немцев, а брал в руки оружие и бил их! Тогда народ на селе против вас не пойдет. И ни в ложке воды, ни в бочке с медом не утонешь!

Переданный нам народом мед мы доставили в лагерь благополучно.

Листочек

Это было еще ранней весенней порой, когда только начали распускаться молодые листочки: у медицинской сестры Маруси Товстенко и нашего лучшего подрывника Григория Балицкого родился сын. Партизаны прозвали маленького «Листочек».

Каждому ясно, что для партизанской жизни новорожденный младенец — существо очень неподходящее. Но ему самому не было до этого никакого дела. На свежем лесном воздухе мальчик рос, поправлялся и радовал не только своих родителей, но всех, кому доводилось взглянуть на него. Да и как было не порадоваться на будущего советского человека, появившегося на свет в тяжелый для Родины час? Нам думалось, что вырастет этот мальчик для светлого будущего и станет потом гордиться местом своею рождения.

— Так и будет писать в анкетах! — смеялись партизаны, — год рождения — 1942, место — лагерь партизанского соединения на Черниговщине!

Согласно законам об охране материнства и младенчества медицинскую сестру Марусю старались перевести на облегченный труд. Но полностью создать ей нужные условия при всем желании никто не мог. Это было не в нашей власти и даже не во власти наших командиров.

Жизнь в ту пору была такова, что и некоторым взрослым не под силу, а Листочку и горя мало. Выстрелов он не боялся. Гром или артиллерийская канонада его тоже не смущали. На руках у матери ему нипочем все переходы: этот отважный

путешественник уже переменил больше мест жительства, чем было ему отроду месяцев.

Листочек был веселым, приветливым мальчиком. Страшные, обросшие бородами люди подходили к нему — он никого не дичился. Схватит за бороду и смеется.

Помню, как-то после большого перехода мы остановились на дневку в кудрявом, смешанном лесу. Утро было чудесное. По небу плыли легкие белые облака. Солнце проникало сквозь густые ветви деревьев и играло на зеленой траве тысячами бликов. И на этой же травке играл веселый и светлый, как солнечный зайчик, партизанский сынок.

Маруся стелила ему отцову шинель, и малыш ползал по ней на воле. Полежит на животике, потом обопрется вытянутыми ручками, подымет головку и словно радуется: «Вон мол как я уже умею!» Видно, и сам доволен, и люди вокруг любуются его беспечной мордашкой. Глаза у него были большие и ясные — светлосерого цвета да с такой младенческой хитрецой — будто все понимает, но говорить пока воздерживается.

Правду говоря, такого малышку не у каждой матери встретишь. В свободные солнечные минутки нашей жизни около Листочка собирался народ. Партизаны приносили гостинцы, самодельные игрушки.

Но бывали и другие дни. Особенно мне помнятся два очень тяжелых перехода через болото. В первый раз мы уходили из Рейментаровского района. У нас остался единственный путь, который не привлек бы внимания карателей, окружавших отряд. Путь лежал по глубокой и вязкой топи, которую даже партизаны считали непроходимой: «там и заяц не пробежит, и лиса не пройдет!..»

Но Федоров грозно сдвинул брови и сказал только три коротких слова:

— Другого выхода нет!

И вот изучено болото, замечены все кочки, возвышенности и низины; заготовлены пуки хвороста. В штабе намечен маршрут.

Обоз брошен. Оставлен только необходимый груз вооружения, боеприпасов, продуктов. Ими навьючены лошади и люди. Для раненых сделаны носилки. Так тронулись в опасный путь.

Маруся на лошадь сесть не согласилась, понесла мальчика на руках. А проваливаться иногда приходилось выше пояса. Руки надо было иметь свободные — товарищи вытягивали друг друга, помогали веревками. Маруся же обвязала вокруг шеи концы шали, в которую был завернут Листочек. За спиной у нее был вещевой мешок. Через плечо — винтовка.

В полной тишине, в темноте люди оступались, проваливались в топкую трясину, вылезали. Трудно пришлось раненым. Несмотря на всю осторожность, носилки не раз приходилось опускать в грязь.

Перед рассветом выбрались из опасной трясины.

Редеющий туман лежал в долине. Болотные птицы кричали резкими, хриплыми, наводящими тоску голосами. Начали перекликаться перепелки. Плавно подул прохладный утренний ветер, и поплыл туман.

Партизанам и без ветра было не жарко. Люди сидели на возвышенном месте, многие по шею мокрые, и еле шевелили руками, очищая с себя грязь. В этот час я оказался недалеко от Маруси. Она кормила сына. Малыш промок, шаль была сырая, и он знобко дрожал, прижимаясь к теплой материнской груди.

Маруся, насупив брови, смотрела вдаль. То ли она вспомнила о прошлом, то ли испугалась будущего, но из глаз ее катились слезы. Мужа рядом не было — Балицкий ушел с головной колонной на расчистку дороги.

Прошло не более пятнадцати минут с тех пор, как люди присели отдохнуть, но наши командиры — Федоров и Попудренко уже поднимали народ в дальнейший путь. Оба мокрые выше пояса, они обходили бойцов, подбадривали: задерживаться было невозможно.

Попудренко заметил Марусины слезы. Он остановился и, положив молодой матери руку на плечо, сказал:

— Не горюй, дорогая! Все лучшее — впереди, и скоро наши дела пойдут веселее. Тужить не надо!

— Нет, нет, Николай Никитич! — ответила ему быстро Маруся. — Я ни о чем не тужу. Это просто так. От усталости. Да, вот сын, боюсь, как бы не простудился.

— Эх, какой славный лесной богатырь! — еще веселее сказал Попудренко. — Ишь, красавец мужчина! — Николай Никитич пригнулся и коснулся губами личика ребенка: — Чего ж ты зря пугаешься? — спросил он. — Никакого жара у него нет, я ведь эти дела очень знаю. У меня у самого двое!

Отзывчивый на ласку и приученный к ней, Листочек оставил на минутку свой завтрак, вытаращил на Попудренко глазенки и по обыкновению улыбнулся. За ним улыбнулась и Маруся, а Николай Никитич громко расхохотался:

— Какой он у тебя молодец! Настоящий партизан, смотри-ка! Ему и паек маловат, и холодно, а все же не дрейфит.

Люди, сидевшие неподалеку, рассмеялись, подошли к группе, в которой увидели заместителя командира. Все усталые, темные лица, словно лучом солнца, осветились улыбкой. Листочек опять

принялся сосать, жадно вцепившись обеими ручонками в материнскую грудь. Смотреть со стороны на эту картину было и радостно и тяжело.

Между тем время привала кончилось. Раздалась команда на марш. Колонна двинулась.

Мы избавились от смертельной опасности, но и дальнейший путь был нелегок. По бездорожью, минуя населенные пункты, отряд шел к избранному месту. При первых лучах солнца мы прятались в лесах. Выходили с наступлением сумерек. Запасы продовольствия у нас давно оскудели. Нельзя было разжигать костры. Остатки крупы и муки приходилось есть просто размоченными в воде из луж.

Партизаны потуже затягивали ремни: конечно, желудку не прикажешь, и все-таки терпели. Терпела и Маруся. Один только Листочек ничего не желал знать. Молока у матери становилось все меньше. Малыш простудился. Хриплым голосом он плакал, требовал еды. Многие уступали Марусе часть от своей скудной доли поистине сухого пайка, — но это была слишком слабая поддержка.

Одно было счастье — солнце. Во время дневок Листочек хорошо прогревался под теплыми лучами, вскоре простуда у него прошла. Правда, аппетит от этого не сделался меньше. Партизаны, как могли, ободряли плачущую Марусю.

— Смотри, какой он у тебя закаленный! Заболел и опять в строю! Только аппетит у него для партизанской жизни не подходящий. — говорил Марусе какой-нибудь детина — косая сажень в плечах. — А ты, брат, погоди: проведут хлопцы хозяйственную операцию — все появится. Будет у нас картошечка и сальце в супе плавать. Но не зря говорят: соловья баснями не кормят. Если удалось заговорить зубы Марусе, то на мальчика никакое партизанское красноречие не действовало. Голодный ребенок плакал.

Наконец, наша разведка случайно поймала ночью на дороге в Чуровичи троих полицаев, ехавших из села после поборов с населения. Они были доставлены в лагерь. На возу мы обнаружили: живую овцу, горшок масла, ящик яиц, десять буханок хлеба, сало, мед.

Для всех партизан было мало, но на справедливый дележ у нас народ не обижался. Неожиданные трофеи поступили в пользу раненых и, конечно, — нашей молодой матери. Только овцу и сало поделили по равным порциям — всем подразделениям на суп.

Легкий запах мяса да редкие блестки жира вызвали у нас праздничное настроение. Листочек тоже повеселел. У сытой

матери сразу появилось молоко, и множество «опекунов» сходилось посмотреть, как ребенок бьет ножками в воздухе, агукает и издает разные воинственные звуки.

Время шло, и вот мы добрались до цели: массива Новозыбковских лесов.

Освобожденные из-под вьюков кони весело зафыркали на зеленых полянках. Все кругом пестрело цветами. Появились уже и ягоды. Люди бросились собирать землянику, не спетую еще чернику. Охотники подстрелили несколько грачей. А тем временем два взвода хозчасти отправились на заготовку чего-нибудь более существенного.

И вот настала хорошая жизнь. Хозяйственные операции осуществлены блестяще. По партизанскому закону, не затронув интересов жителей, наши ребята привезли продукты, заготовленные фашистскими прислужниками для оккупантов. На мягкой траве-мураве для всех обильный обед.

Все довольны. Сыты и больные и здоровые. Листочек, как сказочный богатырь, растет «не по дням, а по часам». Народу дан небольшой отдых, и любители собираются возле нашего питомца. Загорелый, здоровый ребенок переходит с рук на руки, да так прыгает, что того гляди уронишь.

А когда малышу пора спать — наши девушки такую колыбельную споют, что и взрослого укачают.

Бывало уж давно спит Листочек, а певуньи не умолкают. Тянут то «Калинушку», то «Рябинушку». Потом все тихое перепоют да как грянут веселую советскую песню! Летят в темное небо искры от костра да задушевное пение партизан. Все бодры, полны веры в светлое, мирное будущее. Часы такой жизни бывали у партизан редко, но зато и ценили мы их бескрайне. Ожидание их поддерживало нас в худшие времена. А худшие времена почти всегда были не за горами. Так и на этот раз.

Нас потеснили. Лагерь пришлось раскинуть в низине. Нет никакого спасенья от комаров и мошек. Они словно ждали нашего появления и набросились, будто хотели сожрать людей живыми. Что ж делать! От карателей и не по таким местам прятались. Но Листочка жалко. Он весь увернут, как кокон, даже личико закрыто бинтом. Он ежится и плачет, будто просит защиты.

Конечно, это еще бедой не назовешь.

В общем, дела на новом месте шли не плохо. По новозыбковской железнодорожной линии двигалось на фронт множество эшелонов. Наши подрывники хорошо поработали, отправляя составы под откос. Мы с каждым днем все больше интересовали фашистов, а это и есть верное доказательство

нашей активной работы. Кто тихо отсиживается в лесу на своих базах, тот не привлекает внимания карателей. С нашим соединением никогда так не бывало. Стоило нам появиться, как оккупанты начинали стягивать свои силы и вынуждали партизан кочевать по лесу. Когда же маневренные возможности истощались, наша армия уходила в другой район.

Вот и отсюда надо уходить. Разведка каждый час сообщала о прибытии новых вражеских частей. Все чаще бои на партизанских заставах. У нас много раненых. А в походе на каждые носилки нужно четыре здоровых бойца.

Чтобы оторваться от противника, надо за ночь сделать рывок километров на пятьдесят. В нашем положении это очень трудно, почти невозможно. Но видим — что-то готовится. Начальник штаба Рванов то гоняет разведчиков, то лежит с карандашом на карте, то носится по лесу на своем гнедом жеребце. Совещается с командирами отрядов Федоров.

Наконец — приказ: готовить аэродром. В Москву одна за другой полетели радиограммы с просьбой о самолете — пусть заберет раненых. Вместе с ранеными должен был лететь в Москву со своей мамой и партизанский питомец Листочек.

В ожидании самолета время проходило беспокойно.

Артиллерия обстреливала лес. Как в бурелом, валились сбитые снарядами верхушки деревьев и ветки. Несколько раз прилетали фашистские корректировщики. На заставах почти непрестанно происходили стычки с разведкой противника.

И опять стало очень голодно, хуже, чем раньше. Лучшей пищей теперь считался стакан горячей крови убитой лошади. Костров разводить было нельзя, да многим и не по зубам было жилистое мясо рабочего коня.

Пошли в ход прошлогодние жолуди, липовый лист — жевали все, что под руку попадет.

А самолета из Москвы все нет. Ждали мы его с нетерпением — не пустой прилетит — привезет и боеприпасы и кое-что из питания. А там — ив новый путь!

Но самолета все нет и нет.

Люди хорошо понимали — всякое может случиться — это не мирный рейс.

Ждать больше нельзя. Дело дошло до того, что пришлось оборонять аэродром: нас пытались там окружить. Стало ясно: выходить из положения надо собственными силами.

Приказ дан. Выходить будем опять через болото. Вражеские патрули тихо сняты. И вот — снова, утопая в грязи, партизаны месят трясину, режутся об острую, как серп, болотную траву, проваливаются в хлюпающую воду. Мы тащили свое оружие,

боясь охнуть. Ни одного слова не раздавалось над колонной. В полной тишине можно было услышать только сдержанный скрип зубов раненых да редкие, но довольно громкие всхлипывания плачущего Листочка. Видно, мать зажимала ему рот.

Все же на этот раз прорыв был обнаружен. Заставы вступили в бой, и все кругом зашумело над болотом. Засвистели, забулькали в воде пули. Где-то в стороне чвакнул сильный взрыв. В небе раздалось жужжание моторов. Но зато мы услышали и голос нашего командира, призывающего партизан вперед.

На линии переправы были заметны знакомые фигуры Федорова, Попудренко, Рванова и командиров рот, отрядов. Они подтягивали бойцов, помогали им.

Трудный был прорыв — еще хуже первого. В болото падали бомбы, обдавая людей столбами жидкой грязи. Утопали с грузом испуганные лошади. Появились новые раненые. Некогда было сколачивать носилки — раненых клали по двое.

Пришлось собрать те силы, которые таятся в человеке уже за пределами последних. Партизаны выбирались из цепкой трясины. С той же бережностью, с какой мать несла ребенка, бойцы выносили из болота своих товарищей и оружие.

И все же за один переход мы оторвались от противника на пятьдесят километров, углубились в новую чащу леса.

Усталость оказалась сильнее голода. Лишь послышалась команда на привал, люди, как бревна, валились на землю и засыпали. Кажется, едва смежили веки, а вот уже сигнал к подъему. Просыпаешься и прежде всего слышишь уже охрипший от крика голос ребенка. Это Листочек. Маруся растерянно прижимает его к пустой груди. Не было сил смотреть на эту картину.

Но вот в пути Балицкому удалось заскочить с группой своих бойцов в село. Кое-как отбившись от полицаев, он принес жене творогу и хлеба.

Она поела. А сын кричал, требовал. Но пока-то еще у матери появится молоко. Маруся не выдержала. Она не могла больше видеть страдания сына. Не могла заставить его ждать. И рискнула: растерла творог, разбавила несколько ложечек водой и дала ребенку.

Он успокоился, умолк. Через несколько минут заснул. Кругом все облегченно вздохнули: какая удача, что Балицкий достал творогу!

На щеках матери высохли слезы. Снова подходили партизаны полюбоваться спящим ребенком и ласково пророчить ему, что вырастет богатырем. Повеселел и наш славный подрывник Балицкий.

Я ушел со своей группой в разведку.

Утром, когда мы возвращались, поблизости от лагеря услышали выстрелы. Это были не звуки боя, а три раза повторенные залпы из нескольких пистолетов. Прощальный салют.

Мы молча переглянулись. Каждый подумал, что кто ни будь из раненых навсегда окончил свой путь. Но мы ошиблись. В лагере мы застали маленький холмик, который целиком закрывал букет цветов. Умер наш Листочек.

Было грустно.

Мы простились с ним по-воински. Не дожил Листочек до светлого будущего, за которое мы воевали, но мы знали, что его увидят миллионы детей.

Очень страдала Маруся, но держалась хорошо, даже лучше мужа. Григорий Балицкий очень убивался. Кто-то видел его плачущим.

И так им обоим было тяжело, а тут еще вышел приказ: медицинской сестре Марии Товстенко идти с группой раненых — устроить их по селам у своих людей и обеспечить уход за товарищами, а мужу ее — отправляться за десятки километров от лагеря к железной дороге на обычную его работу — подрывать эшелоны.

Маруся очень волновалась, считала приказ несправедливостью. Не хотела разлучаться с мужем, ходила к Федорову, просила. Но Григорий первый вспомнил о долге бойца и повлиял на жену.

Так через несколько дней после смерти ребенка они расстались, — чтобы нести свою партизанскую службу.

Верный друг «Дегтярев»

Теперь это оружие, может, отстало от более совершенных образцов, да не в том дело. Ведь если кавалерист будет говорить о своей привязанности к боевому коню, не обязательно спрашивать: а какой породы?

Так же неважно, по-моему, о каком именно оружии идет речь. Мне вот пришелся по вкусу ручной пулемет Дегтярева. Дела у нас как-то сразу пошли дружно. Он не подводил меня, а я его. Может быть, я особенно оценил своего скромного друга после того, как мы сильно не сошлись характерами с одним пулеметом польского происхождения. Но капризничал он у меня в те дни, когда я сам еще не умел достаточно владеть собой.

Когда мне вручили польский пулемет, я добросовестно и щедро смазал его. Стрелять в порядке учебной практики тогда не полагалось: экономили патроны.

Зная, что оружие в чистоте и порядке, я спокойно отправился с ним на боевое задание. Разведка донесла, что близ моста, который мы собирались взорвать, ходят два часовых. Мне приказали снять охрану.

Подползли мы к железнодорожному полотну. Ничего подозрительного не заметили, хотя будка и окружающий ее кустарник обрисовывались довольно четко.

Тороплюсь. Товарищи ждут, когда я им открою путь на мост. Им его надо взорвать. Они уже подготовили тол.

Расположился на самой насыпи. От поисков мишени скоро начало резать в глазах. Я уже стал думать, что никакого часового нет либо он уснул. Однако через некоторое время в кустах послышалось движение. Возле будки треснула сухая ветка. Потом зашумела раздвинутая кем-то листва. И снова тихо.

Что это за странные часовые? Где они? Может, уснули? То у меня в глазах ходили разноцветные круги, то начинали чудиться человеческие фигуры; но ни одна не появлялась настолько отчетливо, чтобы стрелять. Казалось, что ночь уж проходит. Но вот действительно забрезжил рассвет, и тогда-то я, наконец, увидел в кустах двух человек с винтовками.

Я прицелился и нажал гашетку пулемета. А выстрела нет. Прошуршал только поданный затвором патрон. И так шесть раз. Все осечки. Я растерялся. Никак не мог сообразить, что происходит с оружием. Лежу на насыпи, весь дрожу от напряжения — а вместо выстрелов получаются только шорохи!..

Так и сорвалась операция.

Весь обратный путь товарищи меня кляли на чем свет стоит. Но и сами не могли понять, по какой причине отказал пулемет. В лагере этого тоже никто не понял. У нас тогда плохо разбирались в иностранном оружии. Судя по всему, мой пулемет был в порядке. Почему бы ему не стрелять?

Стали пробовать другие экземпляры того же образца. Пулеметы отвечали на проверку будто по настроению: один работает, другой при тех же условиях отказывает. Только много позже стало известно, что это оружие довольно требовательное: любит особенно тонкую смазку и полную чистоту пазов. Чему же было удивляться, если я пытался стрелять из густо смазанного пулемета!

Когда мне заменили капризный польский пулемет более понятным и знакомым «дегтярем», я вздохнул вольней. Это, конечно, не значит, что я решил вольней с ним обращаться.

Честно говоря, урок, данный не польским пулеметом, был полезен, и я усвоил раз навсегда, какая неприятная штука — осечка. Припомнился мне в связи с этим еще один урок, полученный когда-то давно в армии.

— Кто мне скажет, — спросил наш командир, указывая на винтовку, — что в ней лишнего?..

Мы начали гадать. Один даже отыскал какой-то, по его мнению, ненужный винтик. Ломали головы долго, а никто не нашел верного ответа.

— Лишнее в каждом оружии — грязь! — сказал командир и добавил: — И имейте в виду, что техника неправды не любит. Никогда не пытайтесь обмануть механизм. Это благополучно с рук не сходит.

Получив «дегтярева», я стал уделять оружию внимания иной раз больше, чем себе. Порой сам оборванным ходил, а для пулемета сшил чистый чехол, всегда чинил его, и лежал мой «дегтярь» в нем, как ухоженное матерью дитя в чистой люльке.

Зимой «дегтярь» всегда был обеспечен неприкосновенным запасом спирта. Я раздобыл трофейный мадьярский пульверизатор, граммов на сто пятьдесят. Эта порция постоянно была при мне — в кармане. Но чего мне стоило уберечь этот запас! Не говоря о том, что самому нужно иногда подкрепиться, — друзья проходу не давали. Один болен. Другой замерз. Третьего зубы одолели. Четвертый просто обиделся, а пятый без самолюбия: умоляет хотя бы в ложку капнуть.

Долго народ беспокоился и вздыхал по дегтяревскому пульверизатору. Но в конце концов люди привыкли к тому, что меня в этом деле никакой провокацией, ни слезой не проймешь.

— Пусть оружие просто механизм, — говорил не раз я своим друзьям в ответ на просьбу о спирте. — Но у него есть свой характер, свои требования к хозяину. Не будет военного счастья человеку, который их не уважает.

И мой «дегтярь» мне хорошо и верно служит не зря: я его характер знаю. Густо смазанным на мороз не вынесу, во-время спиртом угощу, — зато и он не раз мне жизнь спасал.

Был у меня случай, когда я голыми руками отнял у врага пулемет только потому, что тот не смог пустить его в ход.

Произошло это так: мы влетели на санях в село, а полицаи зашевелились. Открыли стрельбу.

Едва я покончил с автоматчиком, стрелявшим из-за угла хаты, смотрю — глядит на меня с противоположного забора знакомая деталь: пламягаситель «дегтяря». Клацает, а выстрелов нет. Осечка за осечкой. Тихонько подкрался я к забору да как рванул пулемет за ствол и перетянул к себе. Конечно, полицай-

пулеметчик плохо чистил свое оружие. Пришлось мне за него почистить. После моей настройки пулемет этот отлично играл в партизанских руках.

За полтора года неразлучной жизни «дегтярь» стал неотъемлемой частью меня самого. Не раз надо мной товарищи смеялись: спать ложусь — и его с собой кладу. Когда его рядом нет — все мне вроде чего-то не хватает. В боевой жизни полезная привычка. Она у меня возникла вовсе не от излишней чувствительности, а на основе военного опыта. Был, например, такой случай.

Еще в первую военную осень мы готовились маленьким отрядом отразить нападение карателей. Бой собирались дать серьезный, а оружием были не богаты. Один станковый пулемет так часто перетаскивали в поисках наивыгоднейшей позиции с места на место, что его даже прозвали путешественником.

План командования был таков: мы переносим все ценное имущество из лагеря в дубовую рощу за ручей. На старом месте остается кухня, пекарня да несколько портянок, «беспечно» развешанных по кустам, будто бы демаскирующих нас. На подступах к этому брошенному лагерю, близ кухни, ставится заслон: пулеметный расчет и небольшая группа автоматчиков. Они встретят врага, создадут видимость отчаянной обороны и, нанося противнику возможно больший урон, отойдут. Когда же каратели ворвутся в лагерь — отряд налетит на них из дубовой рощи.

Все, казалось бы, ясно и придумано неплохо, но, как это часто бывает в жизни, а особенно на войне, вышло иначе.

Разведка донесла, что гитлеровцы прибыли в село, из которого подход к лагерю вел не к поляне близ кухни, где их ждал «путешественник», а к старой просеке. Пулемет опять переехал в новое гнездо — конечно, на оборону просеки. Наступление ждали на рассвете.

Наступило утро. Сменили дозорных на всех постах. Везде тихо. Противник не замечен ни в каком направлении. Вот уже и десять часов. Одиннадцать; наконец и полдень. Очевидно, нападения сегодня не будет? — Во всяком случае — покормить людей надо. — решает командир.

Я дежурил по лагерю, и командир направил меня в старый лагерь узнать, как дела в хозяйственном взводе. И тут все пошло уже не по плану.

Едва я появился на кухне, со стороны поляны был открыт сильный оружейно-пулеметный огонь. Я тут, где стоял, и лег, ударил по кустарникам, где замаскировался враг. Наши хозяйственники поддержали меня огнем автоматов. Позиции

гитлеровцев мы отлично угадывали, так как знали эти кустарники как свои пять пальцев: мы вначале полагали, что нападение произойдет именно отсюда. Правда, с нами не было станкового «путешественника», но зато был мой «дегтярев»! Благодаря ему, несмотря на перемену обстоятельств, план командования оказался выполненным. После «отчаянного» сопротивления мы, производя как можно больше шума, отступили, а в дубовой роще уже был готов к атаке весь отряд.

Не было тогда человека, который не похвалил бы меня за привычку не расставаться с пулеметом: ведь на кухню можно было и без него сходить!.. Мало ли в каких еще случаях пулеметчики оставляли это нелегкое оружие: оно, хотя и называется ручным, а много тяжелее других видов личного вооружения. И, по правде говоря, чтобы таскать его, терпения и сил требовалось немало. Иной раз вся кожа на плечах горела. А однажды мне особенно досталось от «дегтяря».

Мы пошли на разведку и нарвались на полицейскую засаду. Уничтожить ее было нельзя — рядом в селе стоял большой гарнизон гитлеровцев, а шум был не в наших интересах. Отступать пришлось по болоту. Товарищи налегке перепрыгивали с кочки на кочку, а меня тяжелый груз тянул книзу. Несколько раз проваливался по пояс, отстал, выбился из сил, а «дегтярь» меня по спине и плечам колошматит! Кожу истер в кровь, синяков набил не меньше десятка. А на другой же день — снова надо на операцию. И пошел, что поделаешь!

Никогда бы я не променял своего «дегтяря» на более легкое оружие: ведь нам с ним всегда обеспечено почетное место в бою — мы словно первый голос в хоре. Автоматчики нам только подпевают.

Каково же мне было узнать о приказе командования: разведчику-пулеметчику Артозееву сдать свое оружие в боепитание и получить взамен автомат! Я был просто убит.

Между тем приказ этот был следствием моего давнего желания: перейти во взвод подрывников. В связи с большим ростом отряда командир производил формирование, и моя просьба была удовлетворена.

Я бы с радостью перешел на новую работу в боевую семью минеров и подрывников. Опыт в этом деле имел, и товарищи мне нравились, все, кажется, в порядке, но в этом взводе бойцам иметь пулеметы не положено. Я же не мог расстаться с пулеметом. Не мог — и все тут! При мысли, что окажусь лишенным этого привычного грозного оружия, мне становилось просто страшно. За полтора года мы прошли сотни километров, перебили сотни врагов. Как можно жить и воевать без него? Да, я

свыкся с ним, как с верным товарищем, и чувствовал что-то очень похожее на горечь расставания с другом.

Мучился, мучился — и решил пойти искать заступничества у нашего командира соединения. Напомню, думаю, Алексею Федоровичу, как я заслужил его первую похвалу, еще ни разу не побывавши в деле: она была получена за то, что в двухнедельных скитаниях во время поисков отряда я не расстался с пулеметом. Каково тащить его в тридцатиградусный мороз без ночлега, без пищи, во вражеском окружении, — командиру было понятно, да и по мне, наверно, видно было.

Напомню и то, что пулемет у меня без дела не бывал и не раз в моих руках сослужил хорошую службу: в месте, прозванном «мадьярским проспектом», мой «дегтярев» повернул вспять целую колонну врага.

Пообещаю командиру, что буду и впредь.

Много чего собирался я сказать товарищу Федорову. Целую речь готовил и будто сказал все, что собирался, а. «дегтяря» пришлось все-таки отдать.

Вручая его начальнику боепитания, я на прощанье крепко прижал к себе обеими руками и поцеловал любимый пулемет. «Пусть он служит другому бойцу так же хорошо, как служил мне», — подумал я и попросил начальника позаботиться о нем, отдать в верные руки. Не постыжусь признаться, что глаза мои при этом были па мокром месте.

Наша Лена

Началась наша вторая партизанская зима. Соединение находилось в Клетнянских лесах, где предполагалось пережить трудное время года. Здесь разбили такой благоустроенный и большой лагерь, что прозвали его Лесоградом. Только сидеть в нем, конечно, не приходилось — дома отдыхали лишь после походов.

Однажды возвратился я из дальней разведки и застал в нашей землянке такое столпотворение, что просто не знал, куда от порога ногой ступить.

После светлой мглы зимнего леса да крепкого морозца дома показалось очень жарко, накурено, темно. В первую минуту я вообще не мог ничего разглядеть толком. А тут еще, как всегда при возвращении товарища, окружающие подняли шум. Смеются, спрашивают, поздравляют с благополучным прибытием — и все разом.

Однако в тот вечер шум прекратился раньше обычного, и я заметил, что мой приход прервал какой-то интересный разговор. В землянке оказались гости из соседних подразделений. И тут я обратил внимание на незнакомую девушку, поместившуюся на нарах в центре землянки. Сидит как дома, смеется вместе со всеми, разговаривает, в общем чувствует себя вполне на месте.

Откуда такая у нас? Должен признаться, что как я ни ценил наших славных партизанок, но всегда предпочитал, чтобы они находились в других подразделениях. Появлению новой девушки в своем взводе я по многим обстоятельствам вовсе не обрадовался. Что ни говори, лишняя особа женского пола в наших условиях представляла некоторую опасность. Слишком много было неженатой молодежи среди подрывников.

Присмотревшись, я убедился, что ошибся: девушка, конечно, никакого отношения к нашему взводу не имела.

Это была гостья, причем, судя по многим приметам, из числа тех, кто прилетел недавно из Москвы.

Мне дали поужинать, я уселся в сторонке и стал слушать.

Наши спрашивали, а девушка рассказывала. Она говорила о боях под Сталинградом, о ледяной дороге через Ладожское озеро, по которой день и ночь идет помощь блокированным ленинградцам, о том, как выглядит, как живет военная Москва.

Она всего лишь отвечала на вопросы, но создавала удивительно стройные картины. Впечатление было такое, будто мы все поднялись куда-то высоко-высоко и видим не только Москву с эскадрильями боевых самолетов над ней, но и заводы, на которых они делаются; видим Урал, где рабочие собирают станки под открытым небом; видим колхозные поля с трудящимися на них женщинами; детские дома, где заботливо растят осиротевших ребят.

Если наш подрывник москвич Володя Павлов спрашивал о родном городе, о своей улице, девушка подробно описывала улицу и даже называла номер недавно пущенного по ней автобуса.

Если она рассказывала о французских моряках, потопивших перед вступлением гитлеровских войск в Тулон свой флот, — сообщала не только дату, но и час события.

Когда она говорила о том, что во Всесоюзной сельскохозяйственной академии имени Ленина своим порядком собирается сессия и агрономы обсуждают планы надолго вперед, она упомянула, что на этой сессии было сделано девяносто четыре доклада.

Кто-то ахнул:

— Нет уж, наша работа, пожалуй, легче.

Девушка рассмеялась вместе со всеми. Видно было, что эта беседа интересна и приятна ей ничуть не меньше, чем нам, с жадностью слушавшим человека с Большой земли.

Долго не отпускали в тот вечер москвичку. Перед самым ее уходом меня подозвал командир нашего взвода Садиленко и познакомил.

— Лена Кара-Стоянова, — представил он мне гостью, — корреспондент «Комсомольской правды».

Потом рассказал Лене обо мне. Сделал он это, помоему, неловко. На него иногда нападало желание что называется «пыль в глаза пустить»: хвастнуть своим народом. А тут еще перед ним корреспондент! Многие из наших считали, что работникам печати надо всякие «чудеса» рассказывать; а правду сказать — сотрудники газет часто именно о «чудесах» и расспрашивали.

И вот Садиленко понес. Артозеев — и бесстрашный, и герой. В общем поставил меня в дурацкое положение. Я прижал ему ногу — не помогает. Хоть провались!

Но тут я взглянул на Кара-Стоянову — и мне стало легче. Садиленко как раз начал рассказывать ей о том, как я бегал на «мадьярском проспекте» босиком по сугробам.

Девушка слушала внимательно, но ни разу не ахнула, ничем не показала своего восторга, хотя именно так и поступают многие, считая, что этим делают вам приятное. Ничего подобного не было в выражении ее темных больших глаз, смотревших серьезно и даже испытующе. Она только время от времени задавала вопросы.

— А приметили, где остались сапоги? А гранаты с какою расстояния бросали?

Когда я сообразил, что разговор идет не для бахвальства, объяснил ей все и уже больше не думал, куда бы мне удрать от рекламы, устроенной Садиленко. Должен же я был сказать человеку, что сапоги партизану нельзя кидать ни в коем случае, как и оружие?

С того вечера началась дружба нашего взвода с Леной Кара-Стояновой.

К гостям из тыла у нас относились по-разному. Кто не заслуживал уважения — будь хоть семи пядей во лбу, — не видал его. Но не только в этом дело: агитгруппа пользовалась большим авторитетом в глазах партизан, однако же отношения с ее членами у нас были далеко не одинаковые.

Мы знали, что Павел Васильевич Днепровский (это был «коренной» член коллектива с первых времен) — редактор нашей газеты и член подпольного обкома — сам мною испытал, вместе с Федоровым бродил по оккупированной Черниговщине.

Киевский поэт Николай Шеремет сочинял стихи. Ему не мешали, но и не помогали. Он, впрочем, и не искал пашей помощи. У Лидии Ивановны Кухаренко — лектора ЦК КП(б)У — тоже до наших маленьких житейских дел руки не доходили. С книгами, вырезками из газет и большой картой она бывала во всех землянках и ближних селах — выступала с серьезными докладами, и вопросы ей задавали серьезные.

Ни с кем из них мы так не сблизились, как с Леной. Тут, возможно, играл роль и возраст — она была в коллективе агитаторов самой младшей, — и та же Лидия Ивановна относилась к ней с ласковой материнской снисходительностью. Старалась иногда умерить ее пыл. А пыла у Лены было много. Она хотела делать все.

Выходит свежий номер нашей газеты «Коммунист» — статья Кара-Стояновой. Кто готовит группу молодежи к вступлению в комсомол? — Лена. Надо послать агитатора в деревню со свежими листовками. Кто пойдет? — Кара-Стоянова — она писала листовку, она и пойдет!

Кем это доставлен в отряд такой интересный альбом рисунков из соседнего лагеря? — Корреспондентом «Комсомольской правды».

— Не знаете, где сейчас Лена?

— Помогает после бомбежки раненых носить.

Через полчаса она уже на расчистке аэродрома.

Вот когда она после этой расчистки вернулась по обыкновению к нам в землянку, ее спросили:

— Что, Лена, улетите скоро от нас? (Самолета ждали со дня на день.) Смотрите — не забывайте в Москве! Да проверьте, очень вас просим, чтобы фотокорреспонденты выполнили обещание и послали родным в тылу наши карточки.

— Почему вы решили, что я улетаю? — улыбнулась Лена. — Я с вами до победного конца! Гнать будете — не уеду!

Все были очень довольны, что она остается, только возразили: разве мы вас так плохо приняли? Почему вы подумали, что гнать вас будем?

— Нет, — ответила серьезно Лена. — Принимаете очень хорошо. Но — как гостью. А я — боец агитгруппы и собираюсь просить командование о переводе в качестве бойца в группу подрывников.

Вот так новость! Нельзя было не удивиться.

— Выходит — не вы нас, а мы вас сагитировали? — шутя спросил Лену Всеволод Клоков.

Володя Павлов прибавил:

Берегитесь, Леночка! Говорят, что подрывник ошибается

только два раза в жизни: первый, когда становится подрывником, и второй, после которого уже никогда и ни в чем ошибаться не приходится!

— Я — серьезно, а вы — с шутками.

— Какая тут шутка! — сказал тогда молодой подрывник Ковалев. — Вот погиб же один из лучших наших минеров настоящей армейской выучки. Все помнят, какой был мастер лейтенант Березин. Артист своего дела! Скольких выучил! А сам погиб из-за ошибки. Вот какая бывает бессмысленная, глупая смерть!

— Смерть, конечно. — Лена подумала, — обидная. Но, во-первых, это все-таки не смерть, а гибель. Тут есть разница. И потом: вот вы сказали, что лейтенант Березин учил многих, может быть и вас. Так вот что я вам скажу: если его неосторожность хоть чему-нибудь вас научила, если вы его помните как бойца, погибшего — что ни говорите — на посту, то я уже не стала бы говорить такие слова — «бессмысленно», «глупо».

— Сама-то ошибка получилась от того, — продолжала Лена, — что он хотел как можно лучше сделать свое дело. Разве только в стычке с врагом, в атаке люди исполняют свой долг? Ведь вы лучше меня знаете, что бывает по-разному, а смысл остается везде один и называется он просто: «отдал жизнь за Родину». А кроме того, — добавила Лена, — он (выучил вас, а вы научите меня, и я тоже буду считать себя его ученицей. Так и будет жить память о нем.

— Душа-человек, — сказал Володя Павлов, когда Лена ушла. — Вот каким должен быть настоящий агитатор.

— Хорошо бы ее все-таки к нам не брать, — заметил Садиленко. — Если погибнет.

— Типун тебе на язык! — рассердился Павлов.

— Вот и я говорю. — спокойно поглядел на него Садиленко, — что мы бы себе этого никогда не простили.

— Знаете что? — вмешался тут я. — Кто себя бережет — везде норку найдет. То, что в этой норке скорей всего смерть и поймает — уже другое дело. Но человеку, которому всегда надо вперед, — дороги не закроешь.

Вскоре я убедился, что командование смотрит на Лену так же, как и мы. Мне случайно пришлось присутствовать при разговоре Лены с Попудренко.

Ну куда вы так торопитесь, Лена? — ласково спрашивал он ее. — Делайте свое дело, на которое поставлены. Как это сказано… «И песня, и стих — это бомба и знамя»?

— Мина все-таки лучше! — вставила Лена, и Попудренко

расхохотался. — Маяковский еще писал, — продолжала она: — «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо». Но это относится не ко всем перьям и во всяком случае не к моему. Потом, Николай Никитич, я не оставлю своих обязанностей.

С этих пор, как только какая-либо наша группа собиралась на задание, Лена вырастала как из-под земли:

— И я с вами!

— Замерзнешь в пути! — отвечал Садиленко. — Легко одета!

— Буду бежать за санями и греться!

— Нельзя необстрелянному человеку в такое дело.

— Я прилетела сюда воевать, а не суп партизанский есть, — сердилась Лена. Сердилась, смущалась и оставалась.

Кстати сказать, не все так поступали. Случалось, что девушки просто увязывались за боевой группой. С одной дивчиной, по имени Мотря, был такой случай.

Когда она пришла в отряд, ее поставили чистить картошку. Ничего, чистила, но все просила оружие, хотела идти в бой. Оружия, конечно, ей никто не дал и в бой не брали. И никто не углядел, как она однажды догнала подразделение, ушедшее на операцию в село. Раньше времени себя не обнаружила — комиссар заметил ее, уже когда все были под огнем. Она сама рассказывала об этом:

«Нагнала комиссара — вижу, вин в снег лягае, и я. Стриляют по нас, а не подстрелили никого. Тилько пули дзижчать. Поднялся комиссар, я — за ним. Так и воевала!»

Все у Мотри, по ее мнению, получилось очень просто. В этом бою она достала себе оружие и вернулась довольная: «Такая я щаслива, що побула в бою!» — говорила она подругам. Ей даже в голову не приходило, что она — нарушитель дисциплины. Правда, ее за это простили, но остальным девушкам сделали внушение, чтобы не вздумали так же поступать. И все равно подобные случаи еще бывали. Что тут можно было сделать? Рвались некоторые девушки в бой, а о воинской дисциплине понятия не имели. Ты ей скажешь — командирский приказ, а она в ответ: «Я в таком деле и тятьку с мамкой не послухаю!»

Вот и говори с ними, когда они еще и отца с матерью слушать не умели да превыше командира ставили!..

Лена, конечно, не могла себе позволить такой «самодеятельности». Девчата даже как будто агитировали ее в пользу «своего хода». Но не им было ее агитировать.

Лена оставалась в лагере и делала свое дело. Однако, возвращаясь с операций, мы нередко заставали Лену у себя в землянке. Она училась подрывному делу.

— Лена готовится под руководством «профессора» Васи

Коробко в университет! — подшучивали наши.

Вася был самым младшим во взводе. Он пришел к нам 14 лет, но к этому времени уже подорвал немало эшелонов. Он действительно горячо принялся за образование Лены. Как всякий подросток, он любил, чтобы ему все объяснили наглядно, поэтому и сам пользовался этой системой. Граната у них обозначала водонапорную башню, и Вася без стеснения валил ее на все стороны, демонстрируя своей ученице, как заложить мину под здание, чтобы она «правильно сработала».

Однако на операции Лену по-прежнему не брали.

В ту пору у нас положение было довольно сложное.

Только что мы встретили Новый, тысяча девятьсот сорок третий год. И встретили прекрасно. Незадолго до этой даты вернулся из Москвы летавший туда по вызову ЦК КП (б) У Федоров. Мы узнали, что боевая деятельность соединения удостоена высокой оценки. К нам в «Лесоград» доставили переходящее Красное Знамя ЦК КП(б)У, и представитель Центрального Комитета торжественно вручил его командиру.

Никогда не забыть тех минут, когда взвод пулеметчиков Авксентьева строевым маршем прошел со Знаменем перед недвижно замершей колонной народных мстителей.

Это было в яркий солнечный день. То ли алый цвет Знамени резко выделялся на сверкающей белизне снега, то ли еще отчего, но у некоторых партизан глаза слезились.

Многие из нас получили ордена, и все эти награды были вдвое дороже потому, что пришли к нам через линию фронта.

Таких дней у нас еще не бывало. Даже внешне все изменилось: по лагерю ходили чисто выбритые щеголи, в надраенных до блеска сапогах, в обмундировании с новыми заплатами. Они курили настоящие московские папиросы, а в руках у них часто можно было увидеть газету «Правда».

Мы переживали великий праздник, но долго праздновать не пришлось. Лесоград бомбили, старались окружить, блокировали, и скоро стало ясно, что надо оставить хорошо устроенный на зиму лагерь и вырываться из вражеского кольца. На нас было брошено несколько дивизий.

Как раз в это время Федорова снова вызвали в Москву; мы должны были идти на прорыв под командой Попудренко. Вывести из-под носа у врага незаметно две с лишним тысячи человек — задача нелегкая, если не сказать невозможная. Николай Никитич был весьма озабочен, и каждый чувствовал в эти дни особую ответственность за любое порученное ему дело. Обстановка все осложнялась. Кругом горели недавние партизанские села. Каратели захватили под свой контроль многие дороги.

В эти-то дни Лена стала еще настойчивей просить, чтобы ее взяли на боевую операцию!

Хорошо помню случай, когда Лена, получив очередной отказ, помогала нам укладывать на подводу взрывчатку. Нам казалось, что она не могла знать степень ответственности и опасности предстоящей операции, а равно и того, что творилось в наших душах: всем очень не хотелось отстать от соединения, и мысль, что мы можем вернуться на пустое место, тревожила каждого. К тому же еще — группа была недостаточно сильна. Лучшие же подрывники — Володя Павлов и Вася Коробко — только вернулись с операции, во время которой не спали две ночи. Командир решил, что нельзя без отдыха посылать их снова. Ну куда было при таких обстоятельствах брать с собой еще ученика.

Тем не менее, когда мы перед уходом зашли в землянку за продуктами, Лена повторила свою просьбу. Тут неожиданно Володя Павлов, Вася Коробко и третий, только вернувшийся комсомолец Саша Титовец один за другим заявили:

— Мы пойдем вместо вас, Лена.

Садиленко отстранил только Васю, — паренек еще рос, ему все же надо было спать больше взрослых. Павлов и Титовец ушли с нами. На прощанье они сказали девушке:

— Свою часть работы запишем на ваш личный счет. Как будем рвать объект, так и скажем — «за Лену!..»

— Спасибо, товарищи. — ответила она, но сразу улыбнулась и добавила: — Какой же это «личный» счет?.. Вы лучше меня этим не утешайте, я все равно его сама открою. Конечно, с вашей помощью, но не вашими, а своими руками.

Лена проводила нас по просеке, весело разговаривая всю дорогу, и грустное настроение понемногу развеялось. Она сказала, что обязательно будет нас встречать.

— Мы пришлем телеграмму! — пошутил Павлов, и мы почему-то покинули Лагерь без прежних сомнений, что найдем его пустым. И мы действительно успели застать всех «дома».

Вскоре соединение снялось с места. За два часа до того, как выйти колонне, мне приказали разминировать просеку, на которой я раньше ставил мины.

Я пошел вдвоем с Сашей Титовцом. Три мины нашли легко. А четвертую — никак!.. Когда я их ставил — не очень примечал. Не думал, что придется снимать. И вот — уже в сумерках показались головные подводы, а моей мины нет и нет.

Топчусь где-то возле нее, а кругом — нетронутый снег, и никаких примет не видно. Сто раз проклял — зачем так чисто работал!

Наконец, когда я уже хотел было послать Сашу с донесением,

чтобы остановить колонну, чуть не наступил на мину ногой. Тут только я вздохнул свободно!

Мы отошли в сторону, чтобы пропустить первые подводы и дождаться своих. Я стоял и света белого не видел. Мороз трескучий, а от меня пар валил столбом.

Вдруг нас окликнула Лена. Она ехала впереди подрывного взвода, с агитгруппой — сразу вслед за штабом. На санях не было никого, кроме ездового, зато много груза.

— Подсаживайтесь! — пригласила Лена.

Ночь тихая, темная. Пели тонкими, скрипучими голосками полозья тяжело груженных партизанских саней.

Многие люди дремали, примостившись друг к другу.

А к нам и сон не шел.

Не помню, о чем мы вели сначала разговор. Кажется, подсмеивались над Сашей: говорили, что конь пошел медленней, не выдерживает тяжести его богатырской фигуры.

Потом Лена сказала:

— Вот уйдем из этого леса, и Николай Никитич переведет меня в ваш взвод. А какой он хороший человек, ведь правда? Вот про него да про всех вас надо после войны книжку написать.

Я не откликнулся на это, потому что подумал о другом: легко сказать: «Уйдем из этого леса». Понимает ли Лена да и Титовец, который участвовал в рейде впервые, что нам предстоит, возможно, через час-другой? Я-то уже хорошо знал, что такое прорыв из блокады. Такую штуку, пока сам не попробуешь, с чужих слов не понять.

Мне не хотелось пугать Лену, но я все же как можно мягче спросил ее:

— А будет ли толк от ваших занятий подрывным делом, Леночка? Ведь вы — москвичка, всю жизнь прожили в большом культурном городе. В сражениях еще не бывали да и в мирное время, небось, леса как следует не видели; ни по путям, ни через препятствия не лазили. А нам это все привычно.

— Я, конечно, понимаю, — добавил я, — что вы получили представление о боях из газет и сами писали, как воюют. Вам хочется внести свою долю. Но ведь в жизни все дается труднее, чем в газете. Если вы, Леночка, увидите безвыходное положение — смерть, то что с вами будет?

Лена внимательно выслушала меня и сказала:

— Вы думаете, что мне будет страшно? Возможно. Но, что тут говорить. Увидим.

Когда колонна вышла из лесу, кони быстро помчали нас по небольшому лугу, спускавшемуся к речке.

Попудренко и начальник штаба Рванов скакали верхом по

снежной целине — проверяли, чтобы в колонне не получилось разрывов. Все шло хорошо.

Вот головная часть соединения — Сталинский отряд — уже спустилась на замерзшую и покрытую снежным одеялом реку Ипуть. Вот их сани уже взобрались на противоположный берег.

Позади тянулась длинная вереница остальных подвод, а самые последние еще не вышли из лесу.

Попудренко и Рванов вместе с командирами отрядов поторапливали ездовых, иногда и сами подхлестывали лошадей, взбиравшихся на высокий берег. И путь форсировало уже больше ста подвод.

На прибрежном холме стояла запорошенная снегом деревня Николаевка, куда еще недавно мы свободно ходили. Теперь там был враг.

«Ну. — подумал я, — что-то будет, если их дозор сейчас обнаружит колонну.» И не успел я высказать себе мысль до конца, как из деревни и соседнего хутора Лукавицы грянул сильный перекрестный огонь.

По нашей колонне били из минометов и пулеметов.

Сразу же был выдвинут заслон наших пулеметчиков, открывший по врагу ответный огонь и прикрывший продвижение саней к лесу.

— Вперед, вперед! — кричали командиры, отсылая обратно вестовых с приказом: не поспевшим к переправе — вернуться в лес.

Возбужденные стрельбой кони стали наезжать друг на друга. Огонь был настолько сильный, что за каких-нибудь восемь-десять минут опрокинулось до тридцати саней.

Партизаны на ходу подбирали раненых, укладывали в сани. Некоторые спасались от пуль за грузами, за павшими лошадьми.

Крик людей и ржание коней тонули в грохоте и треске боя.

Это и было то самое, что называется «прорыв».

Наш ездовой был убит сразу. Я перехватил вожжи. Впереди опрокинулись штабные сани, и ездовой силился освободиться из-под накрывшей его тяжести. В три прыжка Саша добежал до придавленного человека и, приподняв сани своими сильными руками, помог ему выбраться.

Ездовой кинулся в сторону, а Саша рухнул лицом в снег.

Смотрю над ним склонилась Лена. Не знаю, как она успела добежать быстрей меня.

Она старалась поднять большое тело Саши, но не поняла, что парня уже не спасешь. Легкое подергивание было предсмертной конвульсией.

— Мы с Леной уложили тело нашего товарища на чьи-то

сани.

Мешок! — закричала вдруг Лена и поползла с дороги под уклон. Туда скатился вывалившийся из штабных саней большой серый мешок с документами.

Несколько человек кинулись ей на помощь, схватили мешок. Лена поползла обратно и стала помогать раненому старшине Сергею Пинчуку.

Кругом струйками завихривался под разрывами сухой снег. Рвались в стороны испуганные и раненые кони. Повсюду снег окрасился пятнами крови.

Партизаны ехали, бежали, и вся эта будто разбитая, но не потерявшая своей цели живая цепь продолжала продвигаться вперед.

Три отряда нашего соединения остались по ту сторону реки. Прорвавшаяся часть углубилась в березняк, где был дан приказ о привале.

Молодые тонкие деревца не защищали нас от режущих порывов ветра. Он со свистом наметал сухой снег на сани, вещи, лошадей, людей. Казалось, стоит минуту не шевелиться — засыплет вовсе.

Многих мы не досчитались на этой дневке. Много было раненых. Костров развести не могли. Ни поесть, ни согреться. Тяжело.

Я пошел проведать одного раненого товарища. В санчасти догадались натянуть над лежащими в санях людьми тенты, защищавшие их по крайней мере от ветра и снега. Здесь стояли сумерки, и, не видя еще никого, я услышал голос Лены:

— Говорят, что такие морозы стояли, когда умер Ленин. Вот как раз теперь — в январе девятнадцать лет. Мне рассказывали старые москвичи, что все дни, пока он лежал в Колонном зале, улицы были запружены людьми, пришедшими прощаться. Никто не заходил в дома, даже ночью.

— Я тогда родился. — сказал один раненый, — в те самые морозы.

— Вспоминаешь? — спросил его другой. — Ну, как? Когда холоднее было: тогда или сейчас?

Кто-то засмеялся, но тут же раздался стон, и все замолчали.

Потом чей-то совсем мальчишеский голос сказал:

А когда товарищ Сталин из ссылки бежал? Чуете, как ему холодно было? Ведь он — человек южный, а тут все — по сугробам, по сугробам. Где этот самый Туруханск-то? В Сибири?

Лена объяснила, где Туруханск, и я ушел, так и не найдя товарища. Не хотел мешать ей вести разговор, из которого получалось, что наша дневка в общем — не такое уж тяжкое дело,

и мороз — тоже не первостепенной важности. Бывает хуже.

Уже выбираясь из-под тента, я услышал, как один раненый говорил:

— Неплохо бы поесть. Голодному холод терпеть труднее.

— Начальник штаба сказал, что ночевать будем в селе, — быстро ответила Лена, — уже вернулась разведка. Впереди чисто.

Не знаю, о чем они говорили потом. В этот день я Лену больше не видел.

Ночью начался наш быстрый марш назад, на Черниговщину.

Мы шли, пока было темно, а отдыхали короткими зимними днями по селам.

Группа разведчиков была направлена командованием обратно в Клетнянские леса — на связь с отрядами, оставшимися в блокаде, с приказом принять все меры, чтобы выйти и следовать по условленному маршруту.

Другие группы разведчиков, разосланные во все концы, докладывали, что немцы послали нам вдогонку целую дивизию. Задерживаться было нельзя.

В ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое января соединение сделало маневр и подошло к железнодорожному полотну на участке Белинковичи — Кричев.

Взвод пулеметчиков Авксентьева быстрым броском занял переезд, уничтожил немецкий дзот. Рота отряда имени Сталина под командой Короткова расположилась по обе стороны полотна, обеспечивая колонне переправу.

Услыхав бой, немцы прибежали из соседних деревень па помощь, но помогать было уже некому. Охрана переезда разбежалась, оставив человек сорок убитыми да два пулемета.

За все это время мы у себя во взводе почти не видели Лену. Она не возобновляла разговора о переходе к нам. Ей было некогда. На марше агитгруппа оказалась загруженной куда больше, чем обычно.

Едва успевая поставить сани во двор, агитаторы уже начинали беседовать с населением и исчезали с наших глаз, окруженные толпой, на целые дни.

Па всех стоянках печатали листовки. Без конца крутили три привезенные нам из Москвы кинокартины: «Разгром немцев под Москвой», «Суворов» и «Салават Юлаев».

Особенным успехом пользовался, конечно, документальный фильм о разгроме немцев под Москвой. Лидия Ивановна Кухаренко, смеясь, говорила, что почти везде просят «крутить помедленней».

Ранним утром тринадцатого февраля мы въехали в село Будище.

Федоровцы здесь бывали еще по пути в Клетнянские леса — летом прошлого года. Нас встретили как самых близких и родных людей.

Отдых обещал быть хорошим. Разместились по хатам. Где кашу начали варить, где лепешки печь, где и самовары поставили, — угостили чаем.

Беспокоила всех только судьба товарищей, оставшихся в клетнянском «Лесограде». Как они вырвутся? Где нас догонят? И, может быть, оттого, что эти три отряда были у всех на уме, получилось недоразумение.

Завидев появившуюся по нашему следу колонну, ребята на заставе страшно обрадовались и подняли крик:

— Наши едут! Ура, наши!

Все выскакивали из хат, с волнением вглядываясь в только что показавшиеся на холме головные сани. И тут вдруг обнаружилась ошибка. Это была вражеская часть.

Село Будище стоит на довольно высоком месте. От леса его отделяет протекающая в низине речушка. За ней поднимается другая возвышенность и до самой ее вершины дорога идет по открытому месту. На холме, кроме разрозненных низких кустов, ничего не растет. Снизу видна только гребенка леса на горизонте.

Сани быстро катились с холма.

По селу пронеслась команда — приготовиться!

Наш, взвод занимал четыре хаты при въезде в село, и мы со своего двора отлично видели, как заиндевевшие лошади мчались по скользкой дороге.

Немцы, надо думать, не ожидали встретить здесь партизан: в санях сидели по четыре-пять человек, укутанные в одеяла. Грузы платно уложены, покрыты брезентом, обвязаны.

У нас в селе было еще тихо, но люди напряженно готовились к бою. Артиллеристы выкатили на улицу сорокапятимиллиметровую пушку, подтаскивали ящики со снарядами. Подразделения занимали позиции. Приказано было боя не начинать, пока первые сани не въедут на деревянный мосток.

Джж-вах! — грянули наши артиллеристы прямой наводкой.

У немцев внизу сразу получилась пробка. Летящие сзади сани с размаху наезжали на передние, переворачивались, и кто там жив, кто там мертв, сказать было трудно.

Подвод пятьдесят копошилось под нашим огнем, а задняя половина колонны разворачивалась, пытаясь скрыться за возвышенностью. Многие гитлеровцы расползались по кустам, отстреливаясь из винтовок.

К этому времени наши подразделения уже спускались в

низину, преследуя врага.

Вместе с комиссаром отряда имени Сталина — Платоном Горелым, командиром группы автоматчиков Ковалевым и Васей Коробко я сбежал к речке. Мы немного зарвались вперед и попали в неприятное положение: и немцы в нас стреляют, и пули своих достают. А засев за большой копной, мы увидели еще более неприятную вещь.

Группа противника, не считаясь с огнем, установила батальонный миномет против спускавшихся с нашей стороны автоматчиков.

Мы решили подобраться к миномету. От стога — рукой подать до беспорядочно раскиданных саней. Перебегая от саней к саням, мы уже были недалеко. Я бежал с Васей, Горелый — с Ковалевым.

Но откуда ни возьмись выскочил длинный, как телеграфный столб, гитлеровец и бросился на меня.

Мы схватились врукопашную. Силы оказались равными. Ни я его, ни он меня не повалит. А Вася прыгает вокруг нас с автоматом, никак не может выбрать Удобного момента, чтобы застрелить моего врага и не задеть меня. Вдруг Вася крикнул что-то и повалился нам в ноги. В ту же минуту, увлекаемый врагом, я упал вместе с ним в снег. Продолжая его держать, я увидел возле уха врага дуло пистолета, услышал выстрел. Гитлеровец сразу отпустил меня.

Я поднял голову. Передо мной стояла Лена.

Оказалось, что когда она подбежала, Вася схватил гитлеровца за ноги и повалил нас обоих, «чтобы легче было разобраться», как сказал он потом.

Немцы продолжали отстреливаться из-под саней, из-за кустов. Но Ковалев с подоспевшими к нему бойцами уже успел захватить батальонный миномет. Вася с Леной побежали на помощь к автоматчикам.

И радостно, и досадно мне было видеть Лену в гуще боя: довольно тут народу и без нее.

Возле миномета упал один из бойцов. Я заметил, откуда стреляли немцы: за кустом, засыпанным снегом, засело несколько человек. Я дал туда сильную автоматную очередь и одновременно услышал, как за моей спиной начал бить налаженный нашими миномет.

«Теперь порядок!» — решил я и оглянулся. Уползавший наверх обоз начал рассыпаться. Лошади кидались в разные стороны. Одни сани неслись по целине, и тотчас наперерез им от миномета отделилась группа наших.

Они бежали и что-то кричали, я не слышал, что именно.

Впереди как на крыльях летели Вася и Лена.

Лена качнулась, прежде чем я успел догнать их. Сделав два-три шага вперед, она упала.

Когда я подбежал, Вася тряс Лену за плечо. Он немало смертей видел, но не мог, вернее, не хотел понять, что Лена убита.

Мы с Васей принесли ее в село.

Комиссару Горелому передали полевую сумку. Там вместе с документами был большой блокнот, почти весь заполненный записями.

— А пистолет, — сказал я Горелому, — Вася забрал. Я говорю — зачем берешь пистолет, а он.

Что пистолет!.. Пусть. — не стал слушать комиссар. Не глядя на меня, он взял блокнот, хотел раскрыть, но раздумал. Потом бережно завернул его в свежий номер газеты «Коммунист» и спрятал в штабные документы. В «Коммунисте» была напечатана статья Лены.

Тогда я впервые подумал: ведь это была ее главная работа. Для того, чтобы стать, как она хотела, подрывником, — совсем не нужно было интересоваться тем, что думает партизан, когда возвращается в лагерь после удачной операции. Но она незаметно, между делом, обязательно узнает, что у тебя было на душе.

«Про всех вас надо после войны книжку написать.» — сказала она тогда в санях по дороге на прорыв.

И вспомнилось мне еще, как я зашел однажды поздно ночью в землянку агитгруппы. Все спали. На ящике горела коптилка. Лена сидела, примостившись поближе к свету, с карандашом и этим самым блокнотом. — «Хватит тебе, будет. После напишешь», — сонным голосом сказала Лене Лидия Ивановна. Я поддержал ее, — надо же отдыхать когда-нибудь!.. Но Лена только покачала головой.

Вот тут, в этом блокноте — ее записи, впечатления, мысли. И главное — не то, какой из нее получился бы подрывник, сколько она уничтожила бы врагов, а какая бы получилась книга.

Мы не видели в Лене корреспондента, литератора. Свой основной труд она делала незаметно. Не подходила к нам с блокнотом и с карандашом, не смущала вопросами. Записывала ночами. А за день успевала сделать столько простого, будничного, партизанского, что стала она всем нам близким товарищем — нашей Леной.

Уже в сумерках, перед самым отъездом мы хоронили нашу Лену. Еще была слышна стрельба — отряд имени Сталина продолжал преследовать противника.

Мы стояли на краю неглубокой могилы.

— Спи спокойно, дорогой товарищ! — сказал навеки замолкнувшей Лене писатель Шеремет. — Свитлы образы Зои Космодемьянской и Лизы Чайкиной зорили перед тобою в глубокой тьме ворожьего тылу. Ихних подвигов ни на хвылыну не забувала ты, равнялась на полумяных героинь комсомолу. Ты отдала молоду жизнь народу, и вин тебе не забуде, мужня партизанко!

Прощай, наша Лена. — услыхал я за собой голос нашего парторга Воловика — Мы не забудем тебя никогда.

Центральный Комитет комсомола Украины сказал о нашей партизанке такими словами:

> «Сумела организовать вокруг себя пропагандистский актив и создала группу агитаторов, которые проводили массово-политическую работу не только среди партизан, но и среди населения.
>
> Ей удалось организовать систематический выпуск молодежных листовок. Лично Л. Кара-Стоянова провела сорок докладов, бесед среди бойцов и населения.
>
> Товарищ Кара-Стоянова принимала участие в проводимых соединением операциях, показывая пример смелости и отваги, ведя за собой молодежь. В бою с немецкими оккупантами храбрая и отважная народная мстительница была сражена фашистской пулей.
>
> ЦК комсомола Украины ходатайствует перед ЦК ВЛКСМ о представлении к правительственной награде товарища Л. Кара — Стояновой — за участие в боях и проявленный героизм в борьбе с немецкими оккупантами, за успешную организацию пропагандистской работы в соединении — орденом Отечественной войны.»

В этом документе не сказано, что отряд имени Чапаева назвал свой лагерь в Змеиных горах именем Лены Кара — Стояновой, что не один эшелон полетел под откос от рук наших партизан, напутствуемый словами: «За нашу Лену». Среди друзей Лены — подрывников — пятеро стало Героями Советского Союза, и никакая месть за нее не казалась нам достаточной.

И вот, почти через десять лет, случайно я узнал о Лене и ее семье много такого, что сделало ее образ в моих глазах еще более ярким.

Настоящее имя ее было — Лилия. Родина — Болгария.

Когда в сентябре 1923 года в стране вспыхнуло возглавленное Димитровым антифашистское восстание, Лилии

было семь лет.

Александр Кара-Стоянов, отец нашей партизанки, был вождем повстанцев в городе Ломе. Здесь же, после двухдневных боев, он был схвачен предателями и расстрелян с группой соратников на Софийском шоссе (теперь — шоссе Александра Кара-Стоянова).

В стране началась свирепая реакция правительства Цанкова. Жену и товарища Александра — Георгицу Кара-Стоянову бросили в тюрьму с двумя маленькими дочерьми. Она была приговорена к смертной казни.

Друзьям удалось добиться ее освобождения, так как она ожидала ребенка. Арест и приговор, вынесенный Кара-Стояновой, вызвали глубокое возмущение в самых широких кругах населения. Палачи испугались гнева народа.

Находясь еще в тюрьме, семилетняя Лилия была связной для всех заключенных. Ей удавалось уходить в город, и она, как сознательный конспиратор, выполняла поручения старших, проносила на волю записки, ловко их прятала от жандармов.

В тюрьме родился брат Лилии, названный в честь погибшего отца Александром.

Международная организация помощи борцам революции сумела вывезти осиротевших детей революционеров за пределы их родины. Вместе с одной из таких групп Лилия Кара-Стоянова приехала в Москву. Она росла в детском доме. Ее воспитал комсомол, и она стала человеком, достойным комсомола, достойным своей революционной семьи.

Мать нашей Лены на долгие годы осталась в коммунистическом подполье. Она еще не раз попадала в тюрьму, подвергалась заключению в концентрационный лагерь, но ничто не сломило воли мужественной революционерки. Побег из тюрьмы, перемена имени — и она снова вступала в строй борющихся болгарских коммунистов. Одним из подпольных имен Георгицы Кара-Стояновой было: «Лена». И старшая дочь Георгицы помнила это. Вот почему Лилия так назвала себя у нас.

Мать нашей партизанки тоже погибла на боевом посту. Через год после того, как мы похоронили нашу Лену, накануне прихода советских войск в Софию, Георгица Кара-Стоянова пала от рук фашистских палачей.

Сейчас в свободной, демократической Болгарии живут и работают младшие брат и сестра Лены. Вместе со всей страной они строят новую, счастливую жизнь, хранят нерушимую дружбу с Советским Союзом, дружбу, скрепленную кровью лучших сынов и дочерей обоих народов.

Трудное задание

Уже несколько дней группы наших подрывников возвращались от железной дороги Гомель-Новозыбков без результатов. Не только полотно, но все подступы к линии усиленно охранялись фашистами днем и ночью. По пути ходили патрули с собаками, проверяли чуть ли не каждую шпалу, каждый стык рельса. Шло наблюдение за насыпью, на всех проезжих дорогах были выставлены посты.

Из Москвы запрашивали о положении с этой магистралью: почему поезда идут полным ходом. Почему нет сведений о взрывах в нашей зоне. Тяжело было узнать об этом запросе — ведь нас в отряде больше двух тысяч. Но дело тут было не в количестве людей.

Не знаю, как чувствовал себя Попудренко, когда вызвал меня в связи с этим в штаб; думаю, так же скверно, как и я.

Ты старый подрывник, — сказал он. — Как по — твоему — чем можно объяснить такое положение, что гитлеровские эшелоны свободно мчатся на фронт по нашей железной дороге? В чем тут дело? Нас целая армия — и мы пропускаем мимо себя их поезда. Уже седьмую группу обнаружили и отогнали огнем, не дав совершить взрыва. Задание Москвы, задание командования до сих пор не выполнено. Объясни мне: как ты понимаешь такое положение?

— Николай Никитич. — ответил я. — Ведь наши ходили ночью да лесом. А там, где линия проходит ближе к лесу, — у них и охрана сильнее. Ведь они нас там ждут? — Ну вот ребята и нарывались на огонь. Я думаю. Не пойти ли со стороны чистого поля, да эдак на рассвете.

Попудренко задумался и тихо поговорил о чем-то с Рвановым. Потом сказал:

— Ладно, пробуй. Подбирай людей. Сколько тебе надо?

Много людей брать я отказался: в подрывной операции они могут только помешать. Попросил дать хорошо знающего местность проводника, а подрывников решил взять из молодежи своего подразделения. Пусть поучатся работать на трудном задании.

У себя в подразделении я рассказал бойцам о важности предстоящего дела. Люди один за другим вызывались идти со мной. Я отобрал Медяного, Дербо и Воловика, а остальных пообещал взять в другой раз.

Принялись мастерить мину. Сделали ее из четырех частей, чтобы легче подтаскивать; общим весом на тридцать два

килограмма. Ребята маскировали тол парашютным шелком и приговаривали: «Мы им покажем, где их конечный путь.»

Лошади легко помчали сани по плотному снегу. Нужно было проехать километров двадцать пять. На санях сидели мои помощники да проводник из местных — Саша. Вот и вся наша бригада.

В лесу было темно. Уже попахивало железной дорогой. Я порасспросил Сашу, где линия проходит дальше от леса. Он объяснил, что в семи километрах от Новозыбкова по обе стороны пути есть поля — так называемые «огородники». Я велел Саше подвезти нас туда. Однако вижу — мой проводник, не ожидавший столь странного приказа, перепугался. Крутит, вертит, никак не выведет ни к полотну, ни к полю.

Время идет, мы едем шагом. Саша уверяет, что здесь где-то должна быть просека к «огородникам»: бегает — ищет знакомых примет, а мы к цели все не приближаемся. Начало светать. Пошли первые поезда. Немцы ночью движение приостанавливали из боязни диверсий. Нам отчетливо был слышен стук колес, дыхание паровоза.

Вдруг Ваня Дербо сказал: — Товарищ командир, впереди костер! — Мы остановили сани, и я с Павлушей Медяным пошел на разведку. Оказалось: постовые полицаи греются у костра. Дальше двигаться нельзя. Железная дорога рядом.

Я приказал Саше загнать сани в кусты, сидеть там тихо. Тол поделили и пошли прямо на шум поезда.

Было уже так светло, что полотно мы увидели во всех подробностях. Подробности были неподходящие: по путям Двигалось шестнадцать немцев. На поводках у них три служебные собаки.

Мы тихо пошли вдоль линии. Лес кончился, и перед нами открылось поле. Его отделяла от нас незамерзшая речка — Гнилуша. По бревну переправились на другую сторону. Недалеко от нашей переправы мост. На нем виднеются орудия, пять постовых с винтовками.…

В сторону фронта промчался груженый состав. Тридцать восемь вагонов. Потом пошел еще один — товаро-пассажирский. Составы мчались один за другим, — выбирай любой! Но как добраться до них, — вот вопрос! Нас отделяло от линии расстояние метров в двести.

Мои ребята предложили остаться здесь на дневку, а ночью — заминировать полотно и уйти: возможно утренний обход мину не обнаружит и первый же эшелон взорвется. Если только они раньше не пустят для проверки порожнюю дрезину.

Но это не годится. Это значит не выполнить приказ. Нам надо

сделать так, чтобы положенный нами тол лежал в полной безопасности; чтобы воробей на него сесть не успел, ни одна душа не увидела и не тронула. «Из наших рук прямо под колесо паровоза — это будет правильный путь!» — сказал я своим молодым товарищам, и они с этим согласились.

Нагрузившись толом, мы вчетвером в белых маскировочных халатах поползли по снегу. А по путям идут с миноискателем девять солдат. Мы переждали и двинулись снова. Осталось шагов сорок. Дальше — головы не подымай. С моста отчетливо доносится говор патрульных. Одно хорошо — они время от времени заходят в будку. Надо дождаться, когда они снова спрячутся, и тогда ползти.

Едва патруль скрылся, я быстро достиг полотна. Ребята немного запоздали. Только я уложил свою часть тола, так показался поезд из Гомеля на Новозыбков. Бежать рано — ребята еще не поднесли остальные куски. Я приказал им прилечь и сам замер под насыпью.

Это было рискованно. Я даже поразился, как нас не заметили. Нервы будто шевелились; хотелось бежать, но никто из нас не двинулся.

Поезд промчался. Только мы подняли головы — слышим гудок встречного состава. Он шел из Новозыбкова на Гомель с большой скоростью, даже покачивался на ходу. Медяный и Дербо, пользуясь шумом, подбежали ко мне, передали свой тол. Машинист нас заметил, дал сигнал, ему, конечно, и в голову не пришло, что видел партизан-подрывников.

А в другой стороне опять показался поезд. Это уже наш, то есть состав, идущий к фронту. Если его не подорвем — нам тогда надо все бросать и уходить. И так уж слишком долго торчим на полотне. Я приказываю Медяному и Дербо бежать к лесу: зачем всем подвергаться риску? Воловик вставляет взрыватель, я поглядываю по сторонам и на приближающийся состав: примеряю расстояние. Воловик нервничает: с детонатором у него не ладится. Приказываю и ему уходить, догонять товарищей. Берусь за взрыватель сам. Поставил детонатор, воткнул палочку. Паровоз не больше чем в ста пятидесяти метрах. Машинист дает длинный сигнал и, наверное, затормозил, но теперь уже все равно и тормоза не помогут. Я кидаюсь вслед за товарищами. Шагов через тридцать падаю ничком, и тут же раздается взрыв. Над моей головой что-то просвистело, может быть, кусок паровозного колеса. Все. Теперь можно посмотреть.

Картина страшная. Поезд шел с двумя паровозами. Первый сбросило на бок. Второй свалился в яму. Вагоны, как раки, лезли друг на друга, падая на стороны, валили столбы, резали провода.

Лязг, стук, треск, шипение паровозных котлов. Здесь смешалось в кашу вагонов сорок.

Поле затянуло паром и дымом. Под укрытием этой завесы я побежал через огороды к лесу.

Мне уже не приходилось искать переход через речку — пошел вброд. Одежда порвалась, сам не знаю когда, холодная вода проникла к телу. Вылез на другой берег, и она стала замерзать. Лед хрустел и мешал идти. Вообще трудно поверить, что у человека при таких обстоятельствах может быть на душе спокойно. Но эго было так. Меня очень обрадовало, что у самого леса я увидел обломок паровозного колеса: вот это взрыв! Мы выполнили задание.

Ребята ожидали меня на опушке. Надо было торопиться: с минуты на минуту охрана опомнится и пустит по следу собак.

Мы быстро удалялись от места катастрофы. Вот впереди уже показался огонек знакомого нам костра. Удобно, что полицаи разожгли его, — для нас прекрасный ориентир. К нашему удовольствию, оказалось также, что все они, напуганные взрывом, разбежались и один даже оставил на суку свой армяк. Нам пригодился.

Костер пылал. Кругом — ни души. Ребята побежали за санями, а я немного обогрелся. Мне как барину подали экипаж.

Наш проводник Саша от сильных переживаний подзабыл все приметы. Теперь уже не он вез нас домой, а мы его. Парень смотрел на нас и, кажется, не верил, что это мы. Он все повторял: «Как же так? Среди бела дня такое. Как же это так получается?..»

— Не боги горшки лепят, брат Саша! — ответил я ему. — И ты такое же сумеешь, если захочешь.

В штабе, конечно, уже знали о выполнении задания. Беспокоились только, за нас. Едва подкатили сани, как навстречу вышли Попудренко и Рванов, обняли, расцеловали каждого, обещали представить к награде. Радист Костя с веселым лицом передавал в Москву сообщение о том, что мы подорвали эшелон.

На магистрали два дня не было движения. Во взорванном товаро-пассажирском составе погибло много врагов нашей Родины.

Две свадьбы

Мели февральские вьюги. Над землей гудели сильные ветры, по небу быстро перекатывались суровые, лохматые облака. Покинув село Бабичи, наше соединение двигалось по Чечерскому району Белоруссии к себе — на Украину.

Сквозь метель перед нами обрисовалось освещенное луной, — занесенное снегом село. Казалось, оно спит мертвым сном. Все живое спряталось от мороза и вьюги. Собаки — и те не лаяли. Лишь в одном доме брезжил свет.

Колонна остановилась неподалеку от села. Наши разведчики в белых халатах, на лыжах быстро пошли туда. Когда они вернулись, то со слов жителей рассказали, что происходит в селе. В доме, откуда виднелся свет, — гулянье.

Женится начальник полиции местного куста — некто Долгов. Он празднует уже пятую свадьбу: в каждом селе решил иметь по жене.

Долгов — не местный, рассказывали разведчики. Он пришел сюда с оккупантами. Говорят, что имеет железный крест первой степени за поимку и убийство тринадцати советских парашютистов.

Выслушав доклад, наше командование решило совершить правосудие над лютым злодеем и его гостями. На свадьбе гуляло восемнадцать фашистов, четыре старосты и пять полицаев.

Из десятка полицаев, поставленных с вечера на охрану дома, наши разведчики видели только троих, прильнувших лицами к оконным стеклам. Остальные разошлись по домам греться.

Окружить дом были направлены стрелковые взводы Карпуши и Халиулина. Один полицай заметил партизан, дал тревожный выстрел, но тут же был убит меткой пулей Карпуши.

В доме погас свет. Гости открыли стрельбу из автоматов. Из одного окна вылетела граната. Из других почему-то начали бросать посуду — как будто тут завязался не бой, а скандал.

Подъехавший к дому Попудренко решил, что не стоит рисковать драгоценной жизнью партизан ради истребления этих гадов. Командир вызвал меня и поручил поднять па воздух разом всю свадьбу.

— Не пожалеем для жениха и его друзей немного толу, — сказал он. — Такой подарок они вполне заслужили. На вручение подарка даю тебе сроку пятнадцать минут.

Я побежал к своим саням за взрывчаткой.

— Ты не увлекайся! — крикнул мне вдогонку командир, —

много толу не трать: оглуши только.

Я начал искать в ящиках подходящий брусок — килограммов на пять, но как назло под руку попадались большие бруски.

Время шло, и я решил не экономить. Взял ящик на двадцать пять килограммов, бросил его в сани и помчался к своему оригинальному объекту: за всю партизанскую жизнь ни разу еще не приходилось мне взрывать свадьбы.

Из слухового окна дома Долгова уже строчил пулемет: очевидно, некоторые гости слегка протрезвились.

Дом оказался добротный — на каменном фундаменте, под железной крышей.

Быстро осмотрев его, я остался доволен, что взял большую мину, и стал подыскивать подходящее место. По дымоходу можно было определить, к какой стене ближе печка. Подойдя со стороны огорода, я установил свой ящик. Подвел бикфордов шнур и поджег его. Крикнул своим ребятам, чтобы отходили подальше.

Только мы отбежали — свадьба кончилась. Тряхнуло сильно. К небу поднялось коричневое облако, из которого на нас посыпалась какая-то труха. Во дворе Долгова снесло и амбар. Метрах в двадцати легла сплющенная крыша. Ни следа жизни не осталось на месте взрыва.

— Сколько ты заложил, черт этакий? — крикнул мне Карпуша, но не услышал ответа: маленько оглох.

— Ну, теперь нам уже тут делать нечего. — сказал Халиулин своим ребятам.

Но вдруг — что за чудо? Из пепелища с развороченного фундамента поднялась человеческая фигура и, качаясь но довольно быстро перебирая ногами, пошла прочь.

— Смотри, смотри! — крикнули мне товарищи. — Твой тол не всех берет! — и бросились за удалявшимся на огороды человеком.

Я просто опешил: что тут за мертвые души бродят? Как могло случиться, чтобы после такого взрыва еще кто-то остался жив?

Уж не чудится ли нам?..

Вместе со всеми я побежал за этим «духом». К сопротивлению дух был не способен. Его схватили. Оказалось, что это сам Долгов.

Мерзавца притащили с огорода всего в пуху и перьях, но совершенно невредимым. Не судьба была ему умереть моментальной смертью. Попудренко приказал его повесить при всем народе.

Фашистский прислужник потерял вместе с честью и совестью силы для того, чтобы мужественно окончить жизнь. Он падал в ноги партизанам, плакал, бил себя в грудь и кричал:

— Пожалейте меня, русские люди! Я буду служить вам, как хотите, только полелейте! Оставьте жить!

Что в самом деле ему зря пропадать? Пусть нам послужит! Пиши записку! — обратился Попудренко к этому подлецу. — Приглашай друзей на свадьбу! Вызывай всех полицаев своего куста немедленно сюда! — и командир тут же дал распоряжение, кому остаться на селе для встречи полицаев.

Нам было отвратительно поведение и отечная, пропойная физиономия этого пожилого человека, который позорно жил и позорно прощался с жизнью. Население деревни нам пришлось успокаивать. Люди готовы были растерзать своего мучителя.

Перед уходом из села Долгова повесили на липе напротив взорванного дома. Жители благодарили партизан, благословляя час нашего прихода.

На следующем перегоне после небольшого привала командир послал нескольких партизан, в том числе и меня, вперед — проверить дорогу.

Мы выехали. И надо ж было случиться — опять столкнулись со «свадьбой». Только на этот раз все было совсем по-другому.

На глухой лесной дороге нежданно появились встречные сани. Мы их остановили.

— Откуда движешься, запоздалый путник? — спросил я у одинокого седока. И, разглядев его, удивился — это был мальчик лет пятнадцати.

— А вы, дяди, кто такие? — ответил он вопросом.

— Разве не видишь? Партизаны! — ответил Козик.

Мальчишка просиял. Он соскочил с саней и протягивая руки, бросился к нам.

— Я Коля Березаев, — говорил он, обходя всех нас и суя каждому ладошку. — Я Коля Березаев.

— А чего ж ты, Коля, в такое неурочное время разъезжаешь по лесу?

— Из-за попа задержка получилась. От попа еду.

— То есть как это? Какие у тебя дела с попом? Он служитель культа, а ты ведь все-таки советский школьник!

— А никаких таких дел. Это только один раз. Для венчания.

— У вас на селе свадьба?

— Нет. Я сам. Вы не смейтесь, товарищи партизаны, это серьезно — я сам и венчался.

И Коля рассказал нам, что оккупационные власти угоняют всю холостую молодежь в Германию, в рабство. А женатых пока не трогают.

— Вот я и женился, — заключил Коля.

Надул, значит, фашистов. Здорово это у тебя получилось. Сам

придумал?

Коля хитро прищурился.

— Не сам. Немец один посоветовал.

— Что, что?

— Верно, немец. Он у нас на квартире стоял. Добрый такой дядька. Бывало все рассказывает…

— А ты что немецкий язык знаешь?

— Нет, он больше руками показывает. Ткнет мне в грудь пальцем, потом себя и ладошкой разную высоту покажет. И мы с мамой понимаем: у него дома дети остались — трое, один другого меньше. Когда вышел приказ брать в Германию четырнадцатилетних, мы с мамой плакали, что меня угонят. Я ему приказ показал, а он подумал и стал смеяться, а потом посоветовал: «Женись!» Мы к учителю ходили — он всю эту его выдумку нам перевел. Что мол не бойтесь, в комендатуре формалисты, им важна справка. Достаньте справку, лучше всего в церкви, предъявите в комендатуру, и все будет в порядке. Он, правда, хороший человек, я даже фамилию его помню: Кугельман. Он рабочий — печатник.

— Да ты я вижу, — удивленно и даже с раздражением заметил один из наших парней, — за немцев агитатор.

Возникло неловкое молчание. Коля смущенно потупился.

— Нет, — сказал тогда Козик, — нехороший он человек, этот твой Кугельман, приедешь ты домой, а он, небось, соберет дружков и начнет над тобой потешаться. Ты ему не поддавайся!

— Правда? — с испугом в голосе спросил Коля. Но, подумав немного, замотал головой и решительно сказал: — Быть того не может. Знаете, товарищи партизаны, есть среди них люди: Вот, честное пионерское, есть! Только они боятся быть людьми. Их фашисты, понимаете, держат и заставляют творить всякие ужасы.

Мы в то время не делали и не могли делать различия между врагами, разделять на хороших и плохих. Но рассказ Коли, его уверенность, заставили нас задуматься.

Я первым прервал раздумье:

Ну, а где же теперь жена твоя, а, Коля? — спросил я.

Он с радостью побежал к своим розвальням.

— Тут, тут она, в сене. Заснула.

Мы тоже пошли к саням. Коля поднял сено, и мы увидели свернувшуюся комочком девочку лет четырнадцати. Веки ее были плотно сжаты, ресницы заиндевели, прядка русых волос выбилась из-под платка и тоже побелела на морозе. Личико — бело и румяно, верхняя губа оттопырилась.

Коля тихонько толкнул ее, девочка проснулась. Увидев нас, она не испугалась, гораздо быстрее Коли признала в нас

партизан, вытащила из варежки теплую руку и, подавая нам по очереди, повторяла:

— Березаева. Березаева. — будто хотела запомнить свою новую фамилию.

Потом вдруг фыркнула и, смущенно рассмеявшись, уткнулась в рукав полушубка.

— Как же вас поп-то обвенчал? — спросил Козик. — Ведь вы ж дети!

Коля серьезно ответил:

— Злынковский поп кого хочешь повенчает, только бы гроши или хороший подарок. Мы ему меду привезли, баранины, мешок картошки. А в церкви мы даже не были и вина не пили. Только привезли подарки и получили справку прямо у него на дому.

— Что ж нам было делать? — рассудительно добавила девочка. — Ведь лучше же пожениться, чем ехать в Германию, верно?

Оба, кажется, не совсем ясно понимали, что сделали, но относились к новому своему положению совершенно правильно: то есть так, будто ничего и не произошло.

— Ну и куда же вы теперь едете, к ней или к тебе? — спросил я Коли?

— Каждый к себе, — поспешно ответила девочка, и Коля подтвердил:

— Мы ж только понарошку женились.

Все-таки мы подарили «молодым» на счастье, что имели: несколько кусков сахару, ей — ручные часы, ему — портсигар. Обещали заехать в гости, но, конечно, так больше и не повидались.

Расставшись с этой парой, мы не столько о них говорили, сколько о «добром немце», который надоумил мальчика на эту проделку. Какие побуждения им руководили? Искренно ли он помогал советским подросткам? И сошлись на том, что есть, конечно, и среди врагов люди, которым осточертела война и мерзости фашизма. Но так их фашизм скрутил, что вряд ли они сами с ним справятся. Придется нам не только свой, но и их народ освобождать от гитлеровской мрази.

Танки «Черниговский партизан»

Был конец февраля 1943 года.

Наше закаленное в боях двухтысячное партизанское соединение возвращалось в родные края. В пути мы встретились с

оторвавшимися в Клетне товарищами, и грозная сила из одиннадцати отрядов двинулась по-хозяйски домой. Колонна, растянувшаяся на десять километров, производила внушительное впечатление, и мы знали это.

Небольшие гарнизоны и «охрана» сел просто разбегались — такую мелочь мы и противником-то не считали. Даже встретившись с колонной гитлеровцев, мы, не задерживаясь, опрокинули и уничтожили ее.

Настроение у людей было приподнятое: опять все вместе, скоро весна, и мы увидим родную Украину. Население встречало партизан, как вестников свободы, в каждом селе просили задержаться хотя бы на денек.

Мы делали по дороге для жителей что могли: врачи устраивали «амбулаторный прием, лекторы читали доклады, показывали кинофильмы, раздавали листовки, детей партизаны угощали сахаром. И, провожая нас, уверенные в скором приходе Красной Армии, люди утирали слезы, но уже не горя, а радости.

Перед нами были знакомые, исхоженные еще в сорок первом и втором годах места. Что с ними стало! Пепелища на каждом шагу, торчат только печные трубы. Навстречу к нам из землянок выходили жители сожженных сел с горькими жалобами, с просьбами о помощи и защите.

Жителям села Ново-Сергеевка мы оказали совершенно необычную услугу: с июля прошлого года они не имели возможности пользоваться центральной улицей села. Здесь по какой-то дикой фантазии гитлеровцы похоронили своих солдат, отправленных, кстати сказать, на тот свет пулеметчиками взвода Ильи Авксентьева.

Вдоль всей деревенской улицы, на точном расстоянии друг от друга высились березовые кресты с навешанными на них касками. Никто здесь не имел права ни пройти, ни проехать. Для того, чтобы попасть в дом напротив, надо было огородами обойти все село.

Целую зиму пролежал на улице пышный покров снега, и никто под страхом смерти не смел ступить на него ногой.

Как автору этой «идеи» — по рассказу жителей, некоему майору Отто Шульцу — не пришло в голову, что он этим оказал очень плохую услугу своим же погибшим соотечественникам! Совершить погребение на проезжей дороге! Да ведь улица-то осталась улицей? В случае надобности с могилами не посчитались бы и немецкие войска.

Мы раскрепостили жителей Ново-Сергеевки и сняли этот дикий запрет. По центральной улице они проводили нас далеко за пределы села.

И вот перед нами легла граница РСФСР и Украины: хорошо знакомая, столько раз форсированная в разных местах река Сновь.

На берегу раскинулось большое село Каменский хутор. Оно стоит высоко над рекой, стены древнего монастыря делают его похожим на крепость. Здесь было решено пообчиститься, отдохнуть после похода и постоять недельки две, чтобы потом со свежими силами начать бить «завоевателей» — показать им снова, что они тут «завоевали».

— С первого взгляда на Каменском хуторе все выглядело благополучно. Ни сожженных домов, ни виселиц, ни могил. Только в бывшей школе — конюшня. Магазин запечатан. В клубе — полицейский пост. Больница обнесена колючей проволокой — превращена в тюрьму. Ничего необходимого для жизни людей нет. Хаты освещались лучинами. Когда мы расположились по квартирам — увидели просмоленные копотью стены, безвылазную грязь, пустые кухонные полки и печи.

Вот! — говорили наши. — Здесь не жгли, не убивали. А подика — поживи!..

С появлением партизан женщины засуетились: везде начали мыть, скрести, прибираться. Только готовить было нечего.

В хате, где расположилась наша группа подрывников, хозяйкой оказалась древняя старушка — бабка Горпина. Она старалась получше нас принять, убивалась, что угостить нечем.

— Была б у меня коровушка — для вашего войска не пожалела бы, прирезала.

— Что ты, бабуся! — отвечали мы ей. — Имеешь ты понятие, сколько нашему войску надо?

— Сколько же, сынки?

— Да коровы три-четыре; и то выйдет грамм по сто мяса на каждого человека.

— Где же вы столько возьмете? — спросила пораженная бабка. — У нас кругом по селам, хоть семь верст обойти, ничего не найдешь.

— Не беспокойся, старая. Мы знаем, где что искать. Еще сама с нами угостишься.

В тот же день хозяйственники доставили из Ново-Ропского «примерного хозяйства» оккупантов тридцать голов крупного рогатого скота. А разведка на дороге Чуровичи — Климово разбила немецкий обоз и явилась с трофеями — привезла несколько бочек керосина.

Ожили люди в Каменском хуторе. Затопили жарко печи, зажгли керосиновые лампы. Впервые за полтора года хозяева наших хат досыта поели, посидели за освещенными столами. В

клубе быстро побелили стену, и тут началась для нашего киномеханика работа! Крути один сеанс за другим! Жители не отпускали его от аппарата, просили показать про разгром немцев под Москвой еще и еще раз. Механика спасли только наши агитаторы — Лидия Ивановна Кухаренко, Озерной, но и они, беседуя с людьми, голоса потеряли.

Слава о счастливой жизни на Каменском хуторе быстро распространилась по всей округе. Сначала из ближних, потом из дальних сел потянулись гости. Пришли даже из районного центра Климово. Все вели себя так, будто возвратилась былая советская жизнь, а многие думали, что следом за нами идет армия и можно вывешивать красные флаги, готовиться к встрече.

Партизаны рады были видеть, что люди вздохнули свободно. Никому из нас не хотелось сразу же нарушать это праздничное настроение напоминанием о том, что враг еще силен, биться еще придется долго. Но нет сомнения — по-настоящему, «про себя», жители понимали это. Иногда же они, чтобы подбодриться, давали себе волю помечтать, почувствовать близость желанного будущего.

Дело дошло до смехотворного случая: после появления свежего, еще пахнущего краской номера партизанской газеты «Коммунист» один восторженный мальчишка явился к нам с деньгами. Он попросил подписать его на «Пионерскую правду»!

Разумеется, нельзя всерьез говорить об этой ошибке двенадцатилетнего ребенка, но она все же характерна для настроений, владевших народом в тылу врага.

Жители, например, основательно заблуждались в оценке партизанских сил. У многих представление о наших возможностях было весьма преувеличено, а часто и сознательно преувеличено. То и дело нас спрашивали: где наши танки, много ли их?

Эти разговоры о танках всегда очень занимали меня. Как отвечать? Вообще мы слухов о своей мощи никогда не опровергали, даже поддерживали их, в расчете на то, что молва обязательно дойдет до врага. Это имею смысл. Но как быть, когда свой человек, земляк, душой болеющий за наше общее дело, напрямик спрашивает тебя: годится ли его сарай, чтобы послужить гаражом танку? Не следует ли разобрать стенку?

Что сказать такому человеку? Посмеяться — разбирай мол, если ты такой дурень! Нет, совесть не позволяет. Откровенно признаться, что танков нет, не было и быть не может, — тоже не хочется! Такое объяснение вызовет разочарование. А вот именно этого-то как раз и не следовало допускать. Ведь каждый коммунист в партизанских условиях должен быть не только

бойцом, но и умелым агитатором. Конечно, я могу объяснить, что нам танки держать невозможно; где брать горючее, как скрыться в лесу, как форсировать болото?..

Беседа коммуниста, партизана-агитатора должна мобилизовывать, поднимать людей. Плохо, когда она водяниста, растянута, беспредметна.

Оратором я себя никогда не считал. Мог выступить по наболевшему вопросу на собрании, но если давали партийное поручение провести беседу — всегда охотно променял бы его на другое, пусть более сложное. Я выступать стеснялся. И дело шло вяло, почему-то все больше вертелся вокруг общих мест — как раз вокруг того, что я сам терпеть не могу.

В Каменском же хуторе я сделал открытие — для себя, конечно. Меня натолкнул на него мальчик. Тот самый, что просил подписать его на «Пионерскую правду». Эта нелепая просьба дала мне, тоже нелепую на первый взгляд, мысль: «А ведь могут быть танки и у партизан!»

— Как так? — спросил меня комиссар Дружинин, когда я обратился к нему за советом.

И я объяснил свою думу: «Ведь собирают же в советском тылу средства на танки и самолеты? Ферапонт Головатый живет в Саратове, не воюет, а его самолет бьет врага. И не один Головатый таким способом помогает фронту. Почин его подхватила вся страна. Может, и мы в тылу врага организуем это дело?»

В результате этого разговора Дружинин направил меня побеседовать с населением. И вот на сей раз я в качестве агитатора почувствовал себя хорошо и свободно. Я видел улыбки, слышал вопросы, замечал живой отклик на свою речь. Люди давно не участвовали в проведении больших общественных кампаний, истосковались по коллективной жизни, и разговор на общественную тему увлек их всех. Я впервые ощущал, что владею массой, достиг полного контакта с ней. Самое же большое вознаграждение для меня заключалось в том подъеме патриотизма, который вызвала наша беседа.

— Как это здорово получается! — говорили колхозники. — Мы здесь угнетенные, а наша сила и наш рубль достают-таки фашиста на фронте!

— Первый наш танк пусть назовут «Климовским колхозником»! — крикнул кто-то.

Но предложение было тут же отвергнуто. Большинство пожелало, чтобы первый танк был окрещен в честь партизан. Так и постановили: собрать деньги на танк «Черниговский партизан».

Советовали мне и в каком селе надо побывать; спрашивали,

сколько стоит танк и какая его сила, и от куда-де мы узнаем, когда он будет построен и отправится бить ненавистного врага.

Некоторые успевали сбегать домой принести — кто деньги, кто кольцо, кто крестик. Несли и медь и серебро — кто чем богат.

Так начался массовый сбор средств на танковую колонну. Партизанские агитаторы пошли по соседним селам, а оттуда к нам — новые потоки людей.

Когда населению стало известно, что все собранное повезет в Москву самолет — в Каменском хуторе просто спать перестали. Боялись пропустить момент прибытия самолета.

Мы к этому делу уже были привычны, но колхозники жили как бы в ожидании чуда. Оно и произошло нормальным порядком.

После разгрузки боеприпасов были вскрыты ящики с подарками. Тут нашлись и папиросы, и печенье, и сахар, и конфеты, как говорится — «что угодно для души». Разумеется, наши люди были рады угостить своих хозяев.

Хорошо помню, что было с нашей бабкой Горпиной. Старушка долго смотрела на ровные, белые края рафинада, поворачивала кусочки то широкой, то узкой стороной. Она так вглядывалась в маленькие квадратики, будто видела в них что-то очень важное. Кусочек московского сахара, видно, стал для старой колхозницы знаком того, что мечта ее скоро осуществится: придет внук с фронта, оживет колхоз, люди станут веселы, запоют девушки песни, а она снова сможет пойти в амбулаторию, где ей полечат больные ноги. И многое-многое, наверно, привиделось ей.

Неожиданные обстоятельства прервали наше спокойное житье в Каменском хуторе. Командованию стало известно, что двадцать седьмого февраля гестапо назначило в районном центре Корюковке казнь двухсот советских граждан. Люди, подозреваемые в связи с партизанами, были заключены в тюрьму.

Два отряда нашего соединения получили приказ выйти в Корюковку, взять штурмом тюрьму.

«Новый вид» оружия

На штурм Корюковки в ночь на 27 февраля вышло триста пятьдесят человек. Двигались молча, без обычных шуток. Волновались. Сама операция не представляла для нас ничего необычного, но беспокоила судьба заключенных. Успеем ли? Тут, как никогда, требовалась быстрота и точность. Ведь фашисты используют малейшую возможность, чтобы расправиться со

своими пленниками раньше, чем мы раскроем двери тюрьмы. Каждая минута промедления могла стоить узникам жизни.

По дороге узнали, что в Корюковке сейчас уже не сто пятьдесят гитлеровцев, как первоначально донесла разведка, а много больше. Но мы были уже у цели.

Мне очень хотелось принять участие в штурме тюрьмы, но штаб решил иначе: дал группу в тридцать человек и задание; «Пойти в обход и организовать заставы на грунтовых дорогах Корюковка — Алексеевка и Корюковка — Низковка, чтобы оттуда не могли прибыть в город новые силы оккупантов. Захватить железнодорожную станцию».

Конечно, на такое дело надо бы взять хотя бы сотню бойцов. Однако при создавшемся положении пришлось довольствоваться тем, что дали. Я полагал сначала взять станцию, а потом расставить посты на дорогах. Это нужно было сделать к пяти утра, когда наши ворвутся в город. Но вышло не совсем по плану.

Проводник из корюковцев взялся провести нашу группу к вокзалу кратчайшим путем.

Шли уже довольно долго, и все какими-то огородами, хотя проводник уже три раза сказал, что привокзальная улица рядом. Я пригляделся к нему. Вижу — человек вне себя от страха. Пугается даже фонарных столбов, каждый шорох его прямо-таки парализует. Эти признаки растерянности мне были хорошо знакомы по десятку других случаев.

Я показал ему на циферблат часов и по добру предупредил, чтобы он перестал играть в прятки по огородам. Время близится к сроку, а мы ни с места!

Вообще я всегда старался влезть в шкуру необстрелянного человека, понимал, что ему нужно время, чтоб прийти в себя, — все мы люди, умирать не хотим, и надо иметь снисхождение к новичку. Но в этих обстоятельствах заниматься перевоспитанием некогда.

Пришлось наставить пистолет проводнику в лоб и сказать:

— Выведешь к вокзалу? Говори сейчас же, не то расстреляю, как собаку!

Проводник мигом пришел в себя, повел нас к цели. Но мы опоздали. Взвилась белая ракета, и раздалось три выстрела из нашего батальонного миномета: условленный сигнал к наступлению.

В городе началась стрельба. Четко работали наши автоматчики. Мы знали — они окружают жандармерию и тюрьму, полагая, что мы тоже не зеваем.

Нечего теперь и думать, чтобы всем вместе идти на станцию. Пришлось менять план. Я быстро развел людей на заставы к

дорогам и остался со своими испытанными друзьями-подрывниками Володей Павловым и Васей Коробко. Нам троим предстояло взять вокзал.

Прежде всего мы метрах в пятистах от вокзала заминировали железнодорожное полотно. Потом перебежками стали двигаться к цели.

На вокзале было тихо. «Может быть, — думал я, — там нет сильной охраны, и мы действительно сумеем втроем захватить его?» Я поделился мыслью с товарищами.

— Пошли! — согласились оба.

Мы пробирались дворами пристанционных строений. Вдруг из одного дома выбежала немолодая женщина и кинулась к нам.

Она умоляла нас не ходить на вокзал — там семьдесят пять гитлеровцев и легко нас троих побьют:

— Боже мой, боже мой, — быстро повторяла она, — что же это делается? Уже десять дней, как у нас идет расстрел ни в чем не повинных людей. И сегодня с утра опять стреляют!

— Не волнуйтесь, гражданочка! — ответил я ей. — Будет порядок. Сейчас идет бой. Наступают партизаны.

Она заплакала.

— Помоги им бог тюрьму открыть! Ведь там мой брат.

Тут отважный пятнадцатилетний подрывник Вася Коробко солидно сказал этой пожилой женщине.

— Расстрела не успеют! Тюрьму, тетенька, мы сейчас возьмем!

— Как вы? Ведь вы же здесь, и вас так мало!

— Мы и здесь и там. Короткова знаете?

Женщина всплеснула руками:

— Неужели правда? Неужели жив Федор Иванович?

— Слышите выстрелы? Это он ведет партизан на тюрьму.

Незнакомка оказалась работником вокзала. Она по нашей просьбе повела нас огородами, кустарником к вокзалу. Там мы велели ей идти домой и ничего не бояться: сейчас мы начнем работать.

На вокзале — по-прежнему тишина. Огляделись. Под навесом пакгауза лежат тюки прессованной пакли, рядом с пагкаузом стоит поезд. На открытых платформах — новенькие немецкие грузовые автомашины. А на той стороне пути, в пятидесяти-шестидесяти метрах, лежит цепь гитлеровских солдат. — Они лежали к нам спиной, с пулеметами, автоматами, винтовками. Ожидали, что партизаны появятся из города и пойдут по оврагу. С правой стороны, у ворот лесного склада, установили пулемет и не спускали с Корюковки глаз.

Как нам втроем разогнать семьдесят пять человек и захватить

станцию? Вопрос сложный.

Мы решили для начала применить хитрость. Наделать побольше шуму. Залезли на платформы, груженные машинами. Тихонько приподнимая капоты, положили к каждому мотору по две буровые шашки.

Когда начали подводить бикфордов шнур, мне на ум пришла идея: произвести взрывы с такими промежутками во времени, какие получаются при стрельбе из артиллерийского орудия. Очень этой идеей увлекся Володя Павлов. Как студент-мостовик он взялся произвести расчет.

Мы нарезали бикфордов шнур кусками различной длины, подожгли их все одновременно. Потом спрыгнули, спрятались за каменным фундаментом пакгауза.

Взрывы последовали один за другим: будто открыли огонь из скорострельной пушки. Осколки моторов посыпались на лежащих в цепи гитлеровцев. Этот обстрел еще продолжался, когда мы с криками «ура» побежали к вокзалу.

Моя выдумка имела успех. Работала наша «артиллерия», дымили подожженные нами тюки с паклей, вспыхнул бензин в баках автомобилей. Свет пожара и грохот взрывов создали видимость большого наступления. Настигнутые с тыла, гитлеровцы бросились в овраг и побежали в сторону Низковки, а там их встретила автоматным огнем наша застава.

Мы остались хозяевами вокзала. Можно было начинать обычную работу. Не задерживаясь ни секунды, мы подорвали станцию, потом склад лесоматериалов и, так как тол еще остался, несколько переводных стрелок на путях.

Частые, но точно размеренные взрывы произвели впечатление и на Короткова. Он решил, что противник встретил мою группу артиллерийским огнем, и послал на помощь группу Остроумова со станковым пулеметом.

А мы продолжали работать.

Дела было еще много, когда какой-то оставшийся у склада охранник выстрелил из винтовки и ранил меня в ногу. Покончить с ним было недолгим делом, но сапог у меня наливался кровью — рана была в мякоть. Мне было очень досадно, что в моем первом ранении виноват какой-то дурак, открывший огонь без всякого смысла. Товарищам об этом ранении я ничего не сказал: нас было только трое, и следовало беречь спокойствие друг друга. Я продолжал работать, то есть поджигать при помощи пакли и бензина разные склады и служебные помещения.

Столбы черного дыма вздымались к небу. Горели два бензосклада. Станцию нельзя было узнать — так мы похозяйничали на ней. Тут-то и пришло подкрепление.

Остроумов и его группа сразу оценили положение и поняли, что им здесь делать нечего.

— Мы уже по дороге видели, — сказали ребята, — что наши подрывники раскурили свои трубки. А где же остальной народ?

— Что в городе? Как с тюрьмой? — вместо ответа спросил я.

— Порядок. Взяли. — И Остроумов рассказал нам, как много родных и близких партизаны нашли среди освобожденных людей. Общую радость омрачила только гибель командира взвода Ступака. Он вел своих бойцов на штурм и упал, сраженный пулей, не дойдя двадцати шагов до дверей тюрьмы.

Когда же заключенные были уже выпущены — среди них оказались двое детей Ступака. Мать их была расстреляна фашистами несколько дней назад. Медсестра Нонна Погуляйло позаботилась о том, чтобы ребята не увидели тела своего отца.

После минутного молчания Остроумов, видимо обеспокоенный, снова спросил:

— Где же, однако, все твои люди?

Я молча указал на подходивших к нам Васю Коробко и Павлова.

— Но ведь тебе дали тридцать человек.

— А-а-а, ты о тех. — понял, наконец я. — Те двадцать семь товарищей прикрывают дороги. А тут, на вокзале, мы втроем управились. Сделали кое-что. Видишь?

— Да кто же всех немцев побил?

— Новый вид оружия! — ответил подошедший в эту минуту Вася Коробко. — Знаете — такая партизанская артиллерия. Идея Артозеева, конструкция Павлова.

Голос Васи заглушил сильный взрыв: это, как мы потом узнали, подорвалась на нашей мине автодрезина начальника станции.

Одновременно мы увидели над городом зеленую ракету — знак отхода.

Семьи Станченко

Я познакомился с этой семьей до войны. Мне довелось поехать в канун Нового 1939 года в командировку. Тридцать первое декабря застало меня в Семеновском районе, в селе Блешня.

Признаться откровенно, было немного досадно, что этот праздничный день, когда бывает так хорошо среди друзей, придется провести вне дома. Ведь именно в тесном кругу приятно

помечтать о будущем, пожелать нового счастья тем людям, о которых тебе известно, чего они сами ждут.

Итак, что говорить, — я был огорчен. Разумеется, я не собирался проводить новогоднюю ночь в одиночестве — ведь я находился не в чужом краю. Еще днем я получил немало приглашений от колхозников, но уже близился вечер, а я не знал, куда пойду. Одним словом, настроения не было.

Председатель сельсовета товарищ Алексейцев заметил, что я гляжу невесело, и пригласил меня идти вместе с ним, а мне было в общем все равно.

Пошли. Деревня в пышных белых сугробах была хороша как на картинке. Хаты чистые как снег, все окошки светятся теплыми огоньками. А тут еще из труб валит белый, ясно видный на фоне темного морозного неба дым. Из каждых сеней так и тянет пирогами. Хоть и был я не в духе, а залюбовался этой тихой, мирной ночью, веселыми огоньками, горевшими в домах, веселыми лицами людей!

По дороге оказалось, что я иду вовсе не к Алексейцеву: он был приглашен к какому-то Станченко и меня прихватил. Я даже усомнился: удобно ли?

— Что вы! — замахал руками председатель сельсовета. — Это такие люди. Сами увидите!

И пока мы дошли до хаты Станченко, Алексейцев успел рассказать краткую историю этой семьи.

— Наше село, — говорил он, — было когда-то местом ссылки. Тут возле реки Сновь велись разработки камня. На карьерах и отбывали наказания отцы и деды многих наших односельчан. Станченко тоже ведет свой род от ссыльного с каменоломни.

Известно, какой мог быть у него достаток. Бедный был мужик. Совсем, можно сказать, нищий. И так и сяк бился: батрачил, плотничал, во все тяжкие пускался, да разве можно было в те времена простому работнику выход найти? Хоть семи пядей во лбу будь, а толку — чуть!

Ну вот, а был он сам собой видный, солидного поведения. И полюбила его хорошая девушка, не посмотрела на бедность (и сама была небогата), пошла замуж. Надеялись вдвоем своими трудами выбиться. Только — куда! Пошли у них дети, и впала семья в такую нищету, что только разве «христа ради» не просили.

Когда начал народ собираться в колхозы, Станченко пошли первыми и стали работать не за страх, а за совесть. Кроме того, и в другом оказали содействие колхозному делу: тут ведь по началу всякий диод попадался. И кулаки, и подкулачники. Свою вредность наружу не выказывали, а не пойман — не вор.

Станченко с большим умом помогал выводить их на чистую воду. Он ведь пошел в колхоз не только руками работать — душу с собой принес.

Вот теперь и смотрите, что из этой бедняцкой семьи стало. Дочки в интеллигенцию выходят, учатся в Новгород-Северском педагогическом институте. Сам Дмитрий Мартьянович и Татьяна Михайловна по-прежнему работают в колхозе. Широкой души люди, насчет гостеприимства не беспокойтесь. Бедность сносили, но до богатства не жадны. Как у родных будете!

Когда мы подошли к дому, я уже знал, что старшие дочери Станченко скоро окончат институт, что у одной из них жених-летчик, и многое другое.

Удивляться тому, что бедняки стали при колхозном труде зажиточными, не приходилось. Но, пожалуй, в том проявлении зажиточности, какое увидел я в этой семье, было что-то свое, особенное.

Ведь богато жили у нас многие, но что греха таить: встречались частенько и скупые, и прижимистые, и неряшливые хозяева.

У иного и амбары полны, а на столе — скука. И свет электрический в хате горит — хата же все равно серая. Одни по старой привычке еще любили прибедняться, другие же просто не приобрели еще вкуса к культуре.

В хате Станченко меня приятно поразило особенное хозяйское щегольство: каждая дощечка светлого, как яичный желток, пола, каждый ярко вышитый рушник на стене, горшок цветов на окне будто говорили: «Смотрите, добрые люди, как мы ладно работаем, как чисто, славно живем.»

У Иных хозяев будто все в порядке, а глянешь в сени — навалены старые решета, сапоги, палки, тряпки, — будто сени уже не дом. А то еще: украсят кровать горой подушек — мал мала меньше, чуть ли не до потолка, — и думают, что достигли высшего благополучия. Это считается «уют». Но частенько при том, что подушки взбиты со всей старательностью, из-под прикрывающих кровать подзоров торчит пыльный хлам.

У Станченко ничего подобного нельзя было заметить. Чисты были не только комнаты, но и сени. Постели не поражали изобилием пера и пуха, но зато вместо обычного сетевого репродуктора, какими довольствовались многие, стоял хороший радиоприемник. Был и патефон. Много книг.

Большой портрет товарища Сталина был повит свежей зеленью, перевязанной цветными лентами, какими украшают свои венки украинские девушки. Куда ни глянь — все с душой, с думой.

Сам Дмитрий Мартьянович оказался богатырем. К нему очень шла спокойная, приветливая манера разговора с привычкой неторопливо поглаживать великолепные усы, из-под которых он попыхивал трубочкой. Вышла нас встретить и хозяйка — Татьяна Михайловна, — аккуратно причесанная на прямой ряд женщина с цветущим, свежим лицом, с веселыми ямками на щеках, с приветливой улыбкой. Станченко хорошо выглядели один подле другого. Он в богато расшитой рубахе, — она в такой же кофте. Оба держались как люди, уверенные, что все у них в порядке и жизнь идет как надо.

Из горницы в кухню и обратно, словно их носило сквозняком, бегала стайка девчат в нарядных шелковых платьях. Гремели звуки праздничного концерта из Москвы, и, видно, молодежи было очень весело стучать под музыку вилками, ножами и каблучками. С кухни то и дело раздавались взрывы хохота. Было слышно, что кто-то уронил тарелку: смех. «Вернись, ты не то блюдо взяла!» — кричал чей-то голос. Опять смех.

И бывает ведь так — у меня изменилось настроение. Я был уже рад, что попал в этот дом. Сразу понравились и хозяева, и их славная молодежь, и дружески-уважительный тон между родителями и детьми.

За угощением, танцами и пением мы весело провели время до утра. Петь тут все были мастерицы, а я это очень люблю. Помню, что несколько раз приходили соседи с поздравлениями, молодежь пела под окнами; потом мы все тоже ходили поздравлять; помню, что из ближней хаты прибегали за «подкреплением» — не хватило не то выпивки, не то закуски, и Татьяна Михайловна выслала туда целый обоз.

Пожалуй, ничего более существенного об этом вечере я не мог бы рассказать. Просто мне запомнились радушные хозяева и их дочки; очень понравилось все, что они детали: как говорили, как пели, как открыто, широко угощали.

Но прошел не один Новый год. Разгорелась война. Фронт давно перекатил через Украину. К нам, в партизанское соединение пробиралось много окруженцев, нашедших временный приют в селах. Связные помогали им найти путь к партизанам, и бойцы снова становились в строй.

Среди таких кадровых военных у нас особенно выделялся взвод пулеметчиков, возглавляемый старшим лейтенантом Ильей Авксентьевым.

Это была отлично обученная и организованная группа людей, известных к тому же большой храбростью. Авксентьева с его ребятами всегда бросали на самые ответственные участки боя.

Взвод Ильи Авксентьева у нас в соединении знали все. Но,

понятно, не каждому были известны подробности того, как эти люди попали к нам. Не знал этого и я, тем более что сам пришел к Федорову после них.

И вот как-то раз меня послали с одним из бойцов Авксентьева в село Блешня. Товарища звали Борис Кочинский; он с этим селом держал постоянную связь. Я шел с ним впервые.

Мы знали, что в Блешне погибла группа коммунистов — подпольщиков вместе со своим руководителем — председателем колхоза Шакаловым. Их выдал староста Устименко. После провала группы связь с нами осуществлялась через беспартийного колхозника.

По дороге я спросил Бориса, что знает он о людях, к которым мы идем.

— Люди настоящие! — ответил он. — Они дали нашей группе приют. Два месяца поили, кормили, пока мы там скрывались. Связали с секретарем райкома Тихоновским. Через них мы и попали в отряд. А ведь это дело не простое. Нас было двадцать шесть человек, и все с оружием. Я думаю — больше проверок не требуется.

Тут же я узнал, что фамилия их Станченко. И вспомнилась мне встреча Нового года. Я обрадовался, будто услышал о родных. И рассказал Борису о пашем знакомстве. Тут Кочинский начал выспрашивать меня мельчайшие подробности об этой семье, каких я и знать не мог. Его интересовал и ссыльный дед, и дальние родственники.

— Ну как, по-твоему? — повторял он. — Ведь прекрасная семья? Ты ведь знал всех до войны! Замечательная семья, верно?

Он и сам знал Станченко не хуже меня. Его интерес к разговору объяснился позже.

Мы пришли в Блешню, и я снова переступил порог дома, где когда-то был так гостеприимно встречен. Хозяева меня, конечно, не узнали. С трудом узнал стариков Станченко и я. Передо мной были изможденные люди. Даже глаза казались другими — так сильно изменилось их выражение. Только усы Дмитрия Мартьяновича да гладкая прическа Татьяны Михайловны были все теми же, лишь сильно поседевшими. Девушек дома не было.

Я не стал напоминать о нашем коротком знакомстве. Больно было, глядя на них, сделать это. Больно было видеть даже и самый дом без украшавших его книг, вышитых рушников. На стол, который я видел когда-то обильно уставленным, Татьяна Михайловна с прежней хозяйской заботой поставила кувшин с квасом и миску с ржаными плоскими лепешками.

Я оглядывал при свете маленькой коптилки по-прежнему чистую, но пустую, будто здесь уже не жили люди, горницу. И

вдруг на пустой стене увидел гирлянду свежей зелени, повитую лентами, какими украшают свои венки украинские девушки.

И тут же я с благодарностью понял мысль хозяев, постоянно освежавших гирлянду на пустой стене. Они сами и всякий, кто бывал у них прежде, продолжали видеть портрет на месте; грубая сила, заставившая снять изображение дорогого человека, не могла унести его образ из дома.

И явственно вспомнился мне Дмитрий Мартьянович с кружкой вина в руке. Как торжественно стоит он за накрытым столом и провозглашает новогодний тост за колхозное счастье.

И когда я вспомнил это — Дмитрий Мартьянович показался мне не таким уж старым и немощным. Да и в самом деле, в семье и теперь, как и в мирные, дни, царило согласие, кипел труд: все пятеро служили Родине на новом, боевом посту.

Хотелось мне посмотреть на трех сестер, но в эту ночь мы не дождались их. Девушки по заданию нашего командования ходили в разведку до самых Брянских лесов. Все было хорошо продумано и организовано в этой чудесной семье.

Дмитрий Мартьянович уже передал нам все, что нужно; мы поговорили, угостились и поблагодарили. Пора было уходить. Но Борис все медлил: ему хотелось узнать последние данные из Семеновки — оттуда должна была вернуться младшая Станченко.

Я считал это лишним: лучше сходить еще раз, чем рисковать, оставаясь до утра. Старики меня поддержали. Тем более, что их сосед был полицаем. Борису пришлось попрощаться.

Прошло несколько дней. Соединение собиралось в рейд. Вдруг в лагере появилась младшая сестра — Ефросинья, или, как ее звали дома, Проня. Узнав о ее приходе, я удивился и обеспокоился: девушка никогда к нам не ходила, а все, что нужно, передавала через родителей нашим связным.

Проню, конечно, окружили старые друзья — весь взвод Ильи Авксентьева. Кто-то от широты чувств пытался обнять и поцеловать девушку. Она испугалась чуть не до слез.

— Что случилось? Как сестры, старики? — засыпали ее вопросами.

— Та-а ничего. — отвечала Проня. — Только нельзя ли мне до вашего командира? Просьбу имею.

Ребята проводили ее к Федорову.

Оказалось, что сосед полицай, продолжая выслеживать Проню, обратился к ней уже с прямой угрозой «развязать язык». Он подозревал девушку, так как она чаще сестер уходила из дома. Проня, боясь раскрыть семью, сказала, что уходит к несуществующей тетке в Белоруссию, а сама — к нам. Она попросила Федорова принять ее в отряд.

Надо было видеть, с какой отцовской заботой экипировал новую партизанку взвод Авксентьева! Кто оделил ее ложкой, кто ремнем, кто походной сумкой. Борис Кочинский дал ей свою армейскую шапку. Как ни нуждались люди в самом необходимом, а для дорогого друга у каждого нашелся подарок от всего сердца.

С тех пор Ефросинья уже больше не расставалась с нами. Частенько старые партизаны поглядывали на новичков — как выдерживает новый член коллектива жизнь, которая со стороны рисовалась, быть может, в более светлых красках? Пулеметчики Авксентьева пристально следили за медсестрой своего взвода Станченко. Они чувствовали ответственность за нее; бывало то один, то другой поможет на переправе, облегчит ношу. Она проходила тяжелый путь с честью. Мужественно вела себя Проня и в боях. Делала все тихо, без лишней бойкости — очень оказалась скромной и молчаливой девушкой, не любила выделяться.

Но имела Проня одно качество, один талант, которым она затмевала любительниц шумного успеха: она пела.

Затянет бывало песню. Голос мягкий, глубокий, и такая в нем свобода, с такой легкостью поведет мелодию, что все кругом замрут и только дожидаются, когда подтянуть хором, чтобы вместе с нашей певицей испытать ту радость, которую дает человеку музыка.

Однажды Проня простудилась, охрипла: все наши певцы почувствовали себя «не в голосе», но первым потерял голос, конечно, Борис Кочинский.

— Не понимаю, — решил я как-то подшутить над ним, — как это ты теперь живешь без разведочных данных из Семеновки?

— А что такое? — сделал вид, что не понял, Борис.

— Как же. — взялся я объяснять, — у тебя такая привязанность к семье Станченко.

— Ничего удивительного, — довольно сухо ответил Борис. — Они спасли нам жизнь, а это не забывается. Помню, ты и сам говорил, что они — замечательные люди.

Да, все любят по-разному: один спешит поделиться с друзьями, выказывает девушке внимание без стеснения, иногда при общем одобрении окружающих. Такой человек сто раз спросит у всех, какова его избранница, и сам радуется, и других веселит.

Но иные, вроде Бориса, долго таятся. Я никогда не видел, чтобы он старался придвинуться к Проне у костра или, пользуясь тем, что они жили по соседству, засидеться возле нее с разговорами, как это случалось с другими товарищами. Иной раз такой бойкий ухажер не только всем, а даже своей девушке

надоест. Люди кругом спят, а он гудит, как шмель, над ее ухом. Вот и слышишь в темноте мольбу о помощи:

— Товарищи, да скажите вы ему, чтобы спать шел. Он меня не слушается, прямо наказание, ей-богу! — И под общий хохот вздыхатель получал приказание командира «отойти на заранее подготовленные позиции».

Еще немало потешали всех наши влюбленные тем, что об их чувствах становилось известно по преувеличенной заботе о туалете. Парень ходил подолгу небритый; о том, чтобы сапоги почистить, и в мыслях не было; а тут — пожалуйте — бороду скоблит чуть не каждое утро, одежонку чинит, перетряхивает, на голенища наводит лоск. Диагноз ясный — влюблен.

За Борисом подобных перемен не замечали. Кадровый военный, окончивший ленинградскую офицерскую школу, он был всегда подтянут, аккуратен и, насколько мыслимо в наших условиях, чист. Таким образом, внешние приметы влюбленности отсутствовали.

Но партизаны — такой народ, что от них ничего не скроешь. Не один я — многие заметили, какая ладная получается пара, когда высокий, худощавый блондин и румяная черноглазая девушка нечаянно оказывались рядом.

Однажды я случайно услышал их разговор, из которого понял, что не так-то уж они недогадливы. Все у них было решено.

Это был собственно не разговор, а пламенная речь «молчаливого» Бориса. Проня слушала. Лейтенант рассказывал ей об опере. Потом перешел к другим театрам, музеям, просто улицам. Он описывал ей Ленинград. Можно было заслушаться: крепко любил он свой город.

Но когда Борис стал рассказывать в подробностях, какую они там поведут интересную жизнь, и спросил у Прони, не начнет ли она серьезно учиться пению, девушка задумалась. Затем робко начала:

— Петь — это хорошо. Только, Боря, знаешь, мне работа нравится другая. Знаешь, ребят надо учить. И потом, Боря, нельзя ли как-нибудь здесь, чтобы ты к нам, а? Тут отец, мама. Село у нас — сам видел — разрушено. А ребята — подумай — ведь два года в школу не ходят. Людей у нас не хватает. А учить детей надо. Пение? Что ж? Клуб наладим. Кружок будет. Может, сумеем и оперу исполнить, как ты считаешь, а? Правда, Боря?

Борис удивительно быстро согласился с ней.

«Эх! — подумал я тогда. — Поздравил бы от души стариков Станченко с такой дочкой да с ее счастьем!»

В тот же день я узнал, что пора действительно поздравлять.

Мы сидели с комиссаром Яременко за деловым разговором.

Вдруг являются Борис и Проня: у них к комиссару личное дело.

«Венчаться» пришли! — тихонько шепнул мне Яременко, когда я выходил из землянки.

Яременко доложил в штаб — Федорову, и наши молодые, как и желали, получили официальное разрешение командира на женитьбу. Такое уже было время, что даже загсовские вопросы решались военным и партийным руководством. Алексей Федорович был уже чьим-то «кумом»; почему бы ему не стать посаженным отцом?

Так сложилась па моих глазах, и можно сказать — счастливо сложилась, судьба самой младшей Станченко.

Тем временем, наступила осень, мы готовились в рейд. Соединение окружили крупные силы карателей и ежедневно навязывали нам бои. У нас появились тяжело раненые. Самолеты же не могли сесть на партизанский аэродром.

Предстоял прорыв вражеского кольца, тяжелый бой и очень трудный переход через болота. Командование, прежде чем выйти в рейд, решилось на крайнюю меру — выделить группу тяжело раненых и оставить их на попечение наших друзей в селах. Эта группа — с охраной, с опытной медсестрой Марусей Товстенко, с командиром, бывшим секретарем райкома Тихоновским — отправилась в сторону Блешни. И, конечно, Тихоновский рассчитывал на помощь семьи Станченко.

Всех командиров и бойцов очень волновала судьба раненых. Несмотря па то, что другого выхода не было, душа у всех была неспокойна. Прощаться пришлось надолго. Рейд был дальний — в белорусские леса, потом в Брянские. Сколько времени пройдет, пока воротимся?

И вот прошла зима. Зима с тяжелыми переходами, боями, окружениями, прорывами, морозом, голодом. Весной 1943 года мы снова на родной Черниговщине.

Лишь только соединение попало в свои старые районы, Попудренко тотчас послал людей на поиски группы Тихоновского. Наконец-то мы узнаем, что с нашими ранеными! Увидим ли их? Разведчиков, ушедших в Блешно, все ждали с большим нетерпением.

И вот что выяснилось.

Станченко, конечно, взялся бы спасти эту группу, как спас он в свое время двадцать шесть бойцов Авксентьева. Но перед самым приходом наших в Блешне разместились более сотни карателей. Старики Станченко и две их дочери сумели устроить у односельчан только женщин из группы Тихоновского. Одна из них была с грудным ребенком, а трое — беременных. Раненых же взять в село стало невозможно.

Станченко помогли построить в лесу землянку. Старик сложил там печурку. Татьяна Михайловна послала посуду — миски, ложки. И всю первую неделю жизни наших в лесу семья Станченко помогала им. Доставали продовольствие, перевязочные материалы, успели познакомить Тихоновского, Марусю Товстенко с верными людьми в самой Блешне и в других селах.

И вдруг — Тая Станченко прибежала в лес, к нашим, вся в слезах. Ночью гестаповцы увезли ее родителей и старшую сестру Лену. Тая спаслась случайно — она ходила в больницу за медикаментами для наших, и друзья ее предупредили, чтобы не появлялась домой.

Что было делать? Помочь Станченко нельзя уже ничем. И перед Тихоновским встал серьезный вопрос: как быть дальше с ранеными? Если гестаповцам удастся под пытками добиться от кого-нибудь из троих арестованных, где скрываются раненые партизаны, — всей группе конец. Уходить? Куда? Как? На руках люди в тяжелом состоянии, с высокой температурой. И так-то их доставили сюда с огромным трудом.

Сами раненые просили никуда их больше не носить: «Лучше погибнем тут, двигаться больше нет сил».

Тая Станченко плакала и клялась — уверяла, что отец, мать и сестра не выдадут.

А наши партизанские правила предписывали Тихоновскому место обязательно сменить. Он нарушил эти правила, и вся группа осталась на месте. Судьба наших людей зависела теперь только от мужества и стойкости Станченко.

Прошел день, другой. Некоторые волновались; другие твердо верили, что замечательные люди, уже столько раз спасавшие партизан, не предадут.

Миновали все сроки, и в землянку к нашим никто не пришел.

Станченко остались верными долгу до конца.

Через несколько дней после встречи с группой Тихоновского, в первых числах марта 1943 года, Федоров повел своих партизан в далекий рейд. Соединение разделилось. Часть его была оставлена на Черниговщине для продолжения борьбы с фашистами в нашем краю. Тая Станченко осталась с нами, а Проня с Борисом ушли.

В этом рейде Проне пришлось перенести еще один тяжелый удар. В бою под Ковелем погиб наш дорогой товарищ, отважный разведчик — лейтенант Борис Кочинский. В двадцать два года Проня стала вдовой и матерью.

Это было уже незадолго до соединения С частями Красной Армии. Недалек был и великий час победы.

Прошел не один Новый год. Но не погас свет в окнах дома Станченко. В Блешне и сейчас живет Ефросинья Дмитриевна, учительствует в родном селе. Она растит светловолосого, стройного, похожего на отца сынишку — маленького Бориса Кочинского. И Проне и Тае есть о чем рассказать мальчику, а он жадно слушает все о партизанах, о своем отце. И обе молодые женщины с достоинством поддерживают честь фамилии Станченко — простых колхозников, которые отдали за счастье народа самое дорогое — жизнь.

В добрый путь, товарищи!

Мы вернулись в знакомые Елинские леса, из которых с таким трудом вырывались прошлой весной. За этот год много было пережито, много потеряно, но и приобретено немало. В местах, где мы знали каждое болотце, каждую тропку, особенно сильно чувствуешь, что сделались мы опытней, старше, сильнее. Да и численно выросли почти втрое.

Настал март. Новая весна была к нам куда ласковей прошлогодней. Растущие успехи Красной Армии, ожидание командира, который со дня на день должен был вернуться из Москвы, — все это вселяло такие радостные надежды, что, щурясь на весеннее солнышко, каждый партизан видел в лучах его вестников грядущей победы.

На этот раз возвращения Федорова из Москвы ждали с особым нетерпением: сколько будет новостей, сколько узнаем подробностей о фронте, о нашем советском тыле!.. Теперь-то уж командир сможет сказать, когда Армия дойдет до наших краев. Многие партизаны уже всерьез подумывали о встрече с семьями в родных городах и селах. Пусть через два, через три месяца, но ведь не позже. Точного срока, определенности — вот чего жаждали даже самые рассудительные и выдержанные из нас.

И вот, в ночь на пятое марта, над Елинскими лесами зашумел мотор. Долгожданная машина приземлилась на той же поляне, где мы когда-то принимали первый самолет с Большой земли.

Через час после встречи, когда не улеглось еще первое волнение, в лагере стали говорить, что не зря Федоров сразу же заперся в штабе и заседает с командирами: он привез из Москвы какое-то особо важное задание. Нам предстоит совершить большие дела. Толковали вкривь и вкось, гадали — что бы это могло быть.

— Уж не будем ли мы брать вместе с Красной Армией Киев?

И, как это бывает при подобных разговорах, нашлись, конечно, стратеги, которые указывали, каким путем будем идти, по какому плану станем штурмовать столицу Украины.

Но вот, наконец, приказ — встать в строй. Спорщики и гадатели подравниваются, выразительно поглядывают друг на друга: сейчас мол увидишь, кто был прав.

Все уже стоят «смирно», ждут слова командира. Он начинает говорить.

Действительно — как это люди умеют все пронюхать — соединению поручено большое, ответственное дело: пойти далеко на запад, в глубокие тылы врага. А на Черниговщине останется только часть соединения, и притом небольшая, — всего пятьсот человек. Командовать оставшимися будет Попудренко, а в рейд поведет Федоров. Приказ о том, кому из бойцов и командиров идти, а кому оставаться, будет передан особо.

Вот примерно все главное, о чем говорил тогда Федоров. Мы были ошеломлены.

Если бы в рейд шли все, можно бы только радоваться. Еще бы, раз дают нам такое задание, — значит высоко расценивают. Дослужились до того, что Москва учитывает нас как сильную боевую единицу, способную сыграть свою роль в осуществлении тактического плана Верховного Главнокомандования.

Теперь все захотели в рейд. Честное слово, странно: когда объявили списки, те самые товарищи, которые недавно считали по пальцам километры, отделяющие их от дома, теперь кричали, что «ни за что» оставаться не желают.

Меня тоже не брали. И мне тоже было до смерти обидно.

Я понимал, что и здесь должны воевать опытные бойцы: дела-то еще очень много. Но мои друзья-подрывники Садиленко, Павлов, Клоков, Резуто и другие уходили, и невольно мучил вопрос: почему же оставляют именно меня?

Не один я мучился. Живое тело коллектива делили пополам. Как примириться с тем, что расстаются Федоров и Попудренко, которых мы привыкли всегда видеть вместе? С тем, что уйдут славные пулеметчики Авксентьева, уважаемый всеми комиссар Дружинин, весельчак и храбрец Карпуша, первый наш подрывник Гриша Балицкий. Он сейчас вернулся после ранения из Москвы — даже как следует не повидались. А сестры Станченко? Только что встретились Тая с Проней и уже прощаются. Да что говорить, разве всех назовешь? Скажу только, что из нашей большой подрывной группы оставались на Черниговщине всего трое: Цимбалист, Вася Коробко да я. И нам было очень горько.

Переживали мы еще и то, что Федоров забирал с собой все самое лучшее, как нам казалось, — всю нашу силу, славу и мощь.

Что ни говори, а в рейд отобрали таких людей и вооружение, что мы, остающиеся, чувствовали себя по-сиротски.

Командирам не было отбоя от просьб о пересмотре списка. Кто-то грозился «все равно» уйти. Кто-то собирался догонять своих «втихую». Куда ни глянь — везде взволнованные лица, последние наказы, прощанья.

Тем, кто уходил с Федоровым, тоже нелегко было расставаться с нами. Многие просили товарищей земляков позаботиться о семьях, когда Черниговская область будет освобождена от оккупантов. Другие наказывали отомстить за них виновникам гибели родных. Третьи учили нас с честью встретить Красную Армию.

Всякие времена мы переживали в соединении и привязаны будто были друг к другу немало. Но только теперь мы хорошо поняли это. Я уж не говорю, что мне было тяжело расставаться с Ваней Кудиновым, бывшим вторым номером при моем «Дегтяреве» еще задолго до боя на «мадьярском проспекте»; со всеми боевыми друзьями-подрывниками, с которыми не раз вырывались из лап смерти; с попутчиками из Добрянского отряда, несмотря на то, что мы очень мало встречались. Теперь мне было жаль терять даже тех людей, которых я раньше мало замечал.

И чувствовал я себя незаслуженно обиженным.

Помню, брел я вечером в печальном раздумье по лагерю. Лагерь уже не тот. Целый день комплектовали новые части, Делили боеприпасы, оружие, спорили до хрипоты. И теперь, к вечеру, хотя шум, обиды, беготня к командирам еще продолжались, приказ сделал свое.

Передо мной было уже два лагеря. Один — рейдовый, другой — наш, черниговский.

У костров кое-где сидели еще смешанные группы: дружки и родные, которым предстояло расставание. Они тихонько обсуждали между собой последние доводы, которые можно привести командованию. Впрочем, не все были сдержаны, случалось, иные ругались, даже плакали.

Зато там, где образовывалось скопление федоровцев, свет костров освещал спокойные и, как мне казалось, самодовольные физиономии. Вон сидят рядом два дружка: Павлов и Клоков. Оба уходят. Ни о чем не печалятся. Клоков еще держится ничего, а от Павловн так и несет важностью: будто он самолично по заданию Верховного Главпокомандования будет блокировать Козельский узел.

Я с досадой разглядывал издали людей у костра. Сидели возле него и неизвестные люди: неподалеку от нас дислоцировался отряд Мельникова, верно, его бойцы. Они ведь

тоже идут с Федоровым. Двое, впрочем, кого-то мне напоминали. Но кого? Поглядел раз — другой. Нет, не вспомню. Может, случайное отдаленное сходство. Было, конечно, странно, что их двое и напоминают тоже каких-то двоих. Так случается редко.

Потом думаю: мне-то что? Я ж не федоровец. В рейд не иду. Они будут боевыми товарищами другим партизанам, и касаться до них нечего, кто б они ни были. Сейчас надо беспокоиться о другом. О боеприпасах. Итак, нас всего трое осталось; если толу в обрез дадут — совсем труба.

И я пошел к своим — обсудить, как бы нам отвоевать побольше взрывчатки.

Но странная штука: мысль о тех, о двоих, все не отступает, лезет в голову. Мешает. «Кто те двое? Где видел? Когда?» Рассердился на себя и пошел обратно, к тому костру.

Они сидели все там же. Я встал в тени дерева, как разведчик в чужом стане, разглядываю этих двух мельниковцев. Опять не пойму, кто такие. Пожалуй, просто приметил сегодня в дневной суматохе — вот и все воспоминания. Ничего в них особенного нет. Оба бородатые, вернее, сильно обросшие. Свету падает на их лица маловато, черты как следует не разберешь.

Но вот один из них нагнулся, шепнул что-то приятелю, и оба осклабились в улыбке.

И тут-то я разом признал обоих. Признал — и кинулся со всех ног, ломая ветви, разыскивать начальника особого отдела Новикова.

Новиков не сразу понял меня, так я кипятился. Объясняю, что видел вот здесь, сейчас, у нашего костра, сидят братья Месяцы. Подлецы, предатели! Работали в Семеновке. Предали наших людей, казнили семью нашего партизана Чернухи.

Новиков спрашивает:

— Какие месяцы? Что с тобой? Говори спокойнее!

Насилу втолковал, что Месяц — это фамилия, что это два брата. Знаю их, точно знаю как фашистских прислужников.

— Ладно, понял, — ответил, наконец, Новиков. — Ты иди. За тобой скоро пришлю.

Через полчаса я снова вошел в эту же землянку по вызову командира. Братья Месяцы уже были тут. Новиков указал на меня и спросил:

— Знаете этого человека?

— Нет.

— А ведь он ваш — семеновский. Кого же вы знаете? — спросил он. — Назовите еще несколько имен — слыхали, верно, кто из ваших земляков в партизанах?

— Они стали с нахальной уверенностью перечислять. Кого ни

назовут — обязательно этот человек погиб.

— Артозеева, случаем, не знавали? — осведомился тут Новиков.

— Как же, — обрадовался Антон Месяц. — Я ему сколько раз обувь чинил. Номер сорок пять.

— Как же! — повторил за братом Григорий Месяц. — Мы с ним друзья. До войны в футбол играли. Погиб, говорят, геройской смертью.

— А в какую игру ты, сволочь, играл, когда семью Чернухи расстреливали! — не выдержал я. — Где сволочь, был? Что делал?..

Братья растерянно посмотрели на Новикова, будто ждали от него защиты. Он спокойно заметил:

— Что же вы не отвечаете? Ведь это ваш друг Артозеев.

Они молчали. Новиков также спокойно обратился ко мне:

— Видишь ли — они слышали, что ты погиб. Вот и растерялись. Понятно? Все-таки — неожиданность. А ты про них что слышал?

— Наших людей выдавали. Этот, — я указал на Антона, — служил в комендатуре: А братишка — тоже к власти лез. Всяким художеством промышлял. Переделал нашу советскую песнь про Каховку на фашистский манер.

Я весь кипел, беспорядочно вспоминал обо всех больших и малых преступлениях и мерзостях братьев Месяцев. А знаком я с ними действительно был еще в те времена, когда Григорий преподавал в семеновской школе физкультуру, а младший брат Антон сапожничал в том же городке.

В ту же ночь мы с Новиковым получили полное признание Месяцев. Оказалось, что они должны были уйти в рейд и, только перейдя Днепр, начать свою вредительскую работу по заданию, которое им передали бы другие шпионы.

Дело это настолько отвлекло от мысли о разделе соединения, что только к утру я сообразил попросить Новикова:

— Семен Михайлович! Замолвите за меня словечко Федорову! Пусть возьмет в рейд. Ведь все мои товарищи с ним. Один я как неприкаянный.

Не пойму, что с тобой сделалось, — отвечает мне Новиков. — Да разве ты уже забыл, что я сам тоже остаюсь? Я даже не начальник особого отдела. И этими Месяцами занялся по старой памяти — ты прибежал — надо же было разобраться.

Как я мог забыть, что Новиков с нами? Сам диву дался. Я совсем действительно запутался: где «мы», где «они». Если же трезво рассудить, — разве это не одно и то же? Ведь случай с Месяцами показал, что хоть соединение делилось, но интересы

оставались едиными. Какие же федоровцы и мельниковцы «не наши»? Вот я увидел, что к ним втерлись предатели, и даже «свое» дело оставил — кинулся на помощь. Также и Новиков. Иначе, конечно, быть не могло.

И через три дня федоровцы уходили. Было яркое весеннее утро. Мы, остающиеся, растянулись по просеке на всю длину федоровского обоза. Но вот раздалась команда, и кони дернули. Сани двинулись.

Федоров расцеловался с Попудренко и поскакал на своем огромном мерине к голове колонны. Попудренко было двинулся за ним, но вдруг осадил своего коня и совсем не по-военному сорвал папаху и стал махать вслед.

И мы все тоже стали махать шапками, фуражками, мокрыми от талого снега и слез платками.

Но вот последние сани федоровского обоза скрылись за деревьями. В лагере стало сразу необычайно тихо, пусто. Никому не было охоты ни ужинать, ни спать. Долго ходили как потерянные, будто от каждого оторвали и унесли что-то живое.

Тяжелая это была ночь.

Заснул я поздно. Слышал, как шептались о чем-то в углу двое молодых парней. А утром увидел, что парней — то этих и след простыл. Поужинали для виду со всеми и спать будто улеглись. А нашли минутку — и дали ходу. Теперь уже, наверно, скоро догонят.

Так случилось не только в нашей землянке. И в других подразделениях были «беженцы» — все больше из числа новичков, молодежи. Старые партизаны, которым, конечно, расставаться было труднее, оказались дисциплинированнее.

И вот он наступил — первый день без своих. Надо было его как-то начинать, начинать новую жизнь, потому что старая кончилась. А ведь эту «старую» жизнь я начал в областном отряде всего полтора года назад. И вспомнилось мне, как был поражен встречей с Федоровым, с членами подпольного обкома; разговор о причине гибели Добрянского отряда, об ошибке партизан, считавших, что они должны воевать только в своих районах.

С тех пор мы сильно расширили свое представление о линии «наших границ». Немало прошли по левобережной Украине, бывали в Белоруссии и на территории РСФСР; но от домов уходили не так уж далеко. Понятие о каких-то «границах» сохранили.

Теперь оказывается, что нам вообще никаких пределов движения не положено. Пошлет командование на Карпаты, на Балканы, на высокие горы, за широкие реки — везде пройдем! Вот какая мы сила. — с гордостью думал я уже без чувства обиды на

то, что за эти реки ушли другие. В добрый путь, товарищи!..

Часть вторая

Командир отряда

— Ну, как чувствуешь себя после ухода товарищей? — спросил меня Попудренко, когда я пришел по его вызову в штаб.

Командир весело улыбался, поглядывая на лежавшую перед ним карту. Он положил карандаш и, энергично потирая руки, посматривал на меня испытующим взглядом.

— Как дела, подрывник? Хорошо скомплектована ваша группа? — продолжал он.

— Так точно, — ответил я. — Ребята — что надо. Живые и дельные. Работать можно не хуже прежнего.

— Вот видишь. — сказал Попудренко. — Дела идут, а ты так безудержно рвался в рейд с Федоровым. Не хотел со мной оставаться. Видимо, не уважаешь меня? — Попудренко посмеивался.

Что вы, Николай Никитич! — перебил я командира, увидев, что разговор идет неофициальный — Вы ведь знаете мечту каждого партизана! И про меня вам известно, что хотел гнать врага до Берлина. Если же командование нашло нужным оставить нас на Черниговщине, то и я как дисциплинированный солдат свою мечту отменил. Ведь у вас, Николай Никитич, небось, тоже душа горела, когда прощались?..

Попудренко смолчал, а я от смущения совсем некстати добавил:

— К тому же я дал клятву снять бороду только в Берлине.

— Так вот в чем дело! — Попудренко расхохотался. — В твоей чудесной бороде таится сила роковая? А она, видишь, нам и тут нужна! Теперь принимай новый зарок: носить бороду до соединения с частями Красной Армии. Согласен?

— Условия подходящие! — сказал я. — Как не принять такое предложение?

— Я так и знал, что мы с тобой поладим. — заметил Попудренко и тут же, переменив тон, добавил: — Ну-с, давай приступим к делу. Нечего терять драгоценное время.

Я встал перед командиром по команде «смирно» и ожидал распоряжений.

— Нет, нет! Ты сядь, — сказал он мне, указывая на место за картой, разостланной на ящике-столе.

— Ты знаешь, — продолжал Попудренко, когда я уселся, —

что по решению ЦК КП(б)У наше соединение, как и раньше, — областное. Отсюда тебе должны быть ясны наши задачи. Мы собираемся поручить тебе серьезное, очень серьезное дело. Придется отвечать за жизнь людей, за важный стратегический пункт. Предупреждаю: задачи трудные, решать их придется самостоятельно.

Я понял: меня с группой людей посылают на сложную операцию, и ответил без долгого раздумья, что не в первый раз, я всегда готов.

— Да, — ответил командир, — мы на тебя надеемся, и я верю, что ты постараешься. Но раньше ты действовал сам или с небольшой группой. Нынче поручаем тебе командование отрядом. Будут трудности. Мы разойдемся в разные стороны. Вот смотри! — Командир взял карандаш и, указывая на пункты карты, начал объяснять:

Видишь — Орел, Курск, Белгород. Тут противник сосредоточивает крупные силы, скоро начнутся серьезнейшие бои между нашими и гитлеровскими войсками. А вот Севск, — Попудренко обвел точку, обозначающую город, красным карандашом. — Это — центральный формировочный и резервный пункт их техники и живой силы. Отсюда фашисты ведут питание своих позиций в районе Орла.

В Новгороде Северском работают разгрузочно-погрузочные базы. Там сохранился гужевой мост через Десну. Кроме того, рядом построен новый, через него протянули узкоколейку, могут по ней перебрасывать артиллерию, боеприпасы, людские пополнения. А из Новгорода-Северского поезда попадают на Пироговку, затем на Терещанскую и там перебрасываются на московскую магистраль. Понимаешь, какой образовался узел!

Одновременно через Гомель, Новозыбков и Стародуб идет сильное движение по железным и грунтовым дорогам. — Карандаш командира продолжал скользить по карте. — Ты чувствуешь, что тут происходит? Какое накопление сил?..

Партизаны Орловщины действуют со стороны Брянских лесов, Стародуба и Трубчевска. А в лесах Черниговщины нам необходимо парализовать движение по железной дороге Гомель — Бахмач, Гомель — Чернигов. Надо заняться Севском, Новгородом-Северским, взять под контроль не только железные, но и шоссейные дороги.

— Вам, товарищ Артозеев, — заключил Попудренко, — с отрядом имени Чапаева предстоит организовать диверсии на участках железной дороги Новозыбков — Новгород-Северский и на грунтовых дорогах Стародуб — Новгород-Северский. Именно здесь будут проходить основные силы на Севск — к Орлу. —

Командир внимательно посмотрел на меня и опять спросил:

— Ну как?.. По силам?

Я, признаться, задумался. Командование оказывает мне такое доверие. Конечно, за минувший год я ко многому пригляделся, многому научился. Только сейчас пришло мне в голову, что за это время я прошел серьезную военную и политическую школу.

Попудренко смотрел на меня, ждал. А я все не мог решиться.

— Ведь отряд Чапаева — это старый наш отряд. Я никогда, вы знаете, Николай Никитич, такой массой людей не руководил.

— Думаю, что масса еще увеличится. По пути придется тебе принимать пополнение. Охотники, будь уверен, найдутся! Наряду с главной придется тебе решать и эту задачу — готовить партизанскую молодежь.

Попудренко хоть и ждал от меня ответа на вопрос о том, согласен ли я вступить в должность, но говорил со мной так, будто я уже состою в этой должности — уже командир отряда.

— Спасибо за доверие! Оправдаю, — стараясь скрыть волнение, сказал я. Командир крепко пожал мне руку:

— Я рад. В добрый час. Смотри — хорошо распредели народ. Помни, — главное у тебя разведчики и подрывники. Взрывчаткой не обижу. Дам тебе рацию и радиста, держи в курсе. Проводником до урочища Рогозного с тобой пойдет Василий Гулак. Там найдешь группу Бугристого, возьмешь ее под свою команду. Есть в той группе наш старый партизан, хороший коммунист Немченко. Передашь ему решение обкома о назначении комиссаром отряда. Ты знаешь Немченко?

— Тот, что был директором средней школы в Семеновке? Еще до войны встречались.

— Тот самый. Грамотный, выдержанный товарищ. А когда будешь подбирать людей на другие должности, сообщай мне кандидатуры. Завяжи крепкие связи с населением.

— Не забывай, — продолжал Попудренко, — обком рассчитывает на рост отряда. Без этого ничего не сделаешь. Не забывай тоже — теперь ты должен заботиться о людях: чтобы были хорошо вооружены и сыты. И насчет раненых — смотри. И еще помни: в глазах населения ты — представитель Советской власти, партии. Будешь принимать новых людей, внушай им понятия о чести партизана. Чтобы чистое имя нашего соединения не было замарано. Словом — держи ухо востро!

Николай Никитич дал мне еще немало советов и указаний: рекомендовал, например, обязательно завести записную книжку.

— Тебе будет легче работать с людьми, — говорил он. — На память надеяться не стоит. А если привьешь себе привычку все брать на заметку, многое облегчишь себе. Каждый день отмечай:

чем был хорош, чем плох. А допустим, тебе надо будет представлять бойцов к награде? — Знаешь, сколько ко мне приходит командиров проверять свою память по оперативным донесениям?

— Вы, кажется, ведете дневник, Николай Никитич? — вставил я.

Само собой. Это все знают. Но тебе надо поддержать обычаи соединения — во многих отрядах есть дневники. Ты только подумай, что после войны такие записи будут интересны не только нам С тобой. Сообрази; сколько подвигов совершают наши люди да сколько горя они перетерпели? В этом видны очень важные вещи: сила народного духа. Вот ты каждый раз и помечай. В обком передашь сводку, а себе пометь: кто и как работал, что нового придумал.

— Так-то оно так, да я боюсь, писателя из меня не выйдет.

— Этого и не требуется. Думаешь, я — писатель? Ты давай факты, события, цифры! Потом еще мне спасибо скажешь!

Николай Никитич даже покопался у себя в походной сумке, поискал записную книжку — хотел сразу мне вручить, но не мог вспомнить, куда положил недавно подаренный ему бойцами новый трофейный блокнот. — Ничего, — сказал он, — сам добудешь.

— За этим-то дело не станет.

— Вот-вот! — обрадовался Попудренко. — Это тоже очень интересно. Ты вспомни нашу первую партизанскую зиму и сравни: какой враг был тогда и какой стал теперь? Тоже очень и очень интересно!..

Когда я вышел от командира, хоть и принял назначение по доброму согласию — голова гудела. Впервые я по-настоящему задумался о том, что такое ответственность командира.

Первый марш

В беседе с Попудренко я сказал, что отряд Чапаева — старый наш отряд.

Это было не совсем верно. Действительно, такой был в соединении, но сколько же людей оттуда ушло в рейд! Так много, что у Попудренко явилась мысль отряд расформировать. Это бы, безусловно, и произошло, будь дело пораньше, не в сорок третьем году.

Когда мы в сорок первом году пришли впятером из Добрянки — пусть это не было событием в жизни областного отряда, но все

же и не каждый день новые люди приходили.

Не то теперь.

Начиная с этой весны народ в леса прямо валом валил. Тут была и подросшая молодежь, и долго сидевшие в ожидании и нерешительности «тугодумы», и даже раскаявшиеся или просто искавшие у нас спасения от возмездия полицаи. За несколько дней после ухода Федорова в лагерь пришли сотни новых людей. За их-то счет и был скомплектован отряд Чапаева и пополнены другие. И теперь в коллективе, с которым мне предстояло идти, от нашего старого отряда осталось только несколько настоящих, бывалых партизан да название.

Это беспокоило меня; я готовился к первому маршу с большой душевной тревогой.

Четырнадцатого марта мы вышли.

На вторую ночь подошли к берегам вздутой паводком реки Ревно. Наши подводы выехали из леса на Шевченковскую низменность. Вода с нее еще не сошла. Все кругом было затянуто легкой пеленой тумана, серебрившегося в свете луны. Тишину нарушал только грохот льдов. Они низвергались вместе с водой с гребня мельничной плотины. Недалеко отсюда был хутор Хандобоковка, близ которого примитивный мост. Там и решили переправляться. Пошли, но моста не оказалось. Его снесло паводком. С обоих берегов, навстречу друг другу, выпирали две насыпи плотины. Щиты ее были сняты, и бурный поток свободно мчался меж свайных столбов, на которых когда-то держался деревянный настил.

Столбы только чуть возвышались над уровнем воды и отстояли один от другого на расстоянии примерно полутора метров. У столбов вода клокотала особенно бурно. Ширина потока не более десяти метров. Будто и немного, а не прыгнешь.

Еще недавно подобное положение не слишком озаботило бы меня. Дал бы командир приказ — уж как-нибудь бы переправился. На чужой риск не так и боязно. Но вот — как приказать форсировать опасное место отряду людей, за жизнь которых несу ответственность я сам?

Стало страшно. А если погублю отряд на первом же марше? Не послать ли разведку на поиски другой переправы? Что делать? Как перейти эту проклятую речонку?

Сначала мысли вертелись вокруг того, чтобы как-нибудь избавиться от перехода. Но скоро я понял, что из этого ничего не выйдет.

Ждать нельзя. На нашей стороне, в Погорельских и Тополевских лесах, все села заняты немцами. В Погорельцах начальник полиции — старый наш враг, бывший бандит

Ткаченко. Он скрывался от советского правосудия в этих местах, знает каждую тропку. От ищет, чем выслужиться перед оккупантами, может навести по нашему следу карателей. А нам здесь бои пока ни к чему, есть более серьезное задание.

Искать другой переправы? Проводник говорит вполне уверенно, что лучшего места ближе чем в пятидесяти километрах не найдем.

Возвращаться назад, в соединение? Но я же только получил приказ выйти оттуда! И — здравствуйте — явился! Прошу мол прощения, товарищ Попудренко, Николай Никитич: задание выполнить не могу. Конечно, сказать можно иначе. Упомянуть про неодолимые препятствия, стихию паводка и все такое прочее. Но смысл получится тот же; никого тут не обманешь, да и зачем мне обман!

А все-таки как быть? Как поступил в прошлом году Федоров, когда мы весной выходили из блокады и перед нами лежала разлившаяся Сновь? Тогда, правда, сошел уже лед, но разлив был много шире. А позже, вырываясь из Рейментаровских лесов, какое мы перешли болото! Люди тогда говорили, что по нему заяц не пробежит, лиса не пройдет! А мы перешли и никого не потеряли. Командир тогда уверенно дал приказ, сказал, что другого пути у нас нет.

Правда, — соображал я, — надо учесть авторитет Федорова, его привычку руководить людьми, отвечать за них. Но ведь и он с этой привычкой не родился, авторитет к нему не сам пришел. Форсировали по его приказу трудные места такие же люди.

Вот так стою и размышляю, и мучаюсь, никак не могу открыть рта, чтобы дать команду на переправу. Наконец, когда я решился, дал, несколько новичков стали возражать:

— Лучше погибнуть в бою, чем так зря пропасть!.. — услышал я разговор. Не успел я призвать их к партизанскому порядку, как вдруг вмешивается Вася Коробко. Парнишка он был исключительно спокойный и, несмотря на свою молодость, имел многие качества выдержанного старого партизана. Даже когда Вася проявлял отчаянную храбрость, он делал это без горячности и возбуждения и никогда сам не видел в своих поступках ничего особенного.

— Верно, еще не знаете, как партизаны воюют?

— Мы вам сейчас расскажем. — дополнил Васины слова другой комсомолец — Николай Крез.

Я не стал слушать их разговора, подошел к самому берегу и тихо приказал: «Коммунисты, вперед!» Тотчас разделись, готовясь войти в воду, Василий Гулак и Саша Егоров. За ними другие. На берегу уже лежали собранные ими и связанные лозой и вожжами

жерди.

Вот Гулак, стоя на краю плотины, набросил ремень на ближайший свайный столб, верхом на связанных жердях подтянулся к нему. Ребята стали перебрасывать ему новые жерди.

За Гулаком полезли на сваи другие ребята. Они вязали жерди над обдающим их ледяными брызгами водоворотом. Глыбы льда лезли на них — они отталкивали их ногами. Льдины будто сознательно объединяли силы — громоздились одна на другую и разрушали непрочный труд добровольных саперов. Вода уносила жерди, но с берега подбрасывали все новые, и скоро пять столбов оказались соединенными тонкими, казалось, очень ненадежными переходами, вернее перелазами. На них и начали класть принесенные с хутора доски, ворота.

Грохот падающей воды и льда заглушал шум нашей работы. К утру над водопадом протянулась переправа. Когда люди двинулись по ней, она задрожала, как натянутая струна. Я поставил на каждом берегу по четыре человека, дал им связанные вожжи, они их держали на случай разрыва переправы.

Наконец я облегченно вздохнул. Все мои люди на той стороне. Но это только половина дела. С лошадьми беда: не идут в воду.

Поскольку наш мосток хорошо показал себя, мы перетащили по нему и грузы. А коней никто не мог заставить пуститься вплавь. Какой ты ни есть командир — скотине до тебя дела нет. Она не слушается, хоть плачь. А тем временем из села, где стоит гарнизон полицаев, уже понеслись звуки утренней побудки. Вот и делай что хочешь. Оставить отряд без лошадей нельзя.

Одна серая молодая кобылка оказалась по смелее других — пустилась вплавь. На середине реки льдина сбила её, и животное сгинуло в быстром потоке. Получилось, что не зря кони боялись: чуяли, что с паводком им не справиться.

Я приказал тащить их к переправе. Не идут. Не желают вступать на трясущийся мосток, пятятся; две чуть не свалились с насыпи в воду. И тут мне пришло в голову, как избавить лошадей от страха. Мы быстро собрали все лишнее из одежды, поснимали даже куртки, использовали мешки, одеяла и намотали все животным на головы. И ничего, — пошли. Только один мерин так артачился, что свалился с настила — и был таков.

Мы победили бурные воды Ревно. И когда колонна уже двинулась дальше, напряженное состояние, в котором я все время находился, спало. Я почувствовал себя таким разбитым, будто все эти люди и кони прошли по мне. Голова болела, все тело ломило, промокшая одежда стала холодной и тяжелой. Что за черт? Уж не захворал ли так некстати?.. Подумал и засмеялся. Понял: все это

от переживаний. Бывал я в переходах и более трудных, но рядовым.

Шапка Мономаха

Во время нашего зимнего рейда в Клетнянские леса, на Черниговщине, в Семеновском районе была оставлена группа бывших разведчиков во главе с Иваном Бугристым. Мы уже знали, что группа разрослась, стала основой для местного отрядика. Отрядик этот я должен был найти и присоединить к себе.

Как только мне стало известно, что группа стоит в гуще соснового леса урочища «Рогозное», мы двинулись туда всем отрядом. Ивана Бугристого я знал давно и как будто неплохо. Вместе воевали, вместе ходили в разведку — старый федоровский партизан. Поэтому, когда встретились, очень удивило меня его поведение.

Бугристый встретил нас руганью:

— Вы потише не могли подойти, черт бы вас взял!

— Это что, вместо приветствия?

— А чего демаскируете! Треск, грохот, никакой конспирации.

Да ты не волнуйся. Видишь — нас сила!

— А что мне твоя сила? За своих людей я отвечаю. А тут шум, кони ржут, черт-те что делается! — II он кинулся к нашим бойцам, требуя соблюдения тишины. Я поглядел кругом, поговорил с его партизанами. И еще больше удивился.

Двадцать семь человек жили в грязной, запущенной, темной землянке. Тут же и готовили пищу; костры не разводили, чтобы не быть замеченными. По ночам они накаливали печку и варили на два, а то и на три дня. Суп прокисал в бидонах. Люди хворали.

Днем, кроме назначенных на заставу, выходить из землянки никому не разрешалось. А застава в нескольких шагах.

— Что вы тут людей квасите? — спросил я у Ивана.

— Ждем полного тепла. Лист разовьется — полегчает. — хмуро ответил он.

— А что же, ваше оружие только летом годится?

— Я не могу рисковать людьми. К тому же больные, видишь.

— Ты сам их больными сделал!

Иван вскипел. Но не успел излить на меня свой гнев, как увидел, что наши бойцы располагаются как дома, разводят костры. Это подлило масло в огонь.

— Эй, вы что, спятили? А ну, тушите сейчас же!.. А ты, — обратился он ко мне свирепым голосом, — чего людей своих

распускаешь?!

Я отвел его в сторону, показал приказ Попудренко.

Признаться я думал: «Узнает такой крикун, что его сместили — еще больше разорется или надуется, обидится». Но Бугристый вдруг просиял и воскликнул:

— Слава тебе, господи!.. Сняли с меня, наконец, эту «шапку Мономаха»! Ур-ра!.. Раз так — делай, что хочешь! — И он принялся рассказывать мне, как измучился ответственностью за людей, как счастлив нашему приходу. — Я как будто снова народился на свет! — говорил он. — Пусть теперь твоя голова обо всем болит! Стучите, пойте песни, жгите костры, вам виднее! Ваша сила, и я — ваш. Принимай скорей отряд. Ох, и намаялся я в командирах!

Не только сам Бугристый — вся его группа была счастлива тем, что кончилась их «консервированная жизнь».

Оживились новички, которые в партизанах у Бугристого ничего, кроме землянки, не видали. А уж наши «старенькие» вовсе воспрянули духом.

Федоровцы расспрашивали старых товарищей о соединении: все для них было новостью, и они накинулись на нас как голодные. Кстати, голодные они были и впрямь. Когда на наших кострах поспел свежий завтрак, впервые за долгое время поели по-человечески.

Позднее, когда вся группа узнала о смене командования, ко мне подошли два молодых парня и я снова услышал от них упоминание о шапке Мономаха:

— А что, товарищ командир, у Бугристого за шапка такая была? — спросил один из них. — Мы ее никогда не видели. Отдал он ее теперь вам или нет?..

Я объяснил им, как мог, что был на Руси такой князь — Мономах, а другой князь или царь, который носил его головной убор по наследству, пожаловался на тяжесть этой шапки. Он имел в виду, конечно, ответственность, которую налагает власть. Впрочем, за подробным объяснением я отослал обоих парней к будущему нашему комиссару. Я тогда еще не знал, каким он станет комиссаром. Было известно, что он школьный учитель. Значит, ему и карты в руки.

Мне же хотелось поговорить с ним о другом. Признаться, беспокоило: каков человек? Как мог допустить развал группы?

Я застал комиссара Немченко в землянке совершенно больным. Шел я к нему с мыслью, что Попудренко ошибся, назначив его комиссаром. Даже думал — не запросить ли мне командира о другой кандидатуре? Я прямо, без обиняков, спросил у Немченко: как мог коммунист примириться с

положением, в которое поставил всю группу Бугристый?

Он заволновался.

— Если бы вы знали. Сколько раз я поднимал об этом разговор! Мы собирали партийную группу — тут нас пять человек. Да ведь главное в том, что решительно все, кроме, может быть, нескольких из вновь пришедших, понимали, что мы уже перестали быть партизанами. Мы говорили об этом Бугристому.

— А он?

— Он твердил одно: «Я получил от командования специальное задание, выполнил его. Чего же еще?! Я отвечаю за людей». И точка. Ну, что тут можно было сделать? Он нам еще указывал на пример пулеметчиков Авксентьева: сидели, — говорит, — два месяца в лесу тихо; без толку никуда не совались. Зато, когда пришли в соединение, ударным взводом стали!

Немченко немного подумал и добавил осторожно:

— Мы на партгруппе думали, не послать ли нам в соединение двух человек с рапортом? Но Бугристый все время твердил, что ждет оттуда распоряжений, и мы решили еще повременить. Ведь это пришлось бы сделать помимо него, а воинскую дисциплину нарушать — сами знаете.

— А как сейчас ваше здоровье? — спросил я.

— Да что ж — здоровье! Это все от одного. Мы тут черт знает чем питались. Зато — конспирация! — сердито ответил он.

В это время в землянку вошел Бугристый.

— Ну, вот видишь? — сказал он Немченко. — Я говорил, что к нам придут — и пришли! Да еще с целым отрядом!

— Да, — перебил я его. — Хорошо, что во-время. Еще немного — и ты людей бы переморил!.. А еще хуже, что твоя перестраховка от потерь вела к потере самого важного — боевого духа. Об этом ты не думал? А тебе, оказывается, говорили об этом!

Иван не оправдывался.

Уже после того, как приказ командира соединения был объявлен всему личному составу, он подошел ко мне снова:

— Я ведь знал, — объяснил он, — что меня назначили временно. Сила тут наша маленькая — другое дело, когда все соединение шло. А здесь кругом в селах немцы — что мы могли с ними сделать? Ведь меня оставили людей собирать. Я собирал. Думал: «Придет час, спросят: где твои люди? — и выйдет, что я их собрал, да и погубил». Тут не только за своих, что в лесу находятся, страшно было. О связных тоже беспокоился. Могло получиться, что из-за нас и других схватили бы. Твердо решил — будем сидеть тихо. Знаешь, какая для этого воля нужна! Люди рвутся в бой, я и сам хотел, но дисциплина переборола!

— Какой же поры ты дожидался?

Ну, вот странно. Надо мной же командиры есть! Я так и знал, что рано или поздно дадут приказ.

— Небось, меня-то не ожидал?

— По совести говоря, — ответил Иван, — если бы я знал, что командиром отряда станет мой товарищ, такой же простой боец, как я, — мне здесь легче бы было. Но я привык к нашему сильному соединению. Как, думаю, после таких командиров, как наши, я могу сам управиться? Дело очень серьезное, а я — рядовой боец. Ну, вот видишь, — ты рассудил иначе.

— Отчего иначе? — спросил я. — Ты думаешь — мне легко? Я, брат, за полтора года партизанской жизни столько не волновался, как сейчас, на переправе через Ревно. Однако переправились. А ты с такой политикой — на берегу до старости просидел бы. Если бы, конечно, немцы тебе там сидеть дали.

— Как же ты решился?

— Потому что мне, да и всем нам, задание командования выполнять надо, — вот как! Об этом в первую голову я и думал. У тебя было другое задание: тебя оставили собирать людей. Так почему здесь до сих пор даже сотни бойцов нету? Придумал какую-то «шапку Мономаха», держался за нее, а о деле не заботился. Сам знаешь: в наших условиях дело и жизнь неразрывны, а ты их разделил. Вот и вышло — ни то ни се.

Мы с Иваном и потом не раз возвращались к разговору об ответственности командира. Для этого появился свежий материал: назначенный командиром разведки, он ничуть не тяготился своими обязанностями. Разведка у нас работала отлично. И в этом была не малая его заслуга.

Кто был прав

Устроившись лагерем под зеленой крышей урочища «Рогозное», мы вновь начали боевую жизнь. Я присматривался к новичкам и скомплектовал подразделения так, чтобы все они имели прослойку старых партизан.

Подумали мы с комиссаром и о том, чтобы правильно расставить наших коммунистов.

Мне помнится первое общее партийное собрание.

Здесь были и хорошо известные мне люди, которых я видал и в мирной обстановке, и в бою, — знал, чего можно от них ждать. Были и новые, совсем почти незнакомые люди — из тех, которых я застал в группе Бугристого. Но я не думал ни о ком в

отдельности, а обо всем коллективе в целом. Ведь он — моя опора, помощник, судья. Отряд подчиняется командиру, но и командир, и масса партизан черпают моральную поддержку из коммунистического ядра. Это ядро и насыщает нашу жизнь той внутренней силой, какая должна быть в каждом настоящем советском коллективе. «Куда я пойду со своими сомнениями и трудностями, которые, конечно, будут? — думал я. — Кто вправе спросить у меня отчета в моих действиях? На кого я буду надеяться в минуты самой тяжелой опасности?..» И отвечал сам себе: «Вот на этих товарищей, которых вижу сейчас перед собой, на коммунистов отряда».

Словно в подтверждение моих мыслей, на первом же собрании было сказано много ценного, дельного. Коммунисты вникали во все подробности организации нашей жизни, обсуждали, как быстрее и лучше достичь выполнения боевых задач.

Одно из принятых в тот день предложений касалось работы разведчиков: речь зашла о том, что они, как люди, наиболее тесно связанные с населением, являются одновременно и агитаторами. Они распространяют листовки, ведут устную пропаганду. Поэтому собрание указало разведчикам-коммунистам, чтобы они внимательно относились к этой стороне своей работы. Ее решили считать партийным поручением, с отчетом на партбюро.

И вот на ближайшем заседании бюро наш секретарь — Василий Андреевич Кожух заметил, что партизанская пропаганда имеет очень узкий круг действия.

— Разведчики заводят связи пока в ближайших селах, — сказал он. — Села же, отстоящие от нас на пятьдесят, на восемьдесят километров, остаются без сводок Информбюро, без живого слова советской правды. Надо подумать и о том, чтобы проникнуть подальше, осветить людям положение, да и самим лучше знать, как живет район.

На другой же день я снарядил несколько небольших групп и направил их с листовками по специальным маршрутам. Об итогах их работы я и хочу рассказать.

Все разведчики вернулись с интересными рапортами, но одна группа была выслушана нами с особым вниманием. Она пришла из большого села Тимоновичи, что у самой границы Черниговщины с Орловской областью. Разведчики сообщили, что в селе этом есть подпольная организация. Ее недавно предали, многие схвачены, но и осталось немало.

Ядро подпольщиков составили советские военнопленные и окруженцы: в Тимоновичах нашло убежище семнадцать человек. Они сумели организоваться и поставили себе целью объединить

боеспособное население, уйти в лес и создать партизанский отряд.

Для этого надо было собрать оружие, произвести разведку, но, самое главное, узнать и подготовить людей. Для этого, конечно, прежде всего следовало показать себя, свою работу — значит пойти к людям.

Среди подпольщиков был радиотехник из Ростова — Федор Попов. Ему удалось с помощью тимоновичских пионеров собрать скромный радиоприемник. Начали слушать Москву, записывали сводки Совинформбюро, регулярно их распространяли. Стали писать и свои листовки, выпускать рукописную газету, в которой рассказывали народу о действиях оккупантов и предателей, звали народ к сопротивлению врагу.

Организация стала расти.

В лесу уже заложили базы оружия и продовольствия. Был назначен день выхода молодого партизанского отряда в лес.

Но в Тимоновичи неожиданно нагрянули фашисты. Они произвели обыски по безошибочно выбранным адресам. Тридцать участников организации было схвачено. Те, кому удалось избежать ареста, спаслись только потому, что предатель, видимо, не знал полного списка, а население не выдало никого.

Предателем оказался вступивший в группу по заданию жандармерии шпион Хомусько. Он больше не появлялся в Тимоновичах; ценой жизни тридцати патриотов он купил себе должность экзекутора камеры предварительного заключения в Репкинском гестапо.

Этот рассказ разведчиков подтвердили и уточнили пришедшие с ними в лагерь члены подпольной группы товарищи Судилов, Яшин, Обухов и Константинов.

Мы с комиссаром долго с ними беседовали. Понемногу положение на селе представилось нам так.

Жители Тимоновичей держались дружно. Их преданность до сих пор спасала уцелевших членов организации от глаз полиции. Но после провала они еще не оправились. Люди почти не покидали укрытий, опасаясь нового предательства, не желая подводить под удар своих хозяев. Пришедшие к нам люди сами точно не знали, сколько их товарищей осталось в селе.

Фашисты, считая, что село «обезврежено», праздновали победу. Каратели покинули ограбленные хаты; избитых измученных жителей на ответственность полиции. Но у партизан сложился богатый опыт обращения с полицаями: мы умели их брать по-всякому.

Расспросил я у разведчиков и у товарищей из Тимоновичей про дороги, подходы к селу, о расположении улиц, узнал, где

комендатура, старостат, и выработал план налета на село. Провести операцию решил сам. Из-за этого дела я чуть не поссорился впервые со своим комиссаром.

Вот уже стоят на поляне люди. Уже нагрузились толом, боеприпасами, продовольствием; мы вместе с комиссаром проверили каждого бойца, его выкладку. Поворачиваюсь к комиссару, протягиваю руку:

— Прощай, Тимофей Савельевич. Жди нас с пополнением.

Но комиссар мне руки не подал, а сделал знак зайти в землянку. Какие такие еще дела? Будто обо всем условились, и группа в поход готова.

Зашел в землянку, и тут оказалось: для комиссара неожиданность, что я поведу группу сам. Я считал это естественным, но он держался совсем другого мнения.

— Я с этим согласиться не могу, — твердо сказал мне Немченко. — Идти в эту операцию вы не имеете права.

— То есть как это, почему? Почему вдруг комиссар мне палки в колеса ставит?

Тогда Тимофей Савельевич повел такую речь: вы, дескать, не имеете права распоряжаться своей жизнью. В случае неудачи вы рискуете не только той частью бойцов, что возьмете с собой, но оставите без командира весь отряд. Вы подводите под удар успех наших заданий, значит, и действия всего соединения.

— Помочь подпольщикам нужно? — спрашиваю его в лоб.

— Безусловно, — отвечает. — Но зачем сам командир?

— А можно быть уверенным в успехе дела, когда мы с тобой, комиссар, еще не определили как следует людей?! На кого положиться, кому доверить руководство операцией, отвечай! — говорю я.

— У нас есть опытные бойцы из старых.

— Знаю я этих опытных, сам опытный. Нет, этого дела я никому не поручу. Знаю, каково быть ответственным за жизнь товарищей. Кого мы к этому подготовили? Успел кто-нибудь на практике показать себя так, чтобы ему дать сорок человек?

Мне казалось — я кругом прав. А дело-то еще было в том, что я по привычке солдата рвался в бой; не нашел для себя нового мерила храбрости: ведь для бойца оно одно, для командира — другое.

Мне представилось, что комиссар мешает мне быть смелым. Осторожничает, страхуется и еще бог знает что. Вдобавок ко всему, совершенно новым для меня был самый вопрос отношений с комиссаром: его полномочия не ниже моих. А равенство дает право на контроль. Вообще-то я должен с ним считаться. Это было мне ясно. Но что делать, если не верю, что он прав?

Комиссар не унимался. Особенно меня сердило, когда он называл операцию на Тимоновичи «вылазкой», приходилось поправлять его. А он все равно не придавал моим поправкам ни малейшего значения и продолжал гнуть свою линию.

Мы носим имя Чапаева, — говорил он. — Оно должно напомнить вам, как он понимал, где место командира в бою. Помните, Чапаев объяснял своим людям на примере с картошками? Командир возглавил дело, нацелил бойцов. Они пошли. Он ведет. Но атакует ли он первый? Нет! В минуты боя он уже занял наблюдательный пункт и руководит оттуда. И, кстати сказать, — из безопасного для его жизни места. Вы же хотите предпринять вылазку за шестьдесят километров от основных сил отряда, рисковать в деле, которое никак не является нашей прямой задачей. Командование поставило перед нами другую цель, другую задачу.

— И совсем непохоже на наш случай. — Я упрямо отказывался понять, что комиссар мне толкует не о «сходном случае», а о нормах поведения командира. Что же касается до наших прямых задач, то Попудренко говорил мне о росте, о пополнении отряда, и я доказывал Немченко, что, безусловно, будь мы в соединении, — вопрос о походе на Тимоновичи был бы решен положительно.

Комиссар продолжал приводить мне другие примеры поведения командира. Вспомнил и Федорова. Но я был глух и строптиво отвечал на все его доводы:

— Эва, Федоров! Сравнили. Это же первый секретарь обкома.

И тут же я сам себе выбрал образец, который вполне устраивал меня:

— А Попудренко? — спросил я комиссара, считая, что тут ему уже, как говорится, «крыть будет нечем». — Всем известна его смелость и умение рисковать. Он, если хотите, очень даже горячий.

Но я не сбил своего комиссара.

— Вы забываете, что Попудренко был до сих пор заместителем командира. А вы — командир. Меньший, чем он, но, помните, командир! Уверен, что Попудренко теперь, когда он отвечает за соединение, станет другим. Будет осторожнее и не позволит опасной горячности.

И тут комиссар, замечая, что я не принимаю его возражений, — пустил в ход последний козырь: сказал, что не хотел бы оставаться в качестве командира на срок моего отсутствия.

Уж не боится ли он все той же «шапки Мономаха»?.. Но комиссар тут же сказал, что лучше сам поведет группу в

Тимоновичи. Я не согласился. Надо было сделать сильный рывок, да с нахальством. А тут передо мной — умный, но осторожный человек. Теоретик, учитель — пусть воспитывает. А где надо похитрить да взять врага врасплох, — это ж наше ремесло.

Поспорили еще малость, и, как комиссар ни артачился, я поставил на своем. Отряд остался под командованием Немченко, а я с группой в сорок человек в ту же ночь вышел в Тимоновичи.

Полностью осознал правоту комиссара я только через несколько месяцев, — узнав о гибели Попудренко, узнав, как погиб наш любимый командир. А в те времена долго еще не мог сдержать в себе страсть быть первым в бою; оправдывал это в какой-то степени поведением Попудренко и хотя ценил хорошее побуждение комиссара, но следовать его совету не нашел в себе сил.

Тимоновичские подпольщики

За вечер и ночь нам предстояло пройти шестьдесят километров. Но люди шли с желанием, которое удваивало силы: каждый партизан почитал для себя за честь принять участие в операции, которая освободит от опасности честных советских патриотов.

Связные помогли форсировать железную и две шоссейные дороги, возле которых мы припрятали хороший запас тола, чтобы использовать его на обратном пути: раньше времени дать о себе знать мы не хотели.

Марш провели хорошо, к утру были на месте.

Перед нами в предрассветных сумерках обрисовалась молодая сосновая посадка тимоновичского колхоза имени Горького. Здесь до войны было определено место сельскому парку. Молодняк насадили в форме правильного треугольника; основанием ему служил большой районный шлях, а двумя сторонами — отходящие от него сельские улицы. Лесок подходил к самому центру села.

Здесь-то мы и должны были ждать вечера.

Молодые сосенки росли густо, даже снег под ними еще не везде сошел. Воздух был холоден, насыщен сыростью. Лежать надо было не шелохнувшись: едва наступил день, как по дорогам началось движение. Мы ясно слышали, разговоры людей, проезжавших и проходивших в каких-нибудь ста шагах от нас. Если бы кто-нибудь из нас увлекся и заговорил громко — всему делу был бы конец.

Еще в лагере я подумал, что не при всяком здоровье человек способен перенести такую дневку, и, отбирая бойцов, приказал всем, у кого сильный кашель, остаться. Люди тогда решили, что будем форсировать реку, но теперь убедились, что лежать неподвижно на талом снегу потруднее, чем переплыть весенние воды.

Я и сам впервые попал в такие невыносимые условия.

Никакой мороз, казалось, так не пронимал, как эта сырость. Снег съедал все тепло, кровь застывала. У меня ныла раненая нога, окостенели руки, даже челюсти ломило. А день еще только начинался!

Все мои хлопцы оказались молодцами — сидели и лежали смирно. Они утешались тем, что к нам попали люди, которым пришлось еще хуже; несколько человек зашли в лесок по своим надобностям. Их бесшумно схватили, связали, сунули в рот тряпки и уложили рядышком в снег. Мы не желали им ничего дурного, но и выпустить до времени тоже не могли.

Наконец, стало смеркаться. В селе замерцали огоньки (в Тимоновичах была своя электростанция, выстроенная колхозом одной из первых на Черниговщине). Движение на улицах заметно стихло. Мы ждали девяти вечера: по приказу немцев свет для жителей давался только до этого часа.

Вот уже восемь тридцать. Я с некоторым беспокойством осмотрел своих ребят, от которых зависело успешное начало операции. Это была небольшая группа молодежи, одетая в немецкое обмундирование. Во главе группы Николай Жадовец — учитель, хорошо владеющий немецким языком. Офицерская фуражка лихо сидела на его голове, грудь украшена крестом и двумя медалями. Остальные ребята костюмированы попроще — они играли роль простых солдат., из которых одному, «немножко говорившему по-русски», предстояло служить «переводчиком» Николая.

Все шли они на такое дело впервые, и, скажу откровенно, я волновался. Боялся, что сделают что-нибудь не так. Малейшая неловкость, отсутствие уверенности — и опытные, уже давно имеющие дело с настоящими фашистами полицаи раскусят наш фокус.

Еще собираясь в поход, я приказал взять немецкую форму и для меня. Конечно, соваться на передний план не думал, но хотел быть поближе на всякий случай: для контроля и помощи.

Но после разговора с комиссаром душа была неспокойна: пожалуй, кое в чем Немченко прав! И я не воспользовался приготовленным для меня костюмом.

Кое-кто, возможно, удивился, но я не боялся, что бойцы

обвинят меня в трусости. Сама по себе эта мысль была не из приятных, но меня томили другие опасения: как справится наша молодежь. И я не спускал глаз со своих «немцев».

Впечатление такое, что по внешности они к делу годятся: от долгого ожидания в холоде и сырости физиономии наших хлопцев приняли совершенно несвойственное им застывшее, даже злое выражение. По роли это кстати.

Пора было выпускать ребят. На прощанье я еще раз сказал Жадовцу:

— Шагай нахально, уверенно. Говори отрывисто и — требуй, понял? Можешь, в случае чего, дать старосте легкую зуботычину. Но не увлекайся. А вы, — обратился я к другим товарищам, — ни при каком случае рта не раскрывайте. Забудьте русский язык! Не дай бог, одно слово ляпнете — и всему делу крышка. Будет говорить только Николай и переводчик.

Все это я объяснял хлопцам уже не один раз. Но они понимали, что я волнуюсь, и терпеливо слушали.

Наконец вышли.

Минут двадцать, полчаса мы сидели в своем укрытии, как на угольях. Но тревога в селе не поднималась. Все шло тихо. Значит — по плану.

Мы ждали сигнала. Один из наших ребят должен был громко крикнуть: «Все на месте?..»

И вот раздался, наконец, этот голос. Он весело, с настоящим партизанским задором гаркнул условленную фразу — и все мы выскочили из сосняка.

Когда Николай со своей свитой явился в старостат, он приказал услужливо выбежавшему навстречу старосте немедленно собрать весь актив немецкой службы. Полицаи шли на зов, как рыба в сеть. Когда же сеть стянулась, все совершилось очень просто. Оторопевшие от двойной неожиданности полицаи были в мгновение ока обезоружены и арестованы.

В селе ничего не подозревали о случившемся, как вдруг зажегся свет: это наши посланцы распорядились его включить. Тогда-то мы и появились па улице во всей партизанской красе.

Село ожило. Жители громкими криками выражали свой восторг. Возле сельской управы запылал огромный костер. В него полетели документы фашистской канцелярии, а староста Лаврентий Горлов, так и оставшийся под опекой нашего Николая, передавал в это время по его указанию обычную сводку в районный центр: «В селе все благополучно».

Да. На этот раз в селе все было действительно благополучно. Пришедшие с нами четверо подпольщиков нашли своих товарищей. Возле них собиралась большая группа желающих

стать партизанами. Следовало тут же в этих людях разобраться, решить, кого мы можем взять с собой.

Мой разговор с людьми прервали взволнованные крики:

— Товарищ командир! Товарищ командир! Здесь Немченко!

— Что такое? Откуда он мог тут взяться? Что вы говорите? — спросил я у бойцов. — Где вы могли увидеть комиссара?

Но ко мне под руки подводили вовсе не Тимофея Савельевича, а бледную, изможденную женщину. Она шла, обнимая наших ребят. По щекам ее лились слезы.

— Кто такая?

— Да Немченко же! Жена комиссара!

Полтора года они ничего не знали друг о друге. Тимофей Савельевич говорил, что она эвакуировалась. И вот — такая встреча. Я был очень доволен тем, что наше возвращение домой принесет комиссару большую, неожиданную радость. Вот тебе и «вылазка»!

Бедной женщине не верилось, что она видит перед собой живых товарищей своего живого мужа, что она опять будет с ним вместе. Варвара Михайловна только и могла рассказать, что эшелон разбомбили, она ушла с другими в лес, а потом попала сюда.

Для Варвары Михайловны Немченко достали лошадь. Идти она не могла; ее всю трясло — то ли от волнения, то ли от простуды. Медсестры занялись женой комиссара, а я продолжал беседу с людьми, просившимися к нам в отряд.

И снова наша беседа была прервана шумом, на этот раз еще более сильным. Кругом раздавались восторженные возгласы, крики «ура!»

Слышно было, что по улице бежит большая толпа. Кого они еще там нашли? Что случилось? Какая радость могла вызвать общее возбуждение?

И тут нашим глазам представилось прекрасное зрелище: по улице скакал на коне партизан Савгира. В руках его свободно развевалось на ветру фасное знамя. Попадая в неосвещенное пространство, оно темнело, когда на него падали лучи света, — ярко вспыхивало.

Наконец всадник поравнялся с костром, около которого мы стояли, и знамя заалело таким пламенем, обрадовало глаз такой свежестью красного цвета, какой нами любим уже много лет, а в неволе фашистского нашествия стал еще дороже.

За Савгирой по улице бежали жители села. Наверно, в эти минуты им представилось, что они видят знамя Победы. Партизаны встретили знамя салютом из автоматов. Молодежь пела. Все село гудело, и в этом радостном гуле тоже слышался

голос победы.

Савгира спешился и торжественно подошел к костру со знаменем в руках. Он рапортовал, что нашел знамя на чердаке под грудой немецких документов, которые выносили из старостата. Затем он передал мне приколотую к знамени записку:

> «Если это знамя найдут фашистские воры и убийцы, то пусть прочитают здесь еще раз то, что знает весь наш народ: это знамя непобедимо.
>
> Если его найдут до Победы наши советские люди, то мы просим их хранить его и спрятать в верном месте, чтобы было с чем встретить Армию и Свободу.
>
> *Л. В. и Б. И. 1941 г.»*

Кто были эти люди, мы не узнали, но выполняя их волю, отдали знамя на сохранение тем жителям Тимоновичей, которые оставались дома. С нами же отсюда уходили пятьдесят новых партизан.

Совещание с «активом»

Каждый день радистка Щербакова передавала в соединение отчет о наших боевых действиях. Подрывники работали неплохо. Попудренко благодарил, а оккупационные власти стали принимать свои меры.

Разведка нам сообщала, что в Семеновке созывается оперативное совещание. Повестка дня: «Борьба с партизанами» и «Проведение весеннего сева».

К совещанию привлекается довольно солидный актив: представители оккупационных частей, начальник полиции, лучшие сельские старосты и полицаи. Все они должны собраться у бургомистра Орловского. Присутствовать будет и пан комендант.

О дне созыва мы тоже были осведомлены. Разведка в отряде работала с размахом: по селам насчитывалось более трехсот связных. И вот, когда стало известно, что часть наших людей добилась приглашения в «высокое» собрание, мы с комиссаром стали думать, какую бы нам извлечь из этою пользу.

Целый день ушел на другие дела, а к ночи я спохватился, что мы с комиссаром так ни о чем и не договорились. Мне сказали, что Тимофей Савельевич находится возле больной жены. Я пошел в землянку, куда поместили Варвару Михайловну.

Окруженные спящими партизанами, прерывая разговор, когда Тимофей Савельевич подходил к жене, мы совещались с ним при свете коптилки почти до утра. И не только совещались: написали бургомистру Орловскому. Вежливенько предупредили его, чтобы сократил свой пыл.

Письмо это было вручено нашему связному — дорожному мастеру Тищенко, так как он в числе «актива» обязан был прибыть на совещание.

Остальным нашим людям раздали свежие листовки и номера газеты соединения «Коммунист», недавно полученные от Подпудрено.

В. назначенный день актив собрался.

Пока люди еще не были приглашены в кабинет бургомистра и теснились в приемной, Нищенка искал удобного момента подсунуть наше письмо. Он должен был также сдать свой письменный отчет о состоянии железнодорожного участка, поэтому спокойно подошел к столу секретаря, подождал, пока тот заговорился с какими-то важными лицами, и быстро вложил в папку «на доклад» оба документа.

Вскоре секретарь на глазах у Нищенка вручил папку своему шефу.

Совещание открылось. Первым говорил немецкий комендант. Бургомистр не знал немецкого языка и в ожидании выступления переводчика просматривал бумаги. Лицо его вдруг изменилось. Орловский быстро захлопнул папку. Очевидно, наше письмо, как говорят минеры, «сработало» хорошо. Нищенка убедился в этом также по тому, как выступал бургомистр.

Вместо громовой речи с призывами бороться с «лесными бандитами» Орловский почти всю свою речь посвятил весеннему севу. Только между прочим он заметил, что следует быть бдительным: «партизаны могут сорвать проведение сельскохозяйственных работ».

После такого вступления старосты тоже пустились в разговоры о севе. Немецкий комендант уловил, что собрание потеряло главную тему. Он начал прерывать старост, задавать вопросы, проявлять нетерпение.

— Беспокоят вас партизаны? — спросил комендант у старосты села Карповичи — нашего связного Гривенник.

— Нет, они в нашем селе не бывают! — невозмутимо ответил тот.

— Однако, — не удовлетворился этим комендант, — ведь у вас кругом леса. А где леса, там и партизаны. Не так ли?

Гривенник солидно заявил:

— Они к нам не ходят потому, что боятся полиции! (Более

смехотворного объяснения нельзя было придумать, и когда нам рассказывали об этом, в землянке стоял громовой хохот.)

Комендант обратился с вопросами к другим лицам.

Среди старост были подлецы, действительно служившие немецким властям. Они докладывали подлинное положение дел: называли подозреваемых в связи с нашим отрядом; указывали, где именно, по их данным, находится лагерь; говорили прямо, что силы полиции противостоять партизанам не могут, и просили прислать солдат. С помощью этих подлецов был составлен план прочески леса, список подлежащих аресту лиц.

Когда совещание окончилось, бургомистр подошел к старосте Гривенник:

Все-таки загадочно, — игриво сказал он нашему связному. — Почему партизаны так старательно обходят ваше село? — Орловский прищурил глаз и, «дружески» похлопывая Гривенник по плечу, продолжал: — Мой старый друг, пан староста! Я вас очень уважаю, а потому хочу, чтобы вы подумали о своей жизни и судьбе. Есть сторонники немцев и есть противники; понятно: война. Мне известно, что партизаны имеют друзей среди населения, а также засылают к нам шпионов. Они проникают далеко. Хотите — я вам даже скажу (видите, как я вам доверяю), что на нашем совещании они тоже имеются. Вы не догадываетесь об этом?

Гривенник придал своему лицу глупое выражение, вытаращил на Орловского глаза:

— Господь с вами, пан бургомистр! Как же они сюда попадут? Ведь здесь самые верные люди — весь актив!

— Но я хорошо осведомлен. Я знаю больше, чем вы. Я хотел вас предупредить, подумайте, пан Гривенник! Вам доверяют власть — старостой быть не каждый может. За доверие надо платить благодарностью. Не будете служить как следует — знаете, чем это может кончиться?

Гривенник только мотал головой и уверял бургомистра, что никак не в состоянии поверить в присутствие «партизанских шпионов». Он принялся с подозрением разглядывать мебель и вертеться во все стороны, как будто опасался, что откуда-нибудь из-под шкафа, как чертик, выскочит «партизанский шпион».

— Вы меня совсем напугали, пан бургомистр! — твердил он.

Во время этого разговора бургомистру еще не было известно, что, пока шло совещание, по городу распространены, а кое-где и расклеены партизанские листовки. Их доставили в Семеновну те самые люди, которые более двух часов просидели на совещании, а потому должны были остаться вне подозрений. Для того же, чтобы окончательно спутать все карты, наши газеты были

подложены в повозки, принадлежащие самым верным слугам оккупантов.

Всеми этими, быть может, не очень хитрыми приемами мы хотели показать немцам, что их актив — наперечет, а нашему — нет числа. Так оно, разумеется, и было на самом деле: девять пришедших на совещание связных доставили партизанскую литературу в город. А здесь уже она будто «сама собой» как на крылышках разлеталась по всей Семеновне.

Что же нам дало, в общем, это совещание? Мы подробно обсудили его результаты на собрании командиров; оно получилось вроде как продолжением оккупационного актива — мы ведь работали по тем же материалам.

Прежде всего согласно списку мы вывели к себе в лес всех, подлежащих аресту. Был в их числе и «пан» Гривенник, с которым подозрительно ласково говорил бургомистр. Нам не понравилась «отеческая забота» бургомистра о судьбе старосты. Когда вся семья Гривенник уже была по дороге к лагерю, палачи ворвались в пустую хату. Видимо, Орловский успел дать в список дополнение, касающееся человека, который так «наивно» отрицал, что в селе бывают партизаны.

В ту ночь по всем имевшимся на руках карателей адресам никого не оказалось дома.

Однако нам следовало позаботиться не только о безопасности своих людей, но и о полном срыве планов районного коменданта.

Для этого решили поступить так.

Разбить большую часть отряда на мелкие группы, они растекутся по району и одновременно во всех его концах организуют взрывы, разбросают листовки. После этого группы соберутся на новом месте, куда за это время перейдет наш лагерь и обоз, — и пусть тогда каратели снова совещаются, опять составляют планы. Проведение этих массовых операций длилось всего три дня. За этот срок было взорвано несколько мостов и работавших на немцев предприятий: склады, базы, авторемонтные мастерские, маслозавод. Железнодорожная линия, разумеется, тоже не осталась без внимания наших подрывников.

Надо сказать, что впечатление от этих «залпов», как у нас по-артиллерийски говорили, было сильное. Жители пришли в такое волнение, что немцам стало не до прически леса. На головы людям среди бела дня падали партизанские листовки, приклеенные к выпущенным откуда-то детским змеям. Вечерами к хозяевам возвращались козы и коровы с листовками на рогах. А тут еще — кругом раздаются взрывы.

Самые добросовестные полицаи, наблюдая, чем кончаются немецкие мероприятия против партизан, теряли веру в силу

оккупантов. А оккупанты имели достаточно работы по наведению порядка в местах взрывов. С них было довольно внеплановых дел.

Таков был общий итог районного совещания с активом.

Пасхальная всенощная

Кончилась зимняя пора. Просидевшие долгие месяцы взаперти по своим хатам селяне начали копошиться во дворах. Ремонтировали плуги и бороны. Хозяйки выгребали накопившийся за зиму мусор, чистили хаты, обмазывали стены белой глиной. Весеннее солнышко радовало людей и в неволе, звало к привычному труду.

Близились дни пасхи. Оккупационные власти разрешили проводить в церквах торжественные богослужения и сами надумали поживиться за счет религиозного праздника: из районного центра Боровичи по селам выехали подводы на сбор продуктов для большого банкета. У людей отбирали последние запасы, и бойкий колокольный звон печально отзывался в ушах тех, кто остался с опустошенными закромами.

Наша разведка доложила, что в церквах собирается много людей: верующие и неверующие, старики и молодежь — все рады возможности встретиться в своем кругу, повидать односельчан и соседей. Ведь селяне долгую зиму просидели по хатам. Они были лишены клуба, библиотеки, не проводили никаких собраний. Такой образ жизни советским людям непривычен и тяжел.

Мы решили использовать пасхальные богослужения в своих целях: всех связных наделили комплектами листовок, и наши люди начали посещать церкви. В самом деле, где найдешь такие удобные и безопасные условия для распространения наших прокламаций, как в переполненных, тускло освещенных свечами храмах?

К тому же у пас оказались вполне подходящие к случаю тексты: воззвание патриарха всея Руси Сергея о молении за победу советского воинства, сообщение о выделении патриархом средств на самолет и танковую колонну. Впрочем, когда мы стали разбираться, то увидели, что и другие газетные материалы, размноженные типографией нашего соединения, вполне годятся. Всякое слово большевистской правды было для народа, оставшегося в оккупации, как вода в пустыне. И если уж фашисты разрешили населению праздновать пасху, то почему же нам не сделать гражданам своего подарка.

Все наши связные не могли нахвалиться на условия работы в

церкви. Но особенно удачной оказалась агитация группы партизан-подрывников, которые случайно попали на богослужение.

По всем церквам шла всенощная, когда наши ребята возвращались с задания. Будучи осведомленными о том, что полиция вызвана на охрану банкета в районный центр, партизаны свободно пошли через деревню Скушаны.

На деревенской улице они встретились с жителями села.

Граждане радостно приветствовали партизан. Отовсюду только и слышалось:

— Это вы вечером поезд взорвали?

— Христос воскрес!

— Воистину хороший подарок для нечистой проклятых!..

— Пусть подавятся теми нашими яичками!

— Расскажите, где наши? Армия где?..

Наши партизаны — народ деликатный. Отвечали на все вопросы, если же кто хотел христосоваться, не отказывали, а вместо яичка вручали листов очку, и люди оставались очень довольны.

Неожиданных гостей пригласили зайти в хату — разговеться. Было еще рано, служба в церкви не кончилась, но для дорогих гостей сделали исключение. В складчину собрали какие имели крохи закуски, выпили всем миром по чарке за победу.

Партизаны поблагодарили хозяев за угощение и в сопровождении большой толпы двинулись по деревенской улице восвояси.

По дороге — церковь. Многие слушали службу на воле — внутри ограды. Из открытых дверей явственно доносился голос священнослужителя и нестройный хор певчих.

Едва партизаны приблизились, как в толпе началось движение и она расступилась. Люди давали дорогу к входу. Наши решили, что если приглашают, неудобно не войти. Сняли, как положено, шапки и переступили порог храма.

Появление партизан вызвало общее оживление. В церкви начали шептаться, переглядываться, некоторые посылали знаки приветствия. Какая-то старушка всунула политруку разведвзвода Ивану Ивановичу Коновалову свечку. Тот зажег ее и поставил перед иконой божьей матери. Кругом засветились одобрительные улыбки. Старушка беспрерывно осеняла крестом спины подрывников.

Партизаны чувствовали полное одобрение граждан и решили действовать дальше: пробрались вперед к алтарю и попросили священника огласить обращение.

Священник, получив текст обращения и быстро его

проглядев, осенил себя крестным знамением, прокашлялся, отдал служке кадило. Затем стал нараспев читать.

Толпа заволновалась пуще прежнего, дело чуть не дошло до аплодисментов.

Раз так, наши еще больше осмелели — дали священнику речь Павло Тычины на антифашистском митинге в Саратове. Так же на религиозный манер, но очень выразительно священник огласил и этот документ.

Тут все собравшиеся так грянули «Господу богу помолимся», что от всколыхнувшегося воздуха пробежала рябь по пламени свечей.

Развернув в церкви пропаганду, партизаны спокойно удалились. Никто не знал, по плану кончилась служба или стихийно, только вслед за ними повалил весь народ.

— Что Москва? Где сейчас Красная Армия? — жадно спрашивали на ходу у наших ребят люди, как будто неожиданные гости прибыли к ним прямо из Кремля.

Тем временем звездочки на небе поблекли. На паперти церкви появился поп, дьякон и дьячки с иконами и хоругвями. Начался крестный ход вокруг храма.

Удаляясь от села, партизаны слышали восклицания:

Слава советскому воинству, слава красным партизанам!

На глазах у охраны

Основные наши усилия были направлены к тому, чтобы помешать движению эшелонов по дороге Новозыбков — Новгород-Северский, а в конечном счете к Орлу и Курску.

Работы было много, и не легкой. А в ответ на любое донесение из соединения только и шли радиограммы: «Мало. Мало. Мало». Попудренко не удовлетворяли наши цифры.

Я понял, отчего Попудренко сначала не предъявлял нам больших требований и выражал благодарность за боевые успехи. Он дал время мне и людям окрепнуть, освоиться с самостоятельной жизнью. Дал срок на приобретение опыта новичкам. И теперь спрашивал с нас по-настоящему. Надо было отвечать.

Да разве дело только в запросах командования? Мимо нас проходили на фронт эшелоны, груженные боеприпасами, продовольствием, людскими резервами. Поток военных грузов нес вглубь родной страны смерть. Многие из нас готовы были бы лечь на рельсы, лишь бы остановить эти силы. А между тем

действовать на железной дороге становилось с каждым днем все труднее и труднее.

Бездействие, беспомощность — самое ужасное испытание для тех, кто воочию видит силу, губящую то, что тебе дорого.

Легко ли нам было? За две недели ни одного взрыва. Почему? Беда не в том, что немцы прекратили всякое движение ночью: это для нас не новость. Мы научились работать и днем. Однако с недавних пор немцы начали расчищать и вырубать лес и кустарник по обе стороны железнодорожного полотна. День-деньской у путей кипела жизнь. Подойти невозможно.

Если бы мы имели мины замедленного действия — ставили бы их на заказанный срок. Ночью заминировали, а сработают днем или через неделю, — когда нам нужно. Таких мин за одну удачную ночь можно поставить несколько, на разные сроки. Москва обещала их командиру соединения Попудренко, а он — нам. Обещание, конечно, будет выполнено, но когда? Время идет. Даже зло брало: при современной, отлично разработанной технике минно-подрывного дела мы сидим на таком примитиве! — Взрывчатка, шнур, детонатор, капсуль. И со всем этим хозяйством никак к полотну не подойдешь и ничего там не сделаешь.

Немцы в наших условиях сказали бы: нет средств ведения войны, значит — нет войны. А наш народ сражается, защищая Родину без всяких. «можно» и «нельзя»: двадцать восемь панфиловцев остановили под Москвой фашистские танки одними связками гранат и бутылками с горючей жидкостью; Александр Матросов закрыл своим телом амбразуру вражеского дота; капитан Гастелло бросился с самолетом на скопление транспорта противника. А Сталинградцы!

Что делают, как работают в ходе этой войны тысячи и тысячи советских людей? Какие только трудности не приходилось им преодолевать!.. Ну вот и перед нами трудная задача: преградить путь врагу. Остановить или по крайней мере замедлить движение его эшелонов. Но не ложиться же нам, в самом деле, на рельсы! От этого толку не будет.

Кончили бы хоть эти проклятые порубки. Наши партизаны добрались бы как-нибудь до железной дороги и через расчищенную от леса зону, а то — достали бы эшелон с расстояния зажигательными пулями. Но пока — с обеих Сторон полотна возятся сотни мобилизованных из соседних сел жителей: рубят, собирают ветки, разжигают костры, развозят стволы на дрова. Как пробиться через эту массу рабочих и надсмотрщиков?

Я даже не сообщал Попудренко о том, что творится у нас на полотне. Что ему за дело? Нужны взрывы — и все. Как ему ни

объясняй, ответ ясен: надо. Но не мог же я так сказать своим бойцам? Они и сами знают, что надо. Недавно одна из групп Шахова сумела-таки зажигательными пулями с дистанции в триста метров поджечь два вагона в проходившем составе. Но это — счастливый случай. А требуется организованная, постоянная работа, система.

Как найти новые тактические приемы? Хоть убейся, голову разломи, а что делать, — не знаю. И совсем глупое получилось положение, когда к нам усилился приток людей: отряд растет, а толку чуть.

Между тем отряд действительно разрастался с небывалой быстротой: к нам бежали с порубок, с тех самых порубок вдоль железной дороги, которые нам так мешали. Все эти «беженцы» были просто в отчаянии: и без того еле протянули голодную зиму, а теперь, в разгар весенних полевых работ, их мобилизовали на рубку леса.

Крестьяне раздумывали: как быть? И домой нельзя, и на порубках работать невмоготу, когда дома дело стоит. Деваться некуда, один путь — к партизанам. И в нашем лагере с каждым днем жителей окрестных сел становилось все больше и больше.

Однажды у костра наш подрывник Иван Макарец сказал только что пришедшей с полотна группе крестьян:

— И что это вы все к нам в лагерь стремитесь? Не понимаю!.. Мы никак к железке не пробьемся, а вы, чудаки, с нее бежите.

— Да, подумать только, — весь день на путях! — с завистью сказал молодой партизан — новый ученик Макарца по подрывному делу, так пока ни разу и не добравшийся до железной дороги.

— Эх, не понимают люди своего счастья! — Подхватил мысль разведчик Коновалов, большой шутник и балагур. — Ну, что вы там зря топчетесь? — обратился он к удивленным беглецам с путей. — Возьмите вон у наших хлопцев толу, шнур, детонатор — и с богом! Рвите поезда! Уж поете этого немцы вас живо с полотна разгонят. Попадете домой.

— Или куда-нибудь подальше, — заметил Макарец. Все рассмеялись, но тут вдруг раздался голос командира подрывной группы Шахова:

— Постойте, постойте, хлопцы. Давайте-ка обмозгуем. Это ведь дело.

— А верно! — сразу поддержали Шахова несколько человек.

— Да что вы, товарищи! — возражали другие. — Разве пахарь с миной управится? Надо же умение, опыт. Да еще на глазах у охраны. Нет, ни черта из этой затеи не выйдет.

Но у костра уже шумели, волновались.

— Зачем нам, чтобы твои пахари взрывали? Мы и сами взорвем — дай только подойти к полотну!

— Отчего же не подойти? — оживились наши гости. — Чтобы нам мину, так это действительно — того. А подойти — можно. Вместе с народом — на работу…

Немецких солдат много? — наперебой засыпали их теперь вопросами партизаны. — Кто ведет наблюдение за работой? Офицеры есть? Как вооружены? А десятники — из наших или ихние?

— Послушайте, послушайте ж, товарищи! — кричал вне себе Шахов. — Ведь это же выход! — Он вскочил и бегал возле костра. — Да как же мы до сих пор не додумались!..

В тот же вечер часть колхозников ушла из нашего лагеря обратно на полотно. Место встречи с подрывниками было точно условлено. А утром первая группа партизан под командой нашего секретаря партбюро Василия Кожуха вышла на железную дорогу.

Утро было свежее. Наблюдавшие за людьми немецкие солдаты то и дело собирались погреться у костров, на которых жгли ветки и хвою. Солдаты болтали меж собой, курили, кипятили воду и тут же попивали свой кофейный эрзац.

Костры горели плохо. Ветки были сырые, и ветер стлал по земле желтую пелену дыма.

Па самом полотне никаких патрулей не было. Наблюдения за линией не велось. Немцы, видимо, считали, что при таком стечении народа безопасность пути обеспечена. Да мы и сами только вчера держались того же мнения. Весь вопрос состоял, конечно, в том, какой на путях народ.

Четверо из наших вчерашних гостей ожидали партизан в зарослях кустарника, до которого порубщики еще не дошли. В удобный момент, будто справив нужные дела, люди один за другим покинули укрытие. Смешались с толпой и начали работать, как и все. Многие из пригнанных сюда крестьян толклись попусту, явно саботируя. Время от времени солдаты покрикивали на «ленивых», угрожали прикладами; потом снова брались за свои эрзац-кофе и эрзац-сигареты.

Партизаны рубили, бойко таскали голье для костров, вообще трудились не за страх, а за совесть: они видели, что внимание патрулей привлекают только саботажники.

Убедившись, что ударный труд оценен, и даже получив одобрение проходившего мимо офицера, наши подрывники занялись настоящим делом. Подтащили несколько охапок ветвей поближе к полотну, разожгли новый костер.

Поезда проходят все чаще и чаще. Ребята волнуются, боятся, как бы на их несчастье не наступил большой перерыв: если мина

долго пролежит, ее могут и обнаружить. Тут надо, чтобы наверняка, чуть ли не под колеса сунуть.

Бойцы Кожуха и наши вчерашние друзья следили за тем, чтобы поблизости к полотну оставались одни свои. Кожух под прикрытием дымовой завесы подкрался к рельсам. Поставил мину. Вернулся к товарищам. Некоторое время все еще продолжали «работать».

Волновались ужасно: мина стоит, а поезда нет! От нетерпения им казалось, что его нет уже очень давно. Не подведет ли случай?

Кожуха извели вопросами: каждый мимоходом пройдет и скажет свистящим шепотом: «Ладно положил?», «Хорошо замаскировал?», «Детонатор надежно поставил?»

Но Кожух в качестве своей работы не сомневался и приказал своим ребятам понемногу ретироваться в кусты, откуда пришли. Те уходить не хотят.

Наконец, издалека раздался шум идущего поезда. Все ближе и ближе. Вот состав показался. Эшелон мчался с большой скоростью. Машинист все время давал гудки, сигнализируя работающим у полотна людям, чтобы отошли с путей.

Удивительно послушными оказались те люди, которые работали поблизости от костра наших партизан. В мгновение ока отбежали и другим, непосвященным, кричали:

— Отойдите! Отойдите!

Близ путей оставались только группы немецких солдат.

Тем временем Кожух присоединился к ожидавшим его в кустарнике товарищам. Молча, напряженно слушали отсюда, как громыхает на стыках тяжело груженый эшелон.

Через несколько минут раздался оглушительный взрыв хорошо сработавшей партизанской мины.

Удача первого опыта открыла перед нами новые широкие возможности действий. То на одном, то на другом участке работ происходили взрывы. Не сразу оккупационные власти разобрались, в чем тут дело. А когда разобрались, то увидели, что их собственное мероприятие в защиту военных эшелонов обернулось против них самих. Даже гестаповцы не могли найти виновных среди сотен крестьян, мобилизованных на расчистку и рубку леса.

Мы же получили очень важный урок того, как надо действовать, не боясь масс, а опираясь на них.

Новые помощники

Во время партизанской жизни нам приходилось иметь дело не только с немцами, но и с мадьярами.

Немало случайных, незначительных эпизодов показывало, что многие мадьяры воюют из-под палки, и когда этой палки поблизости нет, охотно отказываются от активных действий.

Наши старые партизаны еще помнили мадьяра Мишу — рабочего человека, славного товарища, перед лицом смерти оставшегося верным слову, данному партизанам.

Помнили, как мадьярские солдаты оказывали нам иной раз, хотя и слабую, но все же поддержку. Еще летом сорок второго года наш связной на станции Углы железнодорожный мастер Белопухов рассказывал, что мадьяры, охранявшие станцию, заявили ему прямо: «Если придут партизаны — пусть делают, что им надо. Мы мешать им не будем».

Конечно, партизанам приходилось воевать с мадьярами не на Жизнь, а на смерть и немало они погубили наших людей, а мы — ихнего брата. И все же с течением времени и накоплением боевого опыта мы стали разбираться во врагах тоньше, чем раньше. Теперь меня вовсе не удивило, когда связные рассказали, как себя повёл приехавший на следствие об убийстве старосты-предателя венгерский офицер: едва переводчик прочел ему приколотую к одежде старосты партизанскую листовку, офицер махнул рукой, потом сплюнул в сторону трупа и приказал зарыть его. В этом и состояло все его «следствие».

Так, в общем, несмотря на все бои и серьезные столкновения с мадьярами, от случая к случаю какой-нибудь из них, а то и целая группа показывали нам свое подлинное, вовсе не враждебное отношение.

Конечно, это не означало, что мы могли снять со счета силу мадьярских войск. Как раз весной сорок третьего года, когда отряд Чапаева действовал в Семеновских лесах, а Попудренко руководил нами из Елинских, туда была послана мадьярская дивизия генерала Вуковари. Он сначала заставил соединение покинуть лес, прочесал его, а потом двинулся на нас. Это был жестокий и сильный враг.

Но именно перед тем, как встретиться с ним, у нас завязались довольно тесные отношения с другими мадьярами — командой, стоявшей та охране железнодорожного моста через Ревно, близ села Карповичи.

В селе Карповичи проживал наш верный связной — железнодорожный мастер Тищенко. По роду службы он встречался с охранявшей мост командой и кое с кем был даже знаком.

Однажды Тищенко возвращался пешком с Семеновского базара. Оттуда же ехали на подводе два знакомых ему мадьярских унтер-офицера. Пригласили его подсесть. По дороге разговорились. Вспоминали довоенную жизнь, свои семьи, детей, словом, беседа приняла довольно дружескую форму. Близ Карповичей полил сильный дождь. До моста оставалось еще километра три, а хата Тищенко стояла неподалеку. Он и предложил за при, переждать. Мадьяры согласились.

И тут пошел уж совершенно откровенный разговор. Гости признались хозяину, что чувствуют себя проданными Гитлеру, что они проклинают эту войну, что их семьи на родине терпят нужду и голод, а сами они здесь ждут погибели каждый день и не понимают за что. Фашистов они ненавидят. Словом, вели речь не таясь.

— Все люди, что есть в нашей части, — продолжали мадьяры, — настроены враждебно к гитлеровцам. Но что делать? Положение безвыходное. Дезертировать? — Поймают. Организованно выступить? — Мало сил, да и нет руководителей. Так и живем. Днем боимся немцев, а ночью партизан. Но партизанам мы, право, не враги.

Дождь затянулся, а Тищенко имел благодаря нашей базе чем угостить. Время шло, и мадьяры стали осторожно расспрашивать о партизанах.

— Кто они такие и откуда берутся? Отчего их так много?

— Партизаны такие же простые люди, как я сам: колхозники, рабочие, — объяснил Тищенко. — Не хотят жить в гитлеровской кабале, любят свою Родину, — вот и воюют за свободу.

Мадьяры спросили у нашего товарища, почему же он сам не в партизанах.

— Я больной. — уклончиво ответил он.

— А нет ли их где-нибудь здесь поблизости?

— Не знаю. Не слыхал. — снова уклонился Тищенко.

Па следующий день он пришел к нам и передал содержание разговора. Что я мог посоветовать Тищенко?

— Вникай, — говорю, — поглубже в их жизнь и настроения. И дружи. Пожалуйста. Только держи ухо востро, не запутайся. Слушай больше — говори меньше. Понял?..

Дружба продолжалась. Мадьяры отблагодарили нашего связного за угощение и приют. Позвали к себе в барак, познакомили с товарищами и попотчевали, чем могли. И нет-нет, да и возвращались к разговору о партизанах: то они слышали, что партизаны брали на мельнице муку; то будто недавно проходили через железнодорожный путь.

Тищенко отмалчивался, хотя понемногу проникался все

большей уверенностью в том, что интерес этот не враждебный.

Наконец, посовещавшись с комиссаром, я решил сделать мадьярам шаг навстречу. Мы написали письмо — обращение с призывом переходить на нашу сторону. Тищенко «уронил» письмо возле самого барака.

Назавтра к нему пришли те двое мадьяр, которые познакомились с ним первыми. Они сразу выпалили:

— Новость-то какая — к нам приходили партизаны!

— Что это они вам повсюду видятся? — усмехнулся Тищенко.

— Да были же! Письмо оставили!

— Где же оно?

— У командира.

Вот как. — заметил неопределенно Тищенко и больше на эту тему говорить не стал.

Тогда к нему пришел сам командир части — обер — лейтенант. Он показал железнодорожному мастеру письмо партизан и попросил помочь передать ответ.

— Да я и не знаю, где их искать, — отнекивался наш связной.

Но командир был, видимо, неглупый человек. Он мягко сказал:

— Ну хотя бы попробуйте. Ведь вы везде ходите. Только если что не так — уничтожьте, пожалуйста!

— Если так — ладно, — сказал Тищенко. — Давайте попытаюсь.

И Тищенко передал мне, а Жадовец перевел такое письмо:

«Господин командир!

Я — начальник железнодорожной охраны и прошу Вас передать Ваши соображения насчет нашей встречи».

Первая, как бы случайная, встреча состоялась на квартире у Тищенко. Я послал на нее Василия Кожуха и Ивана Бугристого.

Потом я включил в это дело другого нашего связного — самого старосту села, который нашел предлог побывать в бараке мадьяр и побеседовать с ними о жизни.

Только тогда их представителю передали наши условия встречи в лесу.

Мы выбрали местечко в полутора километрах от железной дороги. По условиям мадьяр должно было прийти не более пяти человек. Я же взял с собой десять. Конечно, мы пришли заблаговременно и еще вдали от места встречи проверили, как они выполнили наше первое условие. Мадьяр действительно было только пять.

Затем мы пропустили их вперед и убедились, что никто не идет следом. Никого не оказалось. Но я все же не торопился показываться и, устроившись неподалеку по всем правилам

маскировки, наблюдал, как они себя поведут.

Наши мадьяры стояли, ходили, курили. Видимо, ждали встречи с большим нетерпением.

Наконец, прошло время, и они, явно очень огорченные, повернули восвояси. Только тогда мы окликнули их.

— Обер-лейтенант страшно обрадовался. От волнения лицо его покрылось красными пятнами.

Почему вас не было в назначенный срок? — спросил он.

— Нужна осторожность! — перевел ему Николай Жадовец мой ответ. Командир сразу облегченно вздохнул, даже улыбнулся.

Приступили прямо к делу. Я предложил организовать взрыв моста, который они охраняли, и перейти после этого к нам. Спросил, каковы его люди, всем ли Он доверяет.

Мадьярский офицер ответил мне, что на взрыв моста согласен, но что очень боится, как их встретят наши бойцы. Кто им гарантирует жизнь?

— Про мадьяра Мишу слыхали? — ответил я.

— Говорили, что это подставное лицо.

Я рассказал историю Миши и увидел, что она произвела сильное впечатление; они безусловно поверили мне.

Что касается доверия мадьярского командира к своим людям, то он считал опасными только троих, как он выразился, — гестаповских шпиков.

— Откуда вы знаете, что они гестаповцы? — спросил я.

— Знаем. Их часто вызывают в комендатуру и вообще чувствуется.

— Сумеете их обезопасить?

Командир только кивнул головой. Мне понравился этот спокойный, выразительный ответ, но сам обер-лейтенант решительно не понравился. Что-то в нем мешало, коробило, резко ощущалось нечто чужое, этакое сильно заграничное. Но что? Смуглый цвет лица? Прямой и крупный нос? Да нет, конечно.

И наконец понял: меня раздражали его небольшие, щегольски закрученные вверх усики, каких у нас никто не носит. Я видел подобные когда-то лишь в старых заграничных кинокартинах и считал их так же, как, например, галстук бабочкой, принадлежностью людей из далекого, чужого мира; резкий запах духов тоже вызвал здесь в лесу враждебное чувство.

Правда, я тут же сообразил: какое же впечатление на него должна произвести моя борода? Я рассмеялся. Офицер спросил, что меня так веселит. Я откровенно объяснил. Мы посмеялись вместе. С этой минуты разговаривать стало легче.

Все же неприятное впечатление, произведенное обер —

лейтенантом, вернулось ко мне: усач был, видно, трусоват. Он опять заговорил о том, как спасти их от гестапо.

— Мы готовы работать вместе с партизанами, — переводил мне Николай его слова, — потому что у нас общий враг. Мы ненавидим фашизм, Гитлера, проклинаем эту войну. Мы хотим домой. Но скажите, мы можем быть твердо уверены, что вы нас во — время заберете к себе в лес? Нет ничего страшнее, чем попасть в руки гестапо. Там применяют такие ужасные пытки. Лучше погибнуть в бою. Все, что угодно, — только не гестаповский застенок! Если бы мы были на фронте — могли бы сдаться в плен, ведь верно? — с оттенком смущения спросил он.

Слушал я, слушал и понял, что партизана из этого обер-лейтенанта не выйдет. То ли дело был наш Миша! В нем с самого начала чувствовался свой человек. Да он действительно и принадлежал к рабочему люду. А в этом мадьяре не было ничего от простого трудящегося человека. Ни на рабочего, ни на крестьянина, ни на служащего не похож.

Я просил Николая передать обер-лейтенанту, что мы сумеем обеспечить им отправку на самолете в тыл. Вижу — мой усач просиял. Ну и хорошо — пусть они сделают, что могут, а после нам их держать в лесу незачем. Правда, остальные четверо производили гораздо более приятное впечатление. Но они сами выдвинули вперед своего командира. Договариваться приходилось с ним.

В ближайший день я получил по рации одобрение Попудренко. Он дал согласие на связь с мадьярской группой и подтвердил возможность отправки всей группы в советский тыл.

Мадьяры начали действовать.

До взрыва моста дело еще не дошло. У нас не оказалось достаточного количества толу. Бойцы пошли за взрывчаткой в соединение, а пока мы получили возможность взорвать два вражеских эшелона.

Особенно ценным в нашей связи с мадьярами было даже не то, что они допускали подрывников к железной Дороге. Главное — появилась возможность взрывать на выбор. Мы получали сведения, что идут, составы с боеприпасами, и могли точно избирать цель. Взорвать боеприпасы — мечта подрывника.

Когда же мадьяры прислали сообщение, что должен проследовать бронепоезд, — подрывники пришли в восторг. Каждому было лестно принять участие в уничтожении такой серьезной боевой единицы противника. Все хотели идти на эту операцию.

— Надо бы, — сказал начальник подрывной группы Шахов, — как можно дольше оттянуть момент перехода мадьяр к нам. Уж

очень здорово они нам оттуда помогают!

— Однако, — заметил ему комиссар Немченко, — нельзя забывать, что мы ответственны за безопасность этих людей. Долго они помогать нам не смогут. Гестапо начнет искать причины наших систематических удач, а мадьярам они и так давно не доверяют. Сколько мы уже видели частей, переброшенных к нам, в тыл, с фронта? Это говорит о возрастающем недоверии гитлеровского командования к своим вассалам. Значит, плохо воюют мадьяры.

— Так-то оно так, — согласился Шахов.

— А раз так, — закончил свою мысль комиссар, — то я предлагаю сразу же после взрыва бронепоезда забрать эту группу мадьяр в лес.

— Помилуйте, Тимофей Савельевич! А как же мост? Главная ж наша цель! — закричал Шахов. — Как раз бы к Первому мая!

— Люди дороже, — просто сказал Немченко.

И было решено не подвергать наших помощников большому риску, сразу после операции с бронепоездом вывести их к нам.

Комиссар Немченко

Не случайно судьба мадьяр была решена словом комиссара. К его мнению прислушивались всегда, и я не раз мысленно благодарил подпольный обком за такой удачный выбор человека.

Тимофея Савельевича не только уважали, но и любили в нашем отряде все: командиры и бойцы, старики и молодежь. И заслужил он эту любовь делом, знаниями и вниманием к людям.

Немченко не принадлежал к числу таких ораторов, которые пламенными речами умеют поднимать людей на большие дела. Этого качества ему не хватало. Но чем больше я наблюдал отношения Тимофея Савельевича с бойцами, тем больше стиль его работы был мне по душе.

Немченко был мастером тихой беседы. Сядет бывало с группой партизан — и польется свободный, откровенный разговор. Толкуют люди о будущем, о настоящем, о жизни, о себе. На первый взгляд покажется, что разговор течет сам по себе. Однако же Немченко незаметно направлял интерес собеседников к благородной цели, вызывал у них желание поделиться глубокими думами.

Сам же комиссар не торопился высказывать свои мысли. Он предпочитал слушать. А слушать он умел; умел так, что люди испытывали большое желание поделиться с ним своими планами,

сомнениями, мечтами.

В тесном общении с бойцами он узнавал настроения и характеры людей. И потому, когда комиссар обращался к группе партизан, уходящих на боевое задание, его напутствие каждый раз звучало по-новому. Говорил он не «вообще», а обращался к людям, которых отлично знал: помнил, сколько в коллективе опытных, бывалых бойцов и сколько непроверенных новичков, есть ли в нем болтуны, лихачи. И комиссар твердо знал, от чего нужно предостеречь коллектив, какими примерами нацелить его на успех.

Умение Тимофея Савельевича почуять в человеке самую сердцевину постоянно помогало нам в нашем общем деле. Ведь не всякий характер можно «раскусить». Нелегко поставить человека на такое место, где он может использовать все свои возможности; он их иной раз сам не знает. А наш комиссар так разбирался в этом, что и по сей день его вспоминаешь.

Совсем недавно привелось мне прочитать в газете имя одного из бывших партизан нашего отряда: газета сообщала, что председателю колхоза имени Калинина Алексею Максимовичу Матюхину присвоено звание Героя Социалистического Труда. А ведь этот самый Матюхин немалый срок был в нашем отряде рядовым бойцом. Приметил, выделил его именно комиссар.

Он оценил скромность и тихие повадки Матюхина, никогда не стремившегося выделиться среди других, не болтавшего много у костра, но никогда не отставшего в деле. Немченко подготовил Матюхина к вступлению в партию, просил командование испытать его на заданиях потрудней. И вот мы из «среднего бойца» получили отличного командира отделения, коммуниста.

Теперь, когда я узнал о доблестном труде бывшего партизана Матюхина в послевоенные дни, мне вновь ясно представилась вся та тонкая работа с людьми, которую проводил наш комиссар. Да, он выращивал людей со всем умением учителя и энтузиазмом коммуниста. Он умел заметить и развить в людях лучшие их качества, и так же чутко он настораживался, когда дело касалось того, что роняло честь советского человека и народного мстителя. Тут комиссар был беспощаден.

У нас был случай, показавший, что Немченко, при всей его мягкости может решить без всяких колебаний вопрос о жизни человека, совершившего преступление.

Весной сорок третьего года, когда отряд имени Чапаева только начинал свою самостоятельную деятельность, у нас случилась беда, которую тяжело переживали все партизаны.

Во время операции хозяйственного взвода в одном селе

гражданка Кубланова оказалась ограбленной. У нее взяли вещи, к слову сказать, совершенно не — партизанского обихода: шелковую шаль, тюлевые занавески и тому подобные предметы. Этим больше всего и была обижена пострадавшая. Она так мне и сказала:

— Если бы у меня забрали сапоги, пальто или еще что-нибудь, нужное партизанам, — я б слова не сказала.

Я объяснил гражданке Кублановой, что мы мародерство не оправдываем ни нуждой, ни голодом, никакой даже самой крайней необходимостью. Обещал вещи вернуть, преступника наказать. Я действительно готов был убить его собственными руками.

Но когда преступник был обнаружен, я задумался.

Мародером оказалась наша медсестра, молодая девушка Вера Каштан.

«Кто же такая, — думал я, — эта самая Вера? Почему она так поступила? Ведь она воспитывалась при нашем, советском строе, училась в школе, росла в комсомольской среде!» Если самый факт глубоко поразил меня, то личность преступницы удивила не меньше. То, что мародерку следовало расстрелять, не подлежало сомнению. Но меня интересовал не только приговор. Я искал объяснения: откуда у нее отвратительные, хищнические повадки, свойственные нашим лютым врагам — грабителям-оккупантам?

Ответ на этот вопрос следовало найти не только для себя, но для всех наших людей. Естественно, что надо было объяснить партизанам позорный факт, мобилизовать вокруг него общественное мнение. Об этом мы и поговорили с комиссаром. Тут же по его предложению созвали внеочередное партийное собрание.

Нашлись у нас люди мягкие, нерешительные. На собрании раздались такие вопросы:

— Нет ли тут какой-то доли и нашей вины? Ведь должны были оказывать влияние на молодого человека, воспитывать?..

Другие шли еще дальше и утверждали, что ответственность за поведение Веры Каштан ложится на весь наш комсомол. Предлагали на первый раз простить и следить за каждым ее шагом.

Взял слово комиссар.

— У нас не колония для правонарушителей, — сказал он. — Партизанский отряд, конечно, школа, но не исправительный дом. Посмотрите на нашу молодежь! Комсомольцы научились в отряде еще больше любить свою Родину, еще больше уважать ее святые законы. Они и в лесу именно потому, что защищают все это своей кровью, своей жизнью. Нельзя на эту Местную, хорошую

молодежь бросать тень преступления, совершенного выродком. Не могут наши комсомольцы принять на себя упрек в том, что плохо влияли на преступницу, не воспитывали ее. Она пришла к нам уже преступницей. А здесь, в лесу, могла научиться только хорошему. Если этого не случилось, тем яснее, что она — не наш человек.

И туг комиссар неожиданно вытащил из кармана обыкновенный помазок для бритья. Он поднял его, чтобы всем было видно, и спросил:

— Знаете, товарищи, что это за штука?

Удивленные партизаны не знали, как это понять.

— В другой час можно бы подумать, что комиссар шутит. Но разговор шел серьезный, смеяться не время.

Знаем, — раздались голоса. — Кисточка для бритья.

— Да, — подтвердил комиссар. — Кисточка. Пустяковый предмет, не правда ли? А вот вернулись с операции наши комсомольцы и сдали как трофей в хозяйственную часть. Объяснили, что никто не желает единолично пользоваться, бриться многим нужно. Теперь вам ясно, какая у нас молодежь? А вы хотите, чтобы она отвечала за преступление мародера.

Не много времени прошло после расстрела мародерки Каштан, а мы опять убедились, что комиссар с топким чутьем подходит к решению судьбы человека. Перед нами опять встал очень сложный вопрос, и Тимофей Савельевич решил его наилучшим способом.

Дело было связано с ликвидацией бандитской шайки, которая бесчинствовала в наших краях.

К нам приходили с жалобами, что какие-то «партизаны» занимаются грабежом то в одном, то в другом селе. Отбирают у жителей скот, птицу, одежду, сбрую, не останавливаются ни перед чем.

Ясно, что под маской партизан скрываются бандиты. Во всей округе дислоцировался один лишь наш отряд. Это нам было точно известно. Наши партизаны так действовать не могли. Значит, появилась шайка. Следовало, не медля ни одного дня, разыскать этих мерзавцев, чтобы окружить и уничтожить с такой же беспощадностью, с какой мы били фашистов. Мы не сомневались, что банду создала жандармерия с целью очернить доброе имя нашего отряда.

И вот разведка напала на след банды, установила, что в ней двадцать членов. Главарь — неизвестно откуда появившийся тип по фамилии Мальков. Остальные — сельская молодежь.

— Молодежь? — переспросил комиссар у разведчиков. — А из каких сел, установили?

Разведчики имели сведения только о четверых из ближнего села.

— Фамилии? — спросил снова комиссар.

Фамилий пока не узнали.

А нам вроде ни к чему, — пояснили разведчики. — Мы больше адресом их интересовались да численностью. Ведь памятников, наверное, не будем ставить.

Однако комиссар требовал имена:

— Быть не может, — толковал он разведчикам, — что все эти молодые люди — отпетые негодяи. Надо выяснить — кто, когда и как попал в банду.

Разведчики снова ушли. Немченко сказал мне:

— Перебить два десятка человек не велик подвиг. Но они будут отбиваться, с нашей стороны возможны жертвы. Я так полагаю, надо бы разобраться. Есть там честные ребята, помяните мое слово. Пошли в лес до партизан, а попали к бандиту. Удастся связаться, возьмем банду малой кровью, а для жизни сохраним тех, кто еще не пропал.

И мы стали действовать по плану комиссара. Он лично прошел в то село, где жили родители молодых членов шайки: Сырыченко, Антоненко и Чайко.

Вернулся Тимофей Савельевич довольный. Родители предполагаемых бандитов узнали бывшего директора семеновской школы, оказалось, что в шайке есть даже бывшие ученики комиссара.

Сначала родители с гордостью сообщили Тимофею Савельевичу, что их дети — «тоже в партизанах». Они очень испугались, узнав истинное положение вещей. «Как? Неужели наши сыновья грабят народ?!»

— Подождите горевать, — сказал им Немченко. — Лучше помогите нам разобраться. Как зайдут до дому — попросите задержаться и дайте нам знать.

Через два дня состоялась встреча учителя с бывшими учениками. Я присутствовал при ней. Ребята со слезами на глазах бросились к Тимофею Савельевичу: они уже сами поняли, в какой они попали «отряд».

— Что нам делать, Тимофей Савельевич? — с отчаянием спрашивали ребята. — Мальков всех боится. Партизан — еще пуще, чем немцев. Только мирные ему не страшны. Он их рад попугать. Грабит со своими корешками — Сверчуном и Ситником — да еще с двумя молодцами вроде них. Те нам рассказали. Вещами торгует через двух бабок-кулачек. Убежать от него страшно. Хаты пожечь обещал. Поймает — убьет за дезертирство.

Когда взвод наших стрелков под командованием Николая

Креза окружил и вывел на поляну шайку, мы увидели, что были в ней и хлопчики лет по пятнадцати, и девушки — совсем зеленая молодежь. Мальков завлек их угрозой, что увезут в Германию. Большинство впоследствии превратилось у нас в смелых бойцов, хороших партизан и партизанок.

И в этом тоже была немалая заслуга Немченко.

Комиссар взял эту молодежь на свое особое попечение, и ребята от него буквально не отходили.

А Мальков, оказавшийся провокатором гестапо, понес заслуженную кару, его повесили на осине.

Сколько раз бывало ищут комиссара — найдут в кругу новых ребят. Круг этот все разрастался за счет вновь попавшей к нам молодежи, и все они жадно слушают, как Тимофей Савельевич объясняет им, что такое храбрость, учит партизанской дисциплине. Подойдешь и видишь — готовит комиссар новых бойцов.

Любил я и часы, когда Тимофей Савельевич усаживался возле сколоченного им для работы столика и нацеплял на нос очки. Он вооружался карандашом и бумагой и начинал «заниматься».

Если вошедший в такое время в землянку партизан с разгону громко обращался ко мне, то, оглянувшись на «письменный стол» комиссара, снижал голос. Я был рад, что люди уважают занятия Тимофея Савельевича. А он, что говорить, умел плодотворно поработать. Уж я знал, что после таких занятий он поднимет на лоб очки и обязательно скажет:

— Вот как пораскинешь умом, и выходит, что мы не учли. — И тут следовала какая-нибудь дельная мысль.

Я любил наблюдать, как комиссар ищет эту мысль, находит ее. В эти минуты в нем виден был учитель; сразу вспоминалась мирная жизнь, в которой он был занят своим благородным трудом.

Не удивительно, что к мнению Немченко прислушивались, считались с ним, и когда комиссар потребовал вывода в лагерь наших новых помощников — мадьяр, с ним долго не спорили. Однако в тот злосчастный день все сложилось не по нашему и не по комисарову желанию.

Под утро подрывная группа Шахова ушла охотиться на бронепоезд.

Все мы волновались, ждали небывалого взрыва.

Часа через, полтора после ухода Шахова являются в лагерь связные железнодорожники с разъезда № 116. Сообщают, что у них остановился бронепоезд. Судя по всему, дальше не пойдет.

Это сообщение путало все карты. Оно означало, что группа Шахова сидит напрасно.

Мы стали обсуждать, что делать, когда связные, между прочим, добавили, что в сторону моста пошла автодрезина. На ней группа офицеров и, кажется, двое из них — гестаповцы или техники-саперы; в сумраке раннего утра трудно было разобрать форму.

Час от часу не легче. Что же получается? Наши подрывники уже, конечно, заложили мину. Теперь дрезина нарвется на тридцатикилограммовый заряд, приготовленный под бронепоезд.

— Шахов догадается пропустить дрезину. — с уверенностью сказал начальник штаба Тимошенко. — Что он не сообразит — такую мелочь.

— Как мелочь? — почти закричал Немченко. — Я никогда не видел его таким взволнованным. — Подумайте, что произошло.

— Чепуха, — возразил. Тимошенко. — Просто дрезина пошла на проверку пути. Не хотят рисковать.

— А гестаповцы? — воскликнул Немченко. — Нет, дело скверное, товарищи! Надо сейчас же, немедля ни минуты, посылать к нашим мадьярам связных. Провал, помяните мое слово, провал!

— Да, конечно, надо связаться с обер-лейтенантом, со всей его группой. Если им угрожает опасность — ж предупредить. Если тревога ложная — узнать, в чем дело.

— А Шахов? Нельзя же и его так оставлять! — обратился ко мне Тимошенко.

— Что такое, почему?

— Шахов может подорвать дрезину, но он взял почти весь запас взрывчатки.

— Шахова оставьте в покое, — отозвался комиссар. — Для него угрозы нет.

— А если дрезина остановится и саперы обнаружат мину? — доказывал Тимошенко. — Нашим придется вступить в бой.

На дрезине людей меньше, чем у Шахова, — справится, а если бы дрезина взорвалась — мы бы уже слышали… они ее, конечно, пропустили. Нужно идти к этому оберу. Ведь пропадут люди, поймите!.. Где Жадовец? — убеждал Немченко. — Пусть немедленно одевается немцем, пусть скорее идет.

Я принял решение. Николай Жадовец, вызовет мадьяр. Я иду к Шахову: саперы могли действительно обнаружить мину, тогда нашим подрывникам грозит опасность. Если только начнется бой — бронепоезд выйдет на помощь. Надо идти на выручку.

— Немченко и Тимошенко остаются здесь. Я беру два взвода.

Через три минуты я уже шагал во главе сотни бойцов.

С Шаховым ничего не случилось, так как, заметив дрезину, он снял тол. Когда мы с ним вернулись в лагерь, узнали, что

комиссар Немченко с тремя бойцами ушел встречать мадьяр.

— Что такое, почему пошел комиссар? — рассердился я. Тимошенко доложил, что до ухода Николая Жадовца с заставы притащили какого-то мадьяра. Наши ребята его чуть не подстрелили — он искал партизан. Комиссар не знал этого солдата — на встречах с обер-лейтенантом бывали другие. Но мадьяр объяснил, что послан обер-лейтенантом срочно вызвать наших командиров. Вся группа ждет в том месте, где обычно встречались.

— Ну, понятно. Кроме Немченко, некому было пойти. Ведь только я да он знали место встречи. Но почему взял такую слабую охрану, только трех бойцов?

— Больше брать не пожелал, — ответил Тимошенко. — Комиссар считает, что большая группа может отпугнуть мадьяр — не решатся выйти.

Я уже не слушал начальника штаба. С той же сотней бойцов, которая только что вернулась со мной, мы бросились к месту встречи. Но было поздно. Мы так никогда в точности и не узнали, что произошло.

Наш комиссар погиб. Погиб, вероятно, по вине обер-лейтенанта. Попав в руки гестапо, тот мог выдать место наших встреч. И теперь в этих страшных лапах гестаповцев, которых так боялся командир мадьярской охраны, были, возможно, и наши люди: комиссар и двое бойцов.

Мы знали, что они не скажут гестаповцам ни слова. Были настолько уверены в этом, что даже не сменили места лагеря.

Тяжело было без комиссара. Очень больно сознавать, что враги выместят на этом чудесном человеке свою бессильную, звериную злобу против всех нас. Непростительным казалось, что допустили Немченко уйти без надежной охраны. Так часто бывает, что заботливый, осторожный товарищ, предупреждая об опасности других, не думает о риске собственной жизнью!..

Комиссар учил меня напрасно не рисковать. Учил и других. Многому хорошему научил нас за этот недолгий срок, что мы были вместе.

Лес в огне

Несмотря на то, что взорвать мост к Первому мая нам не удалось, партизаны преподнесли оккупантам в этот день немало «подарков». Эти «подарки» гремели по всей округе.

Второе мая началось тихо. Было теплое солнечное утро. Мы скромно отметили праздник. После сытного завтрака весь отряд собрался на полянке послушать доклад нового комиссара — Харитона Максимовича Чернухи.

Потом все партизаны, кроме разведчиков, отдыхали. Выходной день был дан не зря: назавтра в ночь отряду предстояло покинуть лагерь, перебраться в другой лес. Нам пора было переменить базу — долго засиживаться на одном месте не полагается.

Отряд стоял тогда в урочище, прозванном в этих местах «Змеиные горы». Почему именно змеиные, я не знаю. Но горы, вернее небольшие холмы, здесь действительно были. Лагерь располагался в центре густого соснового леса. С северо-востока его огибала река Ревно. По ее берегу зеленый массив поднимался на север, до районного центра Семеновка, а там за рекой были уже Машевские леса. Туда-то мы и собирались выйти нынешней ночью.

Но еще не кончил комиссар доклад, как прибежали наши друзья мальчишки из соседнего села, принесли тревожные вести: появились каратели.

Крупные силы заняли Барановку и Орликовку, расположенные на северном берегу реки Ревно, Блешню и Карповичи, соседствующие с нашим лесом с западной стороны.

Районный центр Семеновка был третьим углом этого треугольника. Разведка выяснила, что каратели начали блокаду урочища «Змеиные горы».

Мы решили встать на оборону и принять бой. Отряд Чапаева к этому времени был уже хорошо вооружен, численность его достигла трехсот пятидесяти бойцов; мы находились в благоприятных условиях пересеченной лесной местности. При создавшейся обстановке нам было легче держать оборону, нежели идти на прорыв. А гитлеровцы, видимо, рассчитывали, что мы постараемся выйти из кольца, и устроили ряд засад, но мы о них быстро проведали и не пошли на провокацию.

Отряд готовился к активной обороне. Ночь прошла тихо. Каратели стояли на прежних позициях. Мы полагали, что бой начнется с утра.

Но и утром враг не начинал наступления.

Вдруг со стороны села Барановка прибежал связной. Он доложил, что неподалеку загорелся лес: надо отодвинуть заставу. Мы тогда не придали этому большого значения.

Я послал тридцать человек помочь очистить защитную просеку. Не успели люди закончить там работу, как пришло новое донесение: со стороны Орликовки тоже тянет дымом.

К вечеру огонь заметили и в третьей стороне.

Итак, каратели повели наступление при помощи лесного пожара. Решили расчистить себе дорогу к лагерю огнем. С этим противником отряд встречался впервые. Мы, старые партизаны-федоровцы, тоже ничего не знали о такой форме борьбы.

Как следовало поступить? С появлением нового врага наши прежние планы обороны уже не годились. Решение нужно принять мгновенно. Я собрал командиров, обрисовал положение. Большинство товарищей высказались примерно так:

— Каратели рассчитывают на наш страх перед огнем. Хотят заставить нас броситься в лазейку, которую оставят, чтобы нас взять. Значит, уходить из лесу нельзя. Надо бороться с огнем, как с любым другим врагом, и победить его на том участке, который годится для выхода нам, а не карателям.

Конечно, будь это в июльскую жаркую пору, когда сухостой, валежник и хворост воспламеняется как порох, нам ничего бы не оставалось, как идти на прорыв. Но в мае леса еще сырые, горят плохо, молодые травы совсем не перебрасывают огня, хвоя еще не высохла, да и деревья еще переполнены соком. Нам казалось, что майский пожар в лесу страшнее дымом, чем огнем.

Итак, приказ отдан — из лесу не уходить!

С этой минуты все партизаны, вооруженные топорами, пилами и лопатами начали рубить и окапывать оборонительные полосы. На просеках собирали сучья, засыпали их землей, рыли канавы. Пламя было еще далеко но гарью тянуло уже сильно. И все чаще мы видели бегущих в панике зверей. Зайцы и лисицы, волки, хорьки барсуки — все лесное население, не замечая нас и не враждуя меж собой, мчалось по направлению к берегу реки.

Когда же настала ночь, небо покрылось багровым заревом пожара. Утешительно было то, что ветер улегся и огонь двигался к нам медленно.

Все, кроме разведчиков, работали до рассвета без отдыха на расчистке леса.

Утром каратели открыли по лесу стрельбу сквозь огонь. Наши заставы не отвечали.

Весь светлый солнечный день четвертого мая фашисты простреливали горящий кругом нас лес, оставляя свободным

выход на Барановку. Но именно там были сосредоточены их наиболее крупные силы.

Вместе со своим политруком Иваном Ивановичем Коноваловым славная молодежь разведвзвода — комсомольцы Крез, Дежков, Сахариленко, Гречкосей, Макаревич, младший брат нашего нового комиссара Петр Чернуха, да и многие другие показали в тот день исключительную стойкость и отвагу. Они пробирались в густом дыму, среди деревьев, верхушки которых были охвачены пламенем, рисковали не найти выхода обратно, к отряду.

Дежкову обожгло щеку и ухо. На Макаревиче тлела одежда — он два раза бросался на землю, катался, чтобы затушить. Но ребята продолжали ходить пешком «в ад и обратно»; раем они считали лагерь, где тоже дышалось нелегко. Но у нас имелось одно спасительное место, которое разведчики быстро прозвали «курортом».

Это была большая яма, или, как у нас говорят, вертебина. В ней задержались весенние воды. Не то болотце, не то озерцо. В некоторых местах его глубина достигала высоты человеческого роста. До сих пор мы брали отсюда воду на хозяйственные нужды, разумеется, исключая кухню: стирали, мылись сами и мыли лошадей. Теперь же водоем начал приносить новую пользу: возле него легче дышалось, а опаленные огнем разведчики только и ждали случая, когда можно будет немного освежиться.

Немецкие пулеметы изредка били с двух сторон того треугольника, которым оцепили нас каратели. К вечеру второго дня разведчикам удалось добиться ценных данных о маневрах врага. Главные силы командование карательной части собрало у Барановки, куда и гнал нас пожар. Самый слабый заслон стоял на пути к Семеновке. Штаб карателей полагал, что идти на районный центр партизаны не решатся. Мы же выбрали для прорыва именно это направление. Готовились выйти к ночи.

Однако под вечер обстановка изменилась. Весь день стояло жаркое безветрие, в небе ни облачка, а тут вдруг сильные порывы ветра прошли над лесом. Огонь заревел, как зверь: его поддержал свежий приток воздуха.

С подветренной стороны пламя в мгновение ока перескочило через наши оборонительные просеки. А ветер после нескольких порывов взялся и подул с такой равномерной силой, будто явился по заказу наших врагов.

Идти в прорыв на Семеновку стало невозможным. От Блешни по верхушкам молодых смоляных сосенок пламя неслось в нашу сторону со скоростью ветра. Огонь останавливался лишь на мгновение и опять бросался вперед, захватывая все новые участки

леса. Сквозь глухое ворчание пламени было слышно, как лопаются стволы взрослых сосен, трещат молодые посадки.

Самую большую опасность для лагеря представляла волна, шедшая с юга: там всюду хвойный, смолистый лес.

Жители лесных полос знают старый способ спасения от пожара. Он состоит в том, чтобы зажечь и пустить по ветру впереди себя новый пожар и следовать за ним. К этому средству только и оставалось прибегнуть теперь: побороть стихию стихией и послать огонь на ожидавшего нас врага.

Одновременно с тем, как поджечь лес впереди, надо было надежно оградить себя от идущего на нас пожара, расчистить новый оборонительный рубеж. Мы не могли сразу пойти за огнем, — нужно дать остыть обгоревшему лесу.

Воздух в лагере уже был раскален. Дышать нечем. В горле саднило, глаза слезились. Некоторым товарищам становилось плохо. Но работы никто не оставлял.

И вот по ветру пущен новый пожар. Добрую половину этой страшной ночи партизаны меж двух огней пилили, рубили, расчищали новую просеку — на этот раз последнюю свою защиту. Если бы ветер повернул, огонь поймал бы нас в ловушку.

Наконец, под утро мы смогли немного передохнуть. Перед нами лежал сожженный, свободный от огня участок. Но измученные люди не могли идти. Все бросились к грязной, взбаламученной болотной луже.

Никто не думал о том, чем кончится наша затея с пожаром. Никто не смотрел ни в сторону пущенного нами пламени, ни в сторону идущего к нам. Все наслаждались временным облегчением, данным водой.

Медсестры кричали, запрещая людям смачивать ожоги. Но их никто не слушал. Пусть потом на коже вздуются пузыри, пусть станет еще мучительней боль, пусть будет что угодно потом, — но сейчас нужна только передышка. И может быть хорошо, что мы получили ее. Выдержать предстояло еще очень многое.

И тут начал менять направление ветер. От тлеющих головней сгоревшего леса понесло на нас жаром и гарью.

Так наступило четвертое утро. Мы оказались в центре огненного кольца.

Каратели снова открыли огонь по горящему лесу. Звуки пулеметных очередей сливались с треском ломающихся деревьев, общим гулом пожара. Только привычным к стрельбе ухом можно было определить, что сегодня пулеметы стояли к нам ближе, чем вчера. Видно, гитлеровцы продвигались вслед за огнем по пепелищу.

Единственно, что теперь можно было сделать, — это ничего

не делать и сидеть в воде, ждать, пока огонь исчерпает свою силу. Тем, кто останется жив, — встать на оборону.

Глянули бы на нас в эти часы немцы. Не люди, а черти в пекле. Лица черные, глаза воспаленные, красные, в голове и на бородах — мусор, хвоя, какие-то обгоревшие клочки. Я и сам не каждого партизана узнавал сразу. Но для меня красивее и лучше этих людей тогда быть не могло.

Посмотреть на каждого в отдельности — может, ничего особенного. Всякий вел себя по-своему; кто хуже, а кто лучше. Некоторые плакали, а иные еще шутили. Одна медсестра в ужасе заткнула уши оттого, что поблизости дико ржала околевающая от ожогов лошадь. Эта медсестра не увидела, что рядом с ней потеряла сознание вдова погибшего комиссара — Варвара Михайловна Немченко. А другая сестра — почти девочка, махонькая и слабая на вид — подняла через силу эту рослую женщину, отнесла поближе к воде, положила головой на кочку.

Два друга старались спасти ротный миномет. Миномет все норовил соскользнуть в воду с высокого пня, куда его с большими усилиями взгромоздили. Оба товарища пыхтели молча, стиснув зубы. А неподалеку старая повариха разведвзвода, не выпуская из рук лопаты, молилась богу.

С руганью, со слезами, с шутками, с беспримерным мужеством и с еле преодолеваемым страхом, но с настоящей партизанской выдержкой люди старались сохранить готовность к обороне.

Вот какую картину представлял собой наш лагерь к середине дня.

Широкой полосой вокруг водоема лес был вырублен и расчищен. Боеприпасы, часть продуктов высились кучами на кочках и пнях. Санчасть — на повозках, на мелком месте. В воде и люди: едва попав сюда, они засыпали. Пришлось выделить дежурных, которые не дали бы захлебнуться. Но попили болотной водички все-таки вдосталь.

А по краям этой, переполненной людьми лужи стояли на бруствере из дерна девять ручных пулеметов и два станковых; пять минометов. Поди нас возьми!..

Я приказал радистке Щербаковой во что бы то ни стало связаться с соединением, передать Попудренко, быть может, последнюю радиограмму.

Щербакова долго пыталась включить рацию, но потом, видно, расстроилась, даже рассердилась. Нервно смотала шнур, вложила всю аппаратуру в сумку и крикнула: — Один грохот в эфире!..

Мне пришлось подбодрить ее:

— Ну, пожалуйста, постарайтесь, попробуйте еще раз!

Уж не близится ли гроза? — спросил слышавший наш разговор начальник штаба Тимошенко. Мы посмотрели на небо. Трудно было что-либо понять: вместо солнца висел за дымом желтокрасный шар. Но и шар скоро скрылся во мгле. И вдруг над нашими головами прокатился сильный грохот артиллерийской канонады.

— Все напасти на нашу голову! — сказал комиссар Чернуха. — Артиллерии еще не хватало!

Грохот нарастал и ширился. На совершенно почерневшем небе сверкнули яркие зигзаги.

— Урра, молния! — крикнул кто-то истошно-радостным голосом.

В самом деле, на минуту все зловеще затихло, потом рванул ветер, опять загремело небо — и началась гроза.

В эту ночь под проливными потоками дождя мы покинули «Змеиные горы». Бурный ливень словно вбил огонь в землю. Мы передвигались в полной темноте, изредка озаряемой молниями. Противника нигде не встретили — такая буря была ему не по вкусу, да и по правде сказать, он имел все основания думать, что утром найдет в лагере наши обгоревшие кости.

Отряд форсировал реки Ревно и Рванец и пошел по намеченному маршруту в Машевские леса.

Опять у родного дома

— Огонь прошли, воду прошли, — говорили партизаны на привале, — теперь остались медные трубы.

Люди рассматривали свою прожженную, вымокшую одежду, ругали погоду, природу, сбрасывали с себя никуда негодные отрепья, оставались чуть не голышом.

Страдали молча, а смеялись громко. Теперь даже некоторые ожоги казались смешными. Мне выражали сочувствие по поводу потери половины бороды, а у молодого подрывника Пети Трояна получилась очень забавная прическа: «паровой перманент», — шутили ребята.

Мы продвигались по Машевским лесам в поисках подходящего для лагеря места. Все здесь мне было знакомо; но ориентируясь без труда там, где провел свое детство, я узнавал и в то же время не узнавал этот лес. Повсюду изуродованные снарядами деревья, ящики из-под патронов, артиллерийские гильзы и, наконец, близ заросшей глухой просеки, — десятки оставленных прямо на земле полуразложившихся трупов, может

быть, моих односельчан. Страшные следы врага. Нам пришлось начать устройство нового лагеря с похорон.

Потом поставили шалаши на лугу в березняке. Вокруг нас лес пересекали дороги, ведущие к интересующим нас пунктам. В двух километрах на запад — путь на железнодорожную станцию Костобоброво. В полутора километрах на восток — к станции Углы. Это — участок все той же самой железной дороги, соединяющей Новозыбков с Новгородом-Северским, которую мы согласно заданию не должны выпускать из поля зрения. Тут же неподалеку, всего в четырех километрах от нас, — межрайонный шлях Семеновка — Новгород-Северский; над ним тоже надо взять опеку.

Рукой подать до родного моего села Машево, стоит оно на этом самом межрайонном шляхе. Туда-то и направил я первым делом своих разведчиков: ведь нужно было заново обрастать связями с населением.

Через два дня у нас были новые связные. На станции Углы был готов работать с нами железнодорожный мастер Белопухов. Он порекомендовал нам других железнодорожников: рабочего Фотеева, обходчика Лемешко. Жена Фотеева Пелагея служила уборщицей в общежитии гарнизона станции Углы. Она помогла найти подходящих людей среди старост, пастухов, лесничих. Одни мы не оставались нигде; куда ни приходили — в любом месте быстро пускали новые корни.

Но вот вернулись разведчики из Машева. Что-то там произошло за минувший год? Живы ли люди, которых я хорошо знал, которым мог верить?

Много тяжелых известий принесли в лагерь товарищи.

Расстреляна семья нашего комиссара Чернухи, семья местного врача Эверта, расстреляны колхозные активисты Гурьев, Ременец.

Погибли вожаки комсомольской группы «За Родину» братья Санченковы и Виктор Лантух. Они успели спалить девять немецких автомашин, несколько складов, убить пятерых гитлеровцев. И, увлекшись, не думая о собственной опасности, среди бела дня подожгли немецкую машину. Немцы схватили комсомольцев и бросили живыми в огонь.

Но по-прежнему жили в своей хате мой отец со своей второй женой, от которой я когда-то убежал из дому. У них двое сыновей: я их помнил мальчишками — теперь они стали юношами, годными по возрасту в партизаны. Одному лет восемнадцать, другому — шестнадцать. Ведь я не был в Машеве почти десять лет, если не считать прошлогодней разведки.

Приятно было сейчас слышать, что старый учитель Фотий

Лазаревич жив и работает. Он по-прежнему в пастухах, но к нему в лес бегают учиться сельские детишки: организовал советскую школу на поляне. Живы были и мой дядя — Филипп Семенович Артозеев, и товарищ юности Андрей Шевцов, еще в тридцать третьем году оставшийся без ног по милости японских самураев.

Да, многих мне хотелось повидать в своем селе. На многих я надеялся, как на верных людей.

На совещании командно-политического состава все единодушно решили, что надо отметить наше прибытие на новое место хорошей операцией. Напомнить оккупантам, кто здесь хозяин, проучить полицию, пополнить отряд новыми силами, ну и поднять, конечно, на должную высоту боевой партизанский авторитет.

Для всех этих целей село Машево вполне подходило. По данным разведки, в нем всего пятнадцать гитлеровских солдат и двадцать пять полицаев. Побить такой гарнизон — для нас пустяк. А все же операция, судя по всему, предстояла серьезная и даже опасная.

Риск состоял в том, что по шляху шло беспрерывное движение немецкого транспорта, а в шести километрах от Машева, в селе Поповка, был размещен батальон фашистских солдат. Требовались исключительная быстрота и натиск, чтобы во время операции врагу ниоткуда не подоспела помощь.

В этом же деле я решил впервые повторить уже однажды использованный нами прием: наступление с помощью «партизанской артиллерии» или «нового вида» оружия, как назвал это Вася Коробко, когда мы брали станцию Корюковка. Желательно было выступить с блеском.

Двенадцатого мая в двадцать три часа пятнадцать минут боевые подразделения заняли исходные позиции и ожидали моего сигнала — трех белых ракет.

Ночь была тихая, безлунная, только звезды ярко блистали на темном небе. Из Машева не доносилось ни звука. Легкий туман поднимался над речкой, отделявшей нас от села. Он помог нам скрытно перейти на ту сторону.

Для того, чтобы воодушевить бойцов на штурм, я решил пустить ракеты с центральной улицы села: пусть увидят, что мы уже на месте. Им легче будет рвануться вперед.

С четырьмя разведчиками я прошел хорошо знакомым путем: через луг, больничную рощу, а оттуда — к огородам. Мы доползли до самого здания школы. Полицейский пост находился всего в ста пятидесяти шагах от нас.

Тихо приказал своим ребятам: как только пущу первую ракету, достать и ликвидировать эту группу. До начала операции

оставалось пять минут. Но вот стрелка на моих часах показала условленное время.

Ракеты взвились, и разом заговорили наши пулеметы, раздались громкие крики: «Ура!», «За Родину!» И тут же грохнула «артиллерия». Бойцы ворвались в село как ураган.

А я, оказывается, пускал свои ракеты, сидя прямо под пулеметом «Универсал», установленным на здании школы. Куда делся пулеметчик — не знаю. Но наш партизан Мрачковский добрался до стоявшего сиротой вполне исправного оружия и открыл из него огонь по врагу.

Не помню, какую еще операцию удавалось провести таким ударным темпом. В полчаса, не потеряв ни одного человека, мы захватили село, уничтожили весь гарнизон гитлеровцев, до десятка полицаев. Остальные, оказав небольшое сопротивление, разбежались.

По установившемуся порядку подразделения занялись своими делами. Одни жгли документы старостата и оккупантов. Другие решали хозяйственные вопросы на складах. Третьи собирали людей, просившихся в отряд, выясняли биографии. А народу набежало множество.

И вот, наконец, я мог не ползком, а во весь рост пройти по улице того села, где родился. В запасе двадцать — двадцать пять минут. Операция по приказу рассчитана на час. Наш дом неподалеку. Повидать отца? А Фотия Лазаревича? А друга Шеврона? А дядьку?.. С кем бы из них мне полезнее всего встретиться сейчас, чтобы уж полностью обеспечить дальнейшую организацию связи?

Я зашагал к хате отца, но не дошел. Остановился. И повернул обратно. Может, и нехорошо — но отказался от встречи с отцом все из-за той же мачехи. Когда-то в раннем детстве я считал ее ведьмой. Нынче же пришел к выводу, что именно из таких, как она, людей получаются предатели: если женщина могла сживать со свету детей своего мужа, если она для этого опаивала маком и какими-то снадобьями мою маленькую сестру, а меня — больного, но еще живого укладывала в гроб, то кто же она есть?

Нет. Я не должен идти в дом, где ее встречу. Я рискую не только собой, а потому должен держаться подальше от таких людей.

Поручив Пете Чернухе узнать о здоровье отца и привести, если желают уйти с нами, моих братьев, я зашел к другу Андрюше Шеврону. Туда же вызвал нужных мне людей.

Встреча с товарищем юности была радостной. Я гордился им, потому что этот стойкий человек, хоть и безногий инвалид, оставался полезным Родине больше, чем иной здоровяк. Андрей

быстро помог мне составить список безусловно верных людей, с которыми он в это тяжелое время поддерживал отношения. Он давал им читать сохранившийся у него в тайничке номер газеты «Правда». Товарищи уже знали смятый лист назубок, но приходили просто взглянуть, а потом откровенно, по — советски, побеседовать друг с другом.

Андрей с довольным видом засветил передо мной какую-то странную лампу и хитро спросил:

— Хорошо горит?

Я даже не сразу понял, в чем тут соль. На столе стояла простая консервная банка, заправленная каким-то жиром, из которого торчали несколько одинаковых фитилей. Оказалось, что их было ровно пять в знак постоянной мысли хозяина дома о победе пятиконечной красной звезды.

Двадцать минут кончились. Мы покинули село. С отрядом ушло сорок новых бойцов. Среди них были и мои братья — Владимир и Николай, сыновья нашего первого председателя колхоза Чижовая и почти вся уралмашевская молодежь.

На следующий день в Маше во пришли каратели. Из взятых ими под арест и вывезенных в семеноводческую тюрьму людей нашим связным был только один товарищ Коновальный. Остальные тридцать семь человек безусловно не могли сообщить ничего ценного о партизанах. Однако когда всех начали подвергать пыткам, Коновальный молчал, а кассир сель управы Вынянчено не выдержал мучений и подписал ложное обвинение против самого себя и других. Арестованных переправили в коломенскую комендатуру для окончания следствия. Вынянчено пришел в себя и отперся от прежних показаний. Коломенский следователь выехал в Маше во и установил на месте, что арестованная группа граждан в связи с партизанами уличена быть не может. Людей освободили под подписку; одного только Вынянчено отправили в Новгород-северскую тюрьму. Слабым, безвольным людям всегда приходится хуже.

С этого дня Маше во стало предметом особого внимания гитлеровцев. Они решили, что, поскольку командир отряда является уроженцем села, они должны извлечь из этого пользу. Начали вызывать моих односельчан одного за другим на допросы. Старосту Максима Иваныча Шкуродера (оставленного нами на месте как связного) напугали до полусмерти, играя на том, что его жена — моя однофамилица.

Ему велели никого из моих родственников не трогать, только тщательно за всеми следить. «Пусть этот бандит свободно ходит домой, — учили Максима Иваныча в комендатуре. — Создайте для него полное впечатление безопасности. И тогда можно будет

легко взять его живьем.»

А для того, чтобы односельчане охотнее следили за мной, Шкуродеру велели пообещать им за голову командира «железный крест», два пуда соли и хорошую усадьбу после войны.

Максим Иваныч пытался возражать, доказывая, что, дескать, Егор Ротозеев давно порвал связи с селом, ушел из дома; ни жены, ни детей здесь не оставил. «Что ему ходить к нам?» — говорил староста. Но ore прервали: «Мы знаем, что у этого бандита много родственников, и можем найти их в вашем собственном доме!» О том, что жена Шкурота — только моя однофамилица, они не хотели и слушать.

Бедный Максим Иваныч был не храброго десятка. Рассказывая мне об этой беседе, трясся как осиновый лист. Он был очень удивлен тем, что «хитрый план» гестапо не произвел на меня заметного впечатления, и просил быть поосторожней.

Да, Шкуроту еще не приходилось общаться с партизанами и, несмотря на давнее знакомство с некоторыми из нас, он плохо представлял себе, каковы партизаны на самом деле. Но скоро не только он, а и многие другие поняли, что такое партизанская сила и умение воевать.

Уже в конце мая, когда наши подрывники широко развернули свои таланты на вверенной нам соединением железнодорожной линии, от семеновского коменданта опять поступил приказ:

«Мобилизовать население на рубку леса возле железнодорожного полотна. Уничтожить все кустарники и деревья на двести метров по каждой стороне. Ветки и хвою сжигать на месте, дрова отправлять в районный центр, годный строевой лес — на восстановление сожженных мостов».

В ответ комиссар Чернуха, начальник штаба Тимошенко и я написали воззвание к населению Семеновского района, предлагая гражданам саботировать приказ, охранять наши лесные богатства. К полицаям же мы обратились с предупреждением, что за понуждение людей к выходу на порубку будем сжигать насильников на тех кострах, которые они разведут для уничтожения веток и хвои.

Эти листовки размножили и расклеили за одну ночь на деревьях и пнях вблизи железнодорожного полотна. А сами наставили патрулей, чтобы вооруженным вмешательством не допустить на порубки ни одной группы. Конечно, мы действовали так решительно не наобум, а исходя из того, что стоявшие здесь рядом части были переброшены к водным рубежам Днепра и Десны, а борьба с партизанами возложена сейчас только на местную полицию.

Расчет оказался правильным. Мобилизация населения на

порубку сорвалась. А одно неожиданное последствие наших воззваний очень потешило нас: немцы тоже решили заняться печатной агитацией. Разбросали повсюду свои листовки.

«Большевистская власть почти уже стерта с лица земли, — писал в них новгород-северский комендант майор Пауль Пальм. — Опомнитесь и не слушайте обер — бандитов Попудренко и Артозеева. Приходите организованно и поодиночке в управления полиции для получения работы. Вам будут выдавать хлеб, соль, табак, землю».

Каков был толк от этого обращения, — можно себе представить.

Мы только посмеялись. Но затем последовал приказ семеновского коменданта, который обеспокоил нас.

Немцы поняли, что меня у родного дома не поймаешь, и распорядились село Машево вместе с хутором Гутка сжечь как партизанский центр.

Весь отряд имени Чапаева вышел на оборону села. Жители еще не знали, что им угрожает, а партизаны уже встали на их защиту.

Все дороги перекрыли завалами и канавами, сделали баррикады, а на каждой прикрепили скромную дощечку: «Заминировано. Шаг вперед — смерть!» Для большей наглядности дощечку на центральном семеновском шляхе украсили, как сумели, изображением черепа.

Конечно, мы не рассчитывали на слова и картинки. На дороге, по которой должны были ехать каратели, поставили засаду и сели ждать.

Часов в девять утра показались подводы гитлеровцев и жандармской полиции. Вот они подъехали и читают нашу приветливую надпись. Никому ехать вперед неохота. Колонну остановили. Повернули на лес пулеметы и начали жарить огнем так, что ветки посыпались. Мы сидели неподалеку, но признаков жизни не подавали.

Каратели лупили по лесу, не жалея патронов, чуть не докрасна накаливали стволы пулеметов. А мы все сидели тихо.

Наконец, они надумали. Пустили вперед пустую подводу. Лошаденка спокойно переправилась через защитную зону без всяких последствий. Это, конечно, обнадежило карателей. Они наблюдали, как кобылка брела по дороге, но, конечно, не слыхали, как партизан Чапля сказал ей «Тпрр-руу», после чего она свернула в сторону и стала пастись.

Ободренные тем, что партизанские угрозы оказались пустыми, каратели тронулись в дальнейший путь. А мы все сидели тихо. Наконец, весь этот поезд развернулся перед нами

как на ладони. Я дал знак — и семь пулеметов, полторы дюжины автоматов ударили разом. Двадцать четыре поджигателя остались на месте, остальные повернули на поле и целиной бежали в ближнее село Ивановку.

Вечером того же дня семеновскому коменданту было доставлено от нас письмо. Мы требовали зверский приказ отменить, так как мирные жители не должны нести ответственность за действия вооруженных партизан. «Если же, — писали мы, — приказ все же приведут в исполнение, то партизаны переловят и повесят всех работников жандармерии и комендатуры. Веревок у нас хватит!»

Не знаю, насколько сильное впечатление произвела на коменданта моя записка, по Машево вместе с хутором Гутка целы и по сей день.

Для нас же было очень ценно то, что враг начал считаться не только с силой нашего оружия, но и с обыкновенными словами. Мы уже постарались поставить об этом в известность широкие круги населения. И надо сказать, что самые скромные наши ораторы проводили беседы на эту тему с успехом.

Караси

Однажды наш подрывник Алексей Евдокимович Шахов, работавший на грунтовой дороге Стародуб-Новгород-Северский, познакомился на этом шляхе с хорошей компанией.

Дело было вечером. Шахов только что поставил мину и тут же заметил показавшуюся вдали одинокую легковую машину. Он решил переждать, пока она подорвется, и сразу же, не откладывал в долгий ящик, поставить другую.

Отошел немного вглубь леса и стал ждать.

Машина нормально подорвалась.

А дело это было неподалеку от хутора Караси, и оттуда к месту происшествия с поразительной быстротой примчались первые свидетели. Хутор маленький, оккупанты на нем не водились, и свидетели тоже были маленькие.

Несколько шустрых хлопчиков подобрались к еще дымившимся остаткам машины. Они копались в металлическом хламе, собирали какие-то части на дороге и в стороне от нее, спорили между собой из-за трофеев. Наконец, они все поделили и стали рассуждать о взрыве, как он получился, велика ли была «бомба», и кто ее сделал, и кто подложил.

Шахов смотрел на эту компанию из-за куста и решил

обнаружить себя. Он нарочно хрустнул ветками. Ребята замерли. Он хрустнул второй раз. Они заволновались, завертели во все стороны вихрастыми головами. Шахов пошевелился снова.

Тогда трое храбрецов разведчиков приказали двоим охранять дорогу, а сами поползли на поиски. Шахову понравилось, что они не испугались. Он показался ребятам и дал знак подойти. Те подскочили.

— Дядя, ты партизан?

— Да.

— Это вы взорвали машину?

— Да.

— А как? Большой бомбой? А где все ваши? Далеко? — засыпали они минера вопросами, больше всего, впрочем, интересуясь «бомбой».

— Хотите покажу? — усмехнулся Шахов, полагая, что ему невредно получше познакомиться с этими ребятишками: при дальнейшей работе они могут пригодиться — сообщать обстановку, проверять результаты взрывов.

Торжествующие мальчишки пошли с Шаховым на дорогу. «Застава» доложила, что все спокойно, противник не наблюдается. Выбрали новое место, поодаль от прежнего. На глазах у замерших от счастья хлопчиков подрывник заложил новую мину.

Окончив дело, Алексеи Евдокимович строго-настрого приказал всей этой публике разойтись по домам. Вечер был на исходе. Близилась ночь.

— Что вы, дяденька! — удивились ребята. — Мы теперь отсюда ни за что не уйдем. Хоть до утра просидим. Будем караулить, когда взорвется!..

И сколько Шахов ни убеждал их, ребятня стояла на своем.

Еще бы! На их глазах настоящий партизан положил на дорогу настоящую мину, от которой полетит на воздух настоящая немецкая машина.

— Мы раньше так только играли, — говорили они Шахову, — заберемся куда подалее и играем. Только трудно было: все хотят быть партизанами, а фрицами — никто. Так мы боролись. Кто побежден — тому и быть фрицем.

Во время этого разговора на пригорке показался грузовик. Как раз на его пути и лежала мина. «Торопятся разъехаться до ночи», — сказал Шахов и вместе со всей компанией скрылся в лес.

Из своего укрытия они наблюдали при свете взрыва, как с полного хода перекинулась машина. Она ударилась кузовом о телеграфный столб. Столб повалился на землю. Зазвенели оборванные провода. Посыпались фарфоровые изоляторы.

Мальчишки прыгали от радости, как козлята. Хлопали в ладоши, двое даже перекувырнулись от восторга. Им нетерпелось побежать к месту взрыва, но Шахов немного выждал — не едет ли кто следом — и только тогда вместе со своими «помощниками» вышел на шлях.

Один гитлеровский офицер и три солдата были убиты наповал. Машина же, судя по остаткам груза, шла с медикаментами.

Теперь Шахов снова велел мальчишечьей команде идти до дому.

— А разве вы, дяденька, в третий раз не будете ставить? — спросили ребята. — Вдруг еще кто поедет? Как же тогда? Дорога-то пустая, что ли, останется?

Буду ставить или нет — это я сам знаю, — ответил им партизан. — Ас вами больше дела иметь не хочу, потому что вы не слушаетесь. Дисциплины не признаете. Я велю идти домой, а вы опять скажете, что будете караулить. Это никуда не годится.

Опечаленные мальчишки поклялись, что будут слушаться во всем и даже готовы разойтись, но только с тем условием, чтобы их за это приняли в партизаны. Шахов посмеялся. Они обиделись. Наконец, Алексей Евдокимович назначил им встречу.

Так началась дружба нашего подрывника с босоногой командой из хутора Караси.

Шахов имел задание парализовать движение и связь на этом, проходящем близ Карасей шляхе. Обдумав по дороге в лагерь свое новое знакомство, он решил, что ребятишек безусловно можно приспособить к делу. Старшему — Коле Деньгубу было уже тринадцать лет, второму их вожаку — Феде Любичу — одиннадцать. С ними можно договориться. А те, кто поменьше, — в строгом повиновении у Коли и Феди.

Когда Шахов рассказывал мне о своих новых друзьях, я не очень-то обрадовался его мысли использовать их. Я напомнил ему историю о молодежи из села Машево, те были старше, но потеряли осторожность и попали в лапы гестаповцев.

— Так что смотри, Алексей Евдокимович! — сказал я Шахову. — Лучше давай обходись без этих хлопчиков. Жалко ребят.

— Я же сам понимаю, — ответил мне тогда Шахов. — Но не собираюсь из них делать подрывников. Так. Пособят когда что. А главное, разведают обстановку. Уж очень просятся и такая шустрая, бойкая ребятня.

Однако в дальнейшем ребята заставили Шахова изменить свои планы.

При встрече мальчики доложили партизану, что на хуторе

были немцы, всех допрашивали, «а мы между ними так и шныряли, и никто вопросов нам не задавал». Коля Деньгуб и Федя Любич важничали и прибыли на свидание с большущими самокрутками в зубах. Однако чего могла стоить эта «солидность», когда они высказали свою затаенную просьбу:

— Дядя, вы можете нам дать бомбу?

— Зачем вам? Ведь бомбы только самолет бросает. А мы мины кладем.

Нет. Положить у нас не получится. Полицай к себе в избу не пустит. А мы хотели с разбегу ему в окно кинуть: получится вроде как с самолета.

Потом они доложили еще одну просьбу: дополнительно принять в партизаны четырех товарищей, вполне надежных людей.

— Надежные? — переспросил Шахов.

— Свои. — подтвердили мальчики. — У троих отцы в армии, а у одного тоже в партизанах, только не знаем где. А главное — у них есть оружие.

— Какое?

— Винтовка. Весной на огороде нашли. Они обещают, что если их примут, то всем по очереди будут давать носить. Слово дали.

После Шахов мне рассказывал, что во время этой беседы у него просто руки опустились: посмотрел он на эти самокрутки, на щербатые рты, еще не пополнившиеся коренными зубами, послушал их речи про бомбы и винтовку с огорода, — и пожалел, что связался. Ну дети, как есть дети.

Однако эти дети поразили его продуманностью своих боевых планов. Они уже заготовили две пилы для телеграфных столбов и спрятали их в лесном тайничке. Раздобыли пять пар больших лаптей и сношенных сапог, а новенькие обещали достать для себя сами.

— Зачем лапти и сапоги? — спросил Шахов.

— А как же? Следы-то останутся? А мы после диверсии до ручейка добежим и обувку скинем. Потом босые вылезаем — и бувайте здоровеньки!

И ребята начали пилить столбы, растаскивать провода, которые служили телеграфной и телефонной связью с фронтом через Костобоброво — Узруй. Первое время они работали под наблюдением Шахова. Он только приказал им не носить с собой винтовку. Ничего, послушались и вообще начали привыкать к партизанской дисциплине.

Наконец они вышли на самостоятельную работу. За одну ночь уничтожили линию связи на расстоянии в семь километров.

Потом Шахов принес им из лагеря специальные ножницы, и дело пошло еще живее. Но всего этого им казалось мало. Они начали приставать, чтобы Шахов научил их «ставить бомбы» (слово «мина» не нравилось им).

Шахов стал водить Колю и Федю на тренировку. Оба были толковыми малыми, и Деньгуб довольно быстро овладел минированием на упрощенный электрический взрыватель. Неоднократно наблюдая его работу, Алексей Евдокимович решил, что, пожалуй, скоро можно выпустить парнишку на самостоятельное задание.

Но еще раньше, чем партизан принял от Коли последний и полный экзамен, ребячий командир сдал его на аттестат воинской зрелости сам.

Четвертого июня сорок третьего года мальчишки пилили столбы, увлеклись и завозились до рассвета. И вот они видят, что из Костобоброва идет грузовик с немецкими солдатами.

Дело было недалеко от тайничка, где, по указанию Шахова, прятались пилы, ножницы. Там же лежала и готовая мина, на которой предстояла очередная практика Деньгубу.

Вместо того, чтобы скомандовать по инструкции Шахова «врассыпную», Коля приказал ребятам отойти в лес и слушать, что будет». А сам уложил на дорогу мину, быстро наладил взрыватель.

От грузовика оторвались передние колеса. Шофер был убит, сидевший с ним офицер — тоже. Солдаты же, кубарем посыпавшиеся через борта машины, с криком «Русские партизаны!» побежали обратно на Костобоброво.

Тогда Деньгуб скомандовал наносить соломы (он не догадался, что можно обойтись без этого). Хлопчики подожгли грузовик и мирно разошлись по домам.

С тех пор молодые друзья Шахова начали действовать самостоятельно. С пятнадцатого по семнадцатое июня они уничтожили линию связи на расстоянии восемнадцати километров; сожгли в коммуне Узруй комбинированный мост; на их мине, поставленной ночью, днем подорвалась штабная машина.

Немцы терроризировали взрослое население, несколько человек посадили в новгород-северскую тюрьму, — взрывы продолжались.

Вокруг ближних сел и хутора Караси поставили вооруженную охрану, — взрывы продолжались.

Взяли со старост подписки за сохранность прикрепленных к ним участков, — взрывы продолжались.

Никакие меры, способные помешать подрывной работе

взрослых людей, не останавливали стайку ребятишек, просачивавшихся, как вода, через пальцы немцев и полицаев. За июнь этот отряд вырос до пятнадцати бойцов и развил серьезную деятельность. Кстати, считая формирование и укомплектование своей части законченным, ребята избрали для своего отряда имя Щорса — их земляка.

Молодые щорсовцы! Если бы они знали, что у нас в лагере их называют просто. «карасями» или даже «карасиками»! Бывало придет Шахов домой, а его прямо так и спрашивают: — Ну что, Алексей Евдокимович, как там твои караси действуют? Ничего плавают, а?

— Плавают, плавают! — довольно потирая руки, отвечал Шахов и, несколько обиженный за подшучивание, добавлял: — И плавают в таких местах, где вам, опытным щукам, нипочем не проплыть!

Однако понемногу и у нас привыкли к тому, что вблизи работает новая боевая группа, начали относиться к ней серьезно. То и дело слышалось: «Ай да молодцы — щорсовцы! Всем карасям — караси!»

Не встречаясь с этими бойцами, мы стали забывать об их возрасте и росте. И надо сказать, я был изрядно поражен, когда состоялась, наконец, наша первая встреча.

Произошло это так. Ребята, вполне удовлетворенные настоящей своей партизанской деятельностью, уже не просили, чтобы их взяли в отряд. (Они сами себя считали отрядом.) Однако им очень хотелось увидеть, как живут партизаны, познакомиться с нами и, конечно, с «самым главным командиром». Был выбран день встречи. Ее назначили в пяти километрах от лагеря: мало ли что могло взбрести па ум ребятишкам? Возьмут по своему побуждению и прибегут когда не надо. Все-таки дети.

Так я говорил себе, когда отправлялся с несколькими товарищами на эту встречу.

Когда же передо мной появилась босоногая ватага оборванных хлопчиков — один меньше другого, когда увидел я любопытные глаза, обильно перепачканные черникой физиономии, когда разглядел облупленные носы, нечесаные вихры и все другие признаки того возраста, который еще безусловно требует материнской руки с мочалкой и мылом, — я испугался: как можно было позволить им работать с толом, подпускать к оружию?..

А тут еще их вожак Коля Деньгуб (у которого оказался нос уточкой, как у нашего Васи Коробко, только улыбка похитрее) попытался со всей серьезностью мне представиться: назвал себя Николаем Павловичем.

Вслед за ним веснушчатый, кругленький Федя Любич представился еще важнее: «Спиридоныч!» (Ребята его так и звали, в отличие от другого Феди.)

Эх, думаю. Спиридон, Спиридон! Товарищ Спиридон Любич! Где ты сейчас воюешь? — Посмотреть бы тебе на сынка: погордился бы. Да придется ли?..

Но задуматься мне ребята не дали. Оба шустрых командира среди почтительного молчания своих бойцов спросили меня:

— Вы и есть самый большой командир? Это вы поезда взрываете, да?

Тогда я понял, что имел в виду Шахов, когда сознавался мне, что растерялся при второй встрече с разговорами о бомбах, пущенных вместо самолета вручную. Ну, что ты с ними будешь делать? Ведь это даже не «караси», а просто «пескарики»! Но этакая мелкая рыбешка уже имела неплохой личный счет по уничтожению врага.

Я пожал всем руки, поблагодарил от имени командования и сказал, что когда принимают поздравления старшего командира, то не ставят одну ногу на другую и не чешутся. Они деловито выстроились, подравнялись и даже приняли положение, напоминающее «смирно», а потом вразброд пискнули: «Служим трудовому народу!» И это было совсем не смешно. Они действительно служили ему.

Когда наш отряд уходил на новое место, я отказался взять их с собой. Не оставил им ни толу, ни ножниц. Я приказал впредь до особого распоряжения работу прекратить. Объяснил это высокими соображениями конспирации.

Молодые щорсовцы были расстроены и утешались только тем, что придет же когда-нибудь особое распоряжение.

Я имел в виду, что они получат его уже от Советской власти, которая снова раскроет перед ними двери школы и скажет: «Идите, учитесь!» Пусть до той счастливой поры (уже недолго осталось!) поживут тихо в своих Карасях, не подвергаются риску. Пусть растут на радость Родине, для которой они уже сделали немало.

Смена старост

В большом селе Александровна до войны был один из передовых колхозов области. Его председатель получил от правительства орден за высокие урожаи конопли. Александровцы всегда досрочно рассчитывались с государством. И даже теперь,

после двух лет оккупации, в этом селе еще были видны следы мирной зажиточной жизни. Еще стояли здания трех школ, больницы, клуба, перед которым раньше были разбиты хорошие цветники — любимое место отдыха колхозников.

Сохранение этих благоустроенных домов привело к тому, что гитлеровцы постоянно использовали село для размещения своих гарнизонов. Школы, больница, клуб и другие общественные здания превратились в казармы.

Сами александровцы держались дружно, всеми способами саботировали приказы оккупантов о выходе на работу. Здесь даже не удавалось сколотить полицейский гарнизон. Долго не могли найти человека и на должность старосты. И все же староста появился.

Никто не знал, откуда он пришел. Бывший житель Александровки, имевший тут когда-то два дома, высланный вначале коллективизации за вредительство. С тех пор его никто не видел.

Теперь этому человеку было около семидесяти лет. Скрюченный, сухой, как старый корень, с седовато-рыжей, словно ощипанной бородкой и маленькими злобными глазками.

Бывший кулак пришел в село под вечер. Ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь, направился прямо к «новым хозяевам». Видно, пообещал хорошо служить, держать односельчан в страхе и повиновении. Так Александровка получила, наконец, старосту.

Звали его Василием Михайловичем Кожухом. Вновь назначенный его стараниями начальник полиции был тоже Кожух и тоже Василий, только Афанасьевич.

Мы «поздравили» с такими тезками и однофамильцами нашего подрывника, секретаря партбюро — Василия Андреевича Кожуха.

— Ничего. — утешился тот. — Зато наш лучший связной в Александровке — Миша Кожух. И вообще там Кожухи — честные, достойные люди!

Что действительно поделаешь, если в этом селе, образовавшемся когда-то из множества хуторов, все граждане именовались по названиям этих хуторов: Кожухи, либо Лупаны, или Максимихины, да еще Караси, Кривульки. Других фамилий здесь почти не встречалось.

Едва оккупантам удалось под угрозой отправки в лагерь собрать в Александровке несколько мужчин и нацепить им белые повязки полиции, как все разбежались. Назначенный старшим Иван Максимихин вместе со своими двенадцатью подчиненными прямо в повязках ушел к нам в лес. Фашисты было сместили Кожуха с поста начальника полиции, но так как другого взять

было неоткуда, вернули обратно.

При новом наборе мобилизовали в полицию и нашего связного Мишу Кожуха. Шестнадцатилетний парень тяжело переживал это и волновался, слезно просил разрешения прийти в отряд. Мы ему отказали, велели служить в расчете на то, что его близость к вражеской среде может принести нам пользу. Миша скоро успокоился. По ходу дела он познакомился с солдатами и офицерами венгерского батальона. Сдружился с неким лейтенантом Зваричем, и мы стали получать систематически информацию о расположении немецких гарнизонов в нашем районе и еще кое о чем.

Однако староста непременно хотел выслужиться. Ему удалось выследить шестерых коммунистов, тайно проживавших в Александровке. Всех шестерых он выдал гестапо. Их расстреляли. Пострадали и скрывавшие этих людей семьи.

Решением командования нашего отряда староста — предатель был приговорен к смертной казни.

Привести этот приговор в исполнение оказалось не просто. Староста боялся народа, всего остерегался, редко его можно было встретить в вечерние часы. Мы взяли на строгий, чуть ли не хронометрический учет его распорядок дня. Ничего не получалось. Он беспрестанно вращался в самой гуще фашистов.

Но вот выдался денек, когда наш связной лично услышал приказание, данное гитлеровцами старосте: выйти на поля, проверить, как идут прополочные работы. Связной рассказывал, что поручение старосте не пришлось по вкусу: он попросил у своих хозяев, чтобы дали охрану! Но какой гитлеровцам был смысл выделять своих людей для сопровождения этого старого черта? И оккупанты просто посмеялись над своим прислужником — дали ему свисток. Если мол что не так — свистни!

Итак, следовало старосту, вместе с его свистком, взять среди бела дня в поле.

Эта небольшая, но ответственная операция была поручена Василию Андреевичу Кожуху, Григорию Гулаку, Зибницкому и Ременцу.

Поля Александровки на подходах к лесу окружены кудрявым дубовым кустарником. Ночью наши заползли туда и схоронились среди пышных ветвей молодой поросли. Целый день нещадно пекло солнце. В нескольких шагах от партизан работали люди. Но староста в этот день не появился.

Па следующую ночь четверо товарищей вышли снова, снова просидели в кустарнике, а староста опять не пришел.

И вот, наконец, на третий день, уже после часа дня, когда крестьяне успели пополдничать, на поле загремела телега. На ней

ехал приговоренный к смерти предатель.

Солнце пекло немилосердно. Староста ежеминутно утирал пот, ливший с его лысой головы. Молча ехал ненавистный всем старик по междурядью свеклы. Работавшие женщины разгибались и тоже молча плевали в его сторону. Он не решился сделать им пи одного замечания. Конечно, будь с ним охрана, он вел бы себя по-другому. Но свисток ему помочь не мог!

Вот староста подъехал к краю поля. Тут он стал с нервной торопливостью поворачивать свою лошадь, пугливо озираясь по сторонам. И не зря озирался: ветви кустарника раздвинулись, и наш партизан Григорий Гулак в упор посмотрел на старика. Тот задрожал и перекрестился.

— Не крестись, пан староста. Бог правду видит! — сказал Гулак.

Старик хотел крикнуть, но закашлялся.

Шум поднимать было нельзя: по ближней дороге то и дело проезжали немецкие машины, проходили солдаты. Гулак очень спокойно протянул старосте фляжку с водой и тихо спросил:

Что с вами, земляк? Подавились, что ли? Кашляйте потише, вам невыгодно шуметь. Зачем нам привлекать внимание немцев? Получится неудобно: скажут — пан староста потихоньку встречается с партизанами. А за это расстреливают.

Предатель совсем растерялся, не мог вымолвить ни слова. А Гулак также тихо и спокойно предложил ему слезть с подводы: «Нам надо поговорить с удобством, не навлекать на себя внимания. Вам же хуже, если шум получится.» — объяснял партизан.

Хитрый старик обернулся: кругом в поле работали люди, которые ненавидели его. Помощи ждать неоткуда. Лишь по дороге, метрах в шестистах, время от времени проезжали немецкие машины. Если даже удастся привлечь внимание, вряд ли ему успеют прийти на помощь. — И староста решил сделать вид, что он согласен поговорить с партизанами; впрочем, другого выхода ему не оставалось: чуял, что если поднимет тревогу, то ему уже не видать, чем она окончится.

Старосту окружили и связали. А вечером доставили в лагерь. После допроса, на котором старый предатель дал весьма важные сведения, приговор привели в исполнение.

Оккупационные власти в 1943 году уже не удивлялись, когда старосты пропадали, просто искали новых.

Через три дня старостой Александровки назначили помощника казненного — Лупана.

Этот пожилой человек, в прошлом только тем и известный, что, будучи казначеем церковного прихода, пропил деньги

верующих, страшно испугался назначения. Но комендант не Советовался с ним, согласия его не спрашивал.

Александровны ожидали от Лупана разного. Пока он ходил в помощниках старосты — никому не вредил. Но теперь из страха перед гестапо мог натворить дел. Как он покажет себя? «Какая сила над ним власть возьмет, той и поклонится» — к этому сводилось мнение большинства его односельчан. Нам же было чрезвычайно важно иметь старосту на своей стороне, и вот почему.

Если раньше, в первый год войны, оккупанты пробовали создать видимость выборности старост, чтобы иметь в них «представителей народа», проводить через них свои «новые порядки», распространять влияние на народ, то нынче оккупанты с этой иллюзией уже распрощались. Старост просто назначали.

Тем не менее старосты оставались людьми весьма сведущими о силах и планах оккупантов, конечно, в пределах своего района. Староста знал о предстоящих продовольственных поборах, о мобилизации населения на работу или на отправку в Германию. Он также знал, какие меры наказания будут применены к отклоняющимся от исполнения этих приказов.

От старосты во многом зависело, как жители воспримут то или иное указание оккупационных властей, и население должно было считаться с тем, смотрел ли он сквозь пальцы на нарушения «нового порядка» или строго спрашивал за них.

Наш подпольный обком партии учил своих людей, что партизанам надо постоянно держать старост под своим наблюдением, а желательно и под влиянием.

Мало того, что староста имел возможность заранее предупредить о мобилизации и поборах и таким образом мы могли срывать исполнение немецких приказов. Но староста мог еще и связать нас с большим количеством людей, а это в сорок третьем году было особенно важно.

Линия фронта приближалась. Надо было подумать о людском пополнении, которое получит Красная Армия, как только освободит область. У кого, как не у нас, спросят: что за люди оставались здесь, в тылу? Можно ли им доверять? Как вели себя при фашистах?

Мы не могли принять всех, желающих вступать в партизанские отряды: не хватало оружия, продовольствия, да и не было нужды бесконечно растить партизанскую армию. Вместе с тем работать с людьми, готовить их к продолжению борьбы было нашей прямой обязанностью, указанной подпольным обкомом.

Вот почему наладить правильные отношения со старостами было для нас теперь важнее, чем когда-либо. Для успеха

организационно-политических задач иной бой теперь оказывался менее важен, чем подчинение своему влиянию старосты крупного населенного пункта.

Именно таким пунктом и было для нас село Александровка. Помимо большого количества населения, интерес представляло и то, что село расположено вблизи железной и грунтовой дорог, которые мы были обязаны держать под своим контролем.

Казнь предыдущего старосты в Александровке была не только актом возмездия, но и организационной необходимостью, вытекающей из наших политических задач. Теперь же нам было очень важно, как поведет себя вновь назначенный староста.

Вот почему мы решили не дожидаться, пока Лупан начнет «творить дела» и показывать себя, а сразу склонить его на свою сторону. Добром или силой — неважно. — Если удастся — пусть остается старостой и работает на нас; нет — его постигнет судьба предшественника.

Мне когда-то давно приходилось встречаться с Лупаном, и мы с комиссаром пришли к выводу: переговоры с новым старостой лучше всего провести мне.

Не откладывая дела в долгий ящик, мы выбрали подходящую ночь и с группой партизан вышли в Александровку.

Когда мы появились на сельской улице, все уже спали. Нигде не видно огонька. Я тихонько, но требовательно постучал в окно хаты Лупана.

Никто не откликнулся. Постучал снова, погромче. Мои ребята немного нервничали. Боялись за меня. Вася Кузнецов принялся терзать мой рукав, приставать, чтобы я отошел:

— У него винтовка есть и пистолет. Ведь даст в упор — убить недолго!

Но всякая осторожность могла показаться старосте подозрительной — и вышло бы хуже. Чтобы осуществить мой план, надо было действовать смело и открыто.

Я постучал опять и спросил:

— Пан староста дома?

В квартире послышался шорох.

— Хозяйка, подойди-ка, свои! — повторил я спокойным, требовательным тоном.

— Ах, боже мой, кто вы?

— Полиция! Долго вы будете там копаться?!

Тут у окошка показался сам хозяин.

— Не бойтесь, пан староста, — сказал я ему. — Мы — из Семеновки по заданию. К вам на житье едут триста пятьдесят немцев. Быстрее одевайтесь. Надо приготовить квартиры.

Окно открылось, и жена Лупана Пелагея Якимовна обрела

дар слова:

Может, вы промерзли? Зашли бы в хату, выпили стакан молочка, пока мой соберется.

Кузнецов спросил ее:

— А чего-нибудь погреться нема?

— Заходите, поищем, пожалуй, что и найдем.

Мы вошли. Староста, не зажигая света, спешил одеваться. На столе появились две бутылки самогона. Гостей усадили. Я потихоньку завел разговор с хозяйкой.

— Когда вам лучше жилось, — спросил я Пелагею Якимовну, — при Советской власти или сейчас?

— Конечно, сейчас! — затарахтела она как сорока. — Теперь сам-то каждый день дома, а прежде приходилось работать па лесопильном заводе в Семеновке, а потом церковные дела, так день и ночь пропадал.

Она говорила бы долго, подыскивая доказательства нынешней «хорошей» жизни, но староста уже смекнул кое-что.

— Молчи, старая дура! — одернул он жену. — Видишь — не те хлопцы.

Я похлопал старосту по плечу и начал спокойно рассказывать, что скоро война кончится, Красная Армия гонит фашистов вон. Не стоит позориться перед Советской властью, которая нас поднимала и тянула к свету двадцать пять лет.

Затем я назвал себя, напомнил, что в тридцать девятом году мы мирно встречались, а теперь вот какая нехорошая история получилась. Я — партизанский командир, а вы — «пан староста». немецкий прислужник!

Лупан сидел неподвижно — видно, даже руки похолодели и язык онемел. Мои ребята ни о чем не беспокоились — спокойно угощались. Только двое остались на улице — стеречь дом.

Я крепко предупредил старосту о том, чтобы хорошо относился к народу и помогал партизанам во всем, что мы потребуем, а Гулак довольно убедительно добавил:

— От нас никуда не уйдешь. На советской земле нигде спасения предателям нет и не будет!

Лупан поклялся помогать партизанам и саботировать распоряжения фашистов. Он увидел собственными глазами спокойных представителей Советской власти, их выдержанность и тактичность, уверенность в себе. Все это дошло до его сознания. Он оценил то, что мы не только сохранили ему жизнь, но даже пальцем не тронули и вообще никак не обидели, а поговорили с ним, как с человеком.

А Пелагея Якимовна, провожая нас, кланялась и благословляла.

На другой день эта глупая женщина потихоньку рассказала одной-двум близким соседкам, какие хорошие, вежливые люди партизаны. Мы заметили Лупану, чтобы велел жене придержать язык. И все же с легкой руки этой болтушки просочился слух о том, как партизаны в одном селе убрали старосту-предателя и поставили безвредного своего человека.

Мы этот слух не опровергали. Зачем?

Село взято без боя

Находясь в Семеновском районе, мы то и дело наводили порядки в селах. После операции на Машево побывали в Поповке, Лизуновке и еще кое-где. Везде уничтожали врагов и облегчали чем могли тяжелое существование своих сограждан.

Как бельмо на глазу у нас оставалось только село Жадово, где сидел с большим гарнизоном немецкий сельхоз-комендант, майор Рудольф.

Рудольф не только грабил народ. За повозками сельхоз-коменданта тянулся кровавый след. Малейшая недоимка, преуменьшение данных в учете урожая, поголовья скота — и он немедленно выезжал в село вместе с вызванными им карателями. По его настоянию в одном лишь селе Жадово казнили пятьдесят восемь человек.

Давно мы думали над тем, как изловить Рудольфа. Но он в последнее время выезжал редко, и то лишь в сопровождении сильной охраны. В селах совсем не бывал, ездил только в Семеновку. Рудольф никогда не расставался с огромной немецкой овчаркой Фаустом, которая к нему подпускала неохотно даже своих. Этот пес стерег и штаб-квартиру сельхоз-коменданта в Жадово. А самое село Рудольф превратил в крепость. Взять ее было не просто.

Жадово — один из крупнейших населенных пунктов района. До войны здесь насчитывалось тринадцать колхозов. Это местечко было в свое время волостным центром.

Рудольф избрал для своей квартиры больницу, а поблизости — в аптеке, школе и сельсовете — разместил гарнизон. Группа этих зданий была огорожена колючей проволокой, на ночь окна закрывались ставнями из брони. Подходы к резиденции сельхоз-коменданта оборонялись станковыми пулеметами. Не только солдаты, но и офицеры и даже чиновники сельхоз-коменданта жили на казарменном положении. В помощь немецкому гарнизону здесь были собраны также и полицаи, но их оказалось

сравнительно немного. Мы даже у себя в штабе как-то обсуждали это приятное явление: население большое, а полицию сколотить не удалось! Еле набрали двадцать четыре человека. Все жадовские жители оказались сплошь инвалидами.

Вот когда мы обсуждали это обстоятельство, и зародился наш план овладения крепостью сельхоз-коменданта.

Прежде всего разведчикам было дано задание выяснить, кто именно уклонялся от полицейской службы; кому это удалось, кому нет. Что делает жадовская интеллигенция, а ее здесь немало, особенно учителей.

Ребята начали с учителя Бондаренко. Он жил на хуторе Ферубки и часто ходил на село. Его легко было встретить на дороге. В Жадове он был близок с другими учителями и с одним из полицаев, неким Сковородько.

Разработка нашего плана требовала терпения и осторожности. Но мы добились своего. Бондаренко свел разведчиков со своими товарищами — Писаным, Федько и Гасаем. Те — с другими, и понемногу мы обрастали солидным активом, готовым действовать по указаниям партизан.

Наконец, во дворе Марка Писаного, в погребе, состоялось целое совещание. Здесь присутствовали семнадцать учителей, агрономов, фельдшеров и несколько человек из полиции. Встречу сумели организовать с соблюдением строгой конспирации — даже родная мать Марка Писаного не знала, что происходило этой ночью у нее во дворе.

Каково же было удивление учителей, когда они услыхали, чего от них требуют. Большинство откровенно запротестовало. Шутка ли сказать — до сих пор удавалось ссылками на всяческую хворь, годы и прочие причины избежать позорной повязки полицая. А тут явились партизаны и требуют, чтобы они вступили на немецкую службу добровольно!

Но когда мы объяснили цель этого предприятия и твердо обещали, что в полицаях придется проходить совсем недолго, а затем мы возьмем всех их в лес, — собравшиеся примирились с новым своим положением.

И с этого дня, на радость партизанам, стала расти жадовская полиция.

Для руководства подготовкой операции мы оставили на селе трех своих товарищей: Сахариленко, Дежкова и Жадовца. Они жили все в том же подвале Марка Писаного и давали указания новоиспеченным полицаям. К нам, в лагерь, посылали информацию через связных. Теперь мы имели полноценные разведочные данные.

Надо сказать, что среди всяких прочих сообщений из Жадова

всех чрезвычайно взволновало одно, совершенно невоенного характера. Мы узнали, что в давно заколоченных сельмагах, где немцы хранили продукты, полным-полно соли и репчатого луку.

Соль. Лук. Нет, не понять человеку в мирное время, да и в военное, тем, кто оставался на попечении Советской власти, не понять, что это для нас означало!

Еще в соединении у Федорова, когда мы стояли в Клетнянских лесах, приходилось добывать соль боем. И не раз мы теряли из-за нее людей.

А этой весной, когда уже не оставалось никаких запасов овощей, нам туго пришлось и без соли, и без витаминов. В отряде началась жестокая цынга. Единственное, что мы имели, — это мясо. Но ослабевшие и раскачивающиеся в деснах зубы не брали даже хорошо проваренную говядину. Нашлись «знахари» — варили дубовую кору, еловые шишки, отваром полоскали рты — никакого толку. Мучительная болезнь поразила многих партизан. Особенно плохо пришлось тем, у кого были когда-то поставлены мосты и коронки. При обнажении корней зуб подгнивал снизу, начиналось воспаление. А чем в наших условиях коронку снять, зуб удалить? — Неизвестно.

Я сам оказался первой жертвой такого воспаления: меня всего перекосило — даже поверить было нельзя, что такое может произойти из-за несчастного маленького зуба. Температура сорок. Покраснел и распух глаз. Голова трещит — к волосам не прикоснешься, будто и у них каждый корешок воспалился.

Ни днем ни ночью я не находил себе покоя. Весь лагерь отдыхает, а я, как лунатик, брожу от сосны к сосне. О том, чтобы поесть или попить, и говорить нечего. Стал я просить, умолять товарищей чем угодно содрать мне мост с коронкой — давал полную свободу действий. Но никто на эту операцию не решался. Все оказались учеными, уговаривали: врачи, дескать, во время воспалительного процесса зубы не удаляют — надо терпеть.

Временное облегчение находил в том, что становился на голову. Кто-нибудь подержит за ноги, пока от прилива крови и адской боли я не потеряю сознание. Вроде наркоза. Но опомнюсь — и все опять сначала. Я уже чувствовал, что превращаюсь из командира в инвалида.

И вот на одиннадцатый день я набрался терпения и начал сам себе производить операцию. Взял штык, молоток, отошел подальше от своих и стал рубить мост во рту. После каждого удара падал на землю. Валился как подкошенный. Но встану — и рублю опять. Не помирать же в самом деле из-за зуба!.. И удалил-таки я всю зубоврачебную механику изо рта. После дополз кое-как до палатки и целые сутки проспал.

Да, много из-за проклятой цынги было страданий в лагере. Если бы жители Машева не пришли нам на помощь, я сам не знаю, чем бы все это кончилось. Один старик Егор Кивай не пожалел — прислал нам два мешка зеленого лука.

Эта драгоценность была взята на особый учет — наравне с патронами и медикаментами. Лук выдавался не для еды, а только натирать десны. Тогда наступило некоторое облегчение. Но до излечения было еще далеко.

Узнав при таких обстоятельствах о складе, полном репчатого луку, да еще и соли, отсутствие которой порождало свои болезни, партизаны стали считать минуты до дня наступления на Жадово.

В назначенный день произошла Неожиданность. Наши полицаи — то есть новобранцы, которые пошли в полицию по нашему указанию, — прислали сообщение, что вечером сельхоз-комендант с сильной охраной отправляется на именины к семеновскому коменданту. Стоял вопрос — отложить операцию или нет? Покончить с этим зверем мы решили во что бы то ни стало. И все же я операцию не отложил.

Во-первых, здоровье людей мне было дороже, чем лишний уничтоженный фашист на боевом счету отряда; во-вторых, поход хорошо подготовлен, все наши люди будут на главных постах; в-третьих, соль и лук в любой день могут увезти. Доводов в пользу похода было много.

Главные улицы патрулировали ожидавшие нас Сковородько, Полторацкий, Слабкин, Помазок, Марк Писаный и другие. Свои люди стояли также и у пулеметов. Гитлеровцы все отдыхали, пользуясь отсутствием майора, и предоставили охрану села полиции. Чтобы не переполошить солдат гарнизона, мы па этот раз даже не давали сигнала ракетой. Просто ждали в засаде, пока не прибежал вестовой от Сахариленко и Писаного.

Все произошло так тихо, что тише еще никогда не бывало. Мы взяли село без боя. Без единого выстрела овладели полицейским управлением, комендатурой и даже казармами. Оружие немецких солдат было на ночь составлено в пирамиды, и ни один из них не успел добежать до своего автомата.

Мы сожгли, как водится, документы оккупантов. Поделились с населением продуктами. Люди не верили своему счастью, получив соль, лук, сахар. А через два часа никого из нас уже не было в селе.

Конечно, жадовская операция самая удивительная из всех, в каких мне приходилось участвовать. Кое-какую роль сыграл здесь и случай (отсутствие майора), но все же в основном мы были обязаны ее успехом хорошей подготовке. Бойцы гордились ею и долго потом рассказывали новичкам, как все произошло.

Плохо только то, что Рудольфу удалось унести ноги. В Жадово он больше не вернулся. Узнал о партизанском налете и заболел нервной горячкой.

Все помни, все проверь

Каждый раз, когда к нам приходили новые люди, отряд находился перед опасностью принять предателя.

Гестапо, разумеется, стремилось заслать к нам своих шпионов. Ухо надо было держать востро. Иногда предатели работали довольно тонко, даже внушали нашим связным такое доверие, что те за них просили и ручались. Один такой шпик сумел обойти хорошего, преданного человека — пастуха Макотру. Пастух нам житья не давал — возьмите да возьмите! Живет мол такой Петр Яковлевич Козлов в селе, работает налоговым агентом сельуправы, тяготится немецкой службой так, что и сказать нельзя, — все его мечты только о партизанах да о лесе.

Макотре мы верили. Но опасная вещь — переносить доверие с одного человека на другого. И почему-то, ни разу не видев этого Козлова, я опасался его. Что-то мне напоминала эта фамилия. Но что? Сколько на Руси Козловых? Кто из них хорош, кто плох? Но кто-то из них был связан в моей памяти с недобрым происшествием. А каким — я не знал.

Оттягивая свидание, я напрягал память, стараясь объяснить себе то неясное предубеждение, которое вспыхивало каждый раз, когда пастух Макотра говорил мне о своем Козлове. Но ничего не получалось. Тогда я стал расспрашивать — не помнят ли какой-нибудь истории, связанной с этой фамилией, мои товарищи по соединению? Мне рассказывали десятки историй, не имевших никакого отношения к моим подозрениям, я только руками разводил.

Попросил Макотру узнать, где Козлов работал до войны.

Оказалось, что в Корюковке, на сахарном заводе! Теперь ясно, что делать: немедленно запросил я по рации обком партии: «Узнайте у секретаря Корюковского райкома Короткова, что за человек Козлов Петр Яковлевич, бывший работник сахзавода».

И получил ответ Попудренко: «Козлов Петр Яковлевич дезертировал из отряда Короткова в сорок первом году. Работал в гестапо в Сосницах. Примите меры к аресту. Сообщите исполнение».

Вот тогда-то я с легкой душой и разрешил этому Козлову незамедлительно прибыть в лагерь, чтобы доложить командиру о

выполнении приказа.

Случай этот, конечно, очень простой, но учил он не оставлять без внимания малейшее свое подозрение. Я не помнил, почему фамилия Козлова так настораживает меня, но, оказывается, что память все время была мобилизована давнишним рассказом Маруси Скрипки об этом человеке.

Ловили и выявляли мы врагов по-разному. Стандарта в таком деле быть не может. Одного удалось обличить по почерку: к нам в руки попал документ, посланный из села с нарочным в райцентр. Это был список шестнадцати жителей, уличенных в связи с партизанами. Кто его написал — нарочный и сам не знал. Подпись: «Лесной». Мы документик спрятали, а у себя завели с тех пор (на время) «бюрократический» порядок. Всех просившихся в отряд заставляли писать автобиографию. На этом и поймали некоего гражданина Степанченко — «Лесного».

Случалось, немецкие служаки сами налетали на наших людей и раскрывали передними свои черные планы. Один старик, бывший торговец лесом Захарченко, решил заслужить обещанную гитлеровцами за сведения о партизанах соль. Он долго бродил по лесу, будто бы собирая ягоды, и сумел обнаружить место нашего лагеря в урочище «Зеты».

Воротившись домой, предатель рассказал о своем открытии первому попавшемуся полицаю и попросил передать «господам немцам» в районный центр. Полицай обещал сразу же все сделать и велел старику никому больше не рассказывать, чтобы лишней болтовни не было, «а то награду перехватят».

Захарченко довольный пошел домой, а полицай-то был наш. Он дал знать, что бродит по лесу такой добровольный шпик.

На другую же ночь основной наш артист на немецкие роли Николай Жадовец облачился в свой «выходной» костюм с крестом и медалями, взял свиту и «переводчика», обмундированных таким же образом, и отправился к Захарченко получать сведения о расположении партизанского отряда.

Миша Кожух представил Захарченко «помощнику семеновского коменданта господину Шульцу», и старый дурак начал восхвалять быстроту господ немцев: умилялся, что не пожалели себя, побеспокоились и приехали даже ночью!..

Жадовец подробно расспросил предателя о том, как ему удалось напасть на след партизан, не помогал ли ему кто-нибудь. Комендатура мол вознаградит этих людей тоже.

Захарченко кланялся, благодарил, рассказывал все, что от него требовалось, и под конец даже прибавил выражения своих чувств по адресу исключительно «приятного, молодого господина офицера». Тут он, конечно, не ошибся: хоть всю Семеновку

переверни, а где же такого еще можно было сыскать?

Николай усмехнулся, начал прощаться. Скрипя зубами, заставил себя пожать предателю руку, поздравил с будущей наградой. Велел прибыть за ней в комендатуру завтра же.

Только назавтра Захарченко лежал на дороге с вложенной в руку запиской: «Смерть предателям своего народа. Вместо соли получают пулю».

Но далеко не все наши враги были так просты, чтобы делиться с первым встречным. Особенно осторожно работали те, кто имел задание попасть к нам в лагерь. Тут дело обставлялось по всем правилам гестаповского искусства. Особенно постарался начальник новгород — северской жандармерии Петере, направляя в отряд бывшего вора — рецидивиста Савелия Юхновца.

Не так давно он был главарем банды, действовавшей «под партизан» наподобие уже разоблаченной нами банды Малькова. Вел «вольную жизнь», грабил население, на что немецкие власти смотрели в первое время весьма одобрительно: они надеялись скомпрометировать таким образом доброе имя партизан. Но когда всем стало ясно, что такие провокации ничего не дают, что партизаны сами истребляют бандитов, фашисты решили приспособить уголовников к более тонкому делу.

Савелий Юхновец тихо поселился на селе. И вот получаем мы горячую просьбу раскаявшегося преступника; признание в том, что хотел было создать свой отряд, — но не вышло, оказались плохие ребята. Было дело — и обижал народ: не нашел другого способа добыть пропитание. Теперь все осознано, он умоляет простить, дать возможность боевыми делами смыть позор.

Искренним раскаянием пренебрегать не следует. Бывали случаи, когда человек, имевший на совести преступление против Советской власти и даже в прошлом судимый, делом доказывал, что он уже не враг и честно проходил с нами боевой путь. Но искренен ли Юхновец? Дать ему прямой отказ было не в наших интересах. Командование ничем не рисковало, поручив ему для начала задание. Выполнит — видно будет. И мы предложили Юхновцу как условие вступления в отряд взять на себя взрыв склада зерна. А сами начали проверять Юхновца, выяснять, откуда взялся этот запоздалый патриот, и всю его биографию.

Юхновец условия принял и очень ловко подорвал склад. Но, удивительное совпадение, — за день до взрыва со склада было вывезено почти все зерно. Видно, назначенная нами цена показалась гитлеровцам слишком дорогой. Начальник новгород-северской жандармерии Петере, руководивший, как мы узнали, этим делом, решил устроить его с меньшими потерями.

В ближайшие дни к Юхновцу, продолжавшему добиваться приема в отряд до выполнения задания, присоединился новый человек. Это был писарь сельуправы села Поповка Михаил Велик, ничем не скомпрометированный перед нами. Однако утвержденный нами староста села Александровка связался со старостой Поповки Гончаренко и узнал, что Велик — тайный осведомитель гестапо. Очень хорошо. Что будет дальше?

Эта пара просится, а мы не отказываем, только тянем, будто опытные бюрократы. Наконец, разыгрывается пьеска в нескольких актах.

Юхновец якобы неожиданно узнает, что Велик — предатель. Пораженный этим, при свидетелях стреляет в него, ранит и бежит в поисках защиты к нам в леса. Петерс с большим шумом обставляет преследование. Ну, просто — всех на ноги поднял!

Конец этого представления должен был состояться уже в нашем отряде, где партизаны встретят героя овацией.

Овация была короткой. Одного выстрела хватило, чтобы Юхновец получил должное вознаграждение.

Но, несмотря на провал Юхновца, возня шпионов вокруг нас продолжалась.

— Произошел, например, такой случай. Разведчики познакомились с пожилой и, по их утверждениям, весьма симпатичной женщиной — жительницей Семеновки Анной Онуфриевной Бондаренко. Она их растрогала слезным рассказом об издевательствах и оскорблениях немцев из гебитскомендатуры, расположившихся в ее доме. Слово за слово разведчикам удалось ее убедить работать на нас.

А будь что будет! — согласилась она. — Чего уж зря-то жить среди зверей, принесу помощь Родине.

С тех пор наши разведчики держали с ней постоянную связь. Несколько раз Анна Онуфриевна приходила в лес на условленное место и приносила различные данные о противнике. Не всегда точные, иногда просто наивные, но разведчики видели, что желание работать с партизанами у нее очень постоянно: «Старается тетка. Не сразу и мы стали разведчиками. Научится.» — так говорили они. Даже у начальника разведки отряда Бугристого складывалось об Анне Онуфриевне впечатление весьма неплохое. Для подозрений действительно оснований не было. Ни о чем не расспрашивает, в отряд не стремится.

Но как-то, сияя от радости, ока притащилась на встречу с большим картонным ящиком:

— Вот. Передайте подарок вашему командованию. Звери-то мои с квартиры убрались. Вместо них пришел очень приличный человек, мадьярский офицер. Он мне в комнату поставил

приемник. Я решила отнести, зачем мне.

На этот раз с Анной Онуфриевной встречался политрук разведвзвода Иван Иванович Коновалов. Он оценил по достоинству подарок. Поблагодарил, сказал, что все в отряде будут, несказанно рады.

— У нас радистка, товарищ Щербакова, не любит, когда рацию пускают для общественных надобностей. Редко даст возможность послушать концерт. Все только для дела. Очень, очень благодарим, товарищ Бондаренко! — с этими словами Иван Иванович взвалил коробку с приемником на плечо, попрощался и пошел.

Анна Онуфриевна помахала ему рукой и тоже было повернула в свою сторону, как — вдруг Иван Иванович охнул, согнулся и сказал:

— Ну вот, начинается история. Заболела старая рана. Как же теперь?! Ах, беда. Ой, ой!..

Анна Онуфриевна вернулась. Ее лицо выражало и сочувствие, и волнение, и озабоченность.

— Как же вы теперь доберетесь? — спросила она с искренней тревогой в голосе.

— Я-то ничего, но подарок. Впрочем, что с ним случится. Давайте, Анна Онуфриевна, прикроем его вот там, в ямке, березовыми листьями.

Нет, что вы. Лучше уж я вам помогу. Я понимаю, конечно, — к вам в лагерь нельзя, но часть дороги. Нет, что вы, мне нисколько не тяжело. А здесь оставлять, как же это.

Бойцы с нашей заставы увидели такую картину. Пожилая женщина тащит согнувшись тяжелый груз на плече, по лицу ее струится пот, а сзади, шагах в пяти от нее идет Иван Иванович. Немного скривился, но ничего: балагурит, рассказывает какие-то партизанские анекдоты. Давно уж известен был Иван Иванович как шутник, но тут больше было похоже на издевательство.

И вдруг Иван Иванович выпрямился, вытащил из кармана пистолет и скомандовал:

— Стоп! Дальше ходить не надо. — Женщина повернула к нему недоуменное лицо, сделала такое резкое движение, что чуть не уронила свой ящик; но Иван Иванович во-время его подхватил. — Зачем же так неосторожно. Вот лучше поставьте на пенек.

Бойцам, которые подбежали с заставы, он крикнул:

— Назад! К этой штуке никому не подходить!.. Отведите-ка гражданочку в особый отдел. А сюда позовите радистов, то есть минеров. Вы, Анна Онуфриевна, не волнуйтесь, если ваш приемничек окажется без сюрпризов, вам будут возвращены и

свобода, и наше уважение. А пока погуляйте с этими молодцами.

Наши подрывники с помощью связистов извлекли из нового и действительно хорошего приемника аккуратную алюминиевую коробочку, к которой тянулись от питания два провода. Сняли металлическую оболочку и увидели две четырехсотграммовые шашки тола с вделанным внутрь электромеханическим взрывателем.

— Отличная конструкция! — похвалил Шахов. — Надо будет иметь в виду. Тут очень интересное сочетание. От электрической искры сгорает предохранитель; потом кислота постепенно сжигает цинковую пластинку, и партизанский штаб летит на воздух. Ясно, что такой хороший приемник будет стоять в штабе.

А Иван Иванович сказал:

— А что, товарищи, разве я не прав, когда изо дня в день повторяю, что разведчикам надо давать звания «народный артист республики», «заслуженный артист.»

По нашей просьбе он рассказал, как ему удалось разоблачить диверсантку.

— Во-первых, упаковка. Видите — на приемнике гофрированный, фабричный картон. «Нет, — думаю, — навряд ли пошлет нам в подарок даже самый распредобрый дядя абсолютно новый приемник. Тут что-то не так». И разыграл я тогда сцену. Как только она отказалась приемник спрятать, — понял, ей нужно во что бы то ни стало его доставить к нам. Зачем же, спрашивается, я его потащу? Пусть сама тащит, не так ли?

Товарищу Коновалову я объявил приказом благодарность. А бойцов просил помнить об этом случае.

Родственные узы

После наших успешных операций в селах, особенно после бескровного овладения резиденцией сельхоз-коменданта в Жадове и перехода к нам доброй половины жадовского полицейского гарнизона, оккупационные власти устроили среди оставшихся полицаев жестокую чистку.

Одних поместили в лагери, других отправили в Германию и только самых верных оставили на местной службе. Таких было немного. Всех их собрали в одну команду и сконцентрировали в селе Ивановка, в городке из палаток. Там стали вести ежедневные учения и производить какие-то земляные работы.

А неделю спустя в Ивановку прибыла саперная или строительная часть. Какая точно, никто из нас определить не смог. Нашим разведчикам не удавалось выяснить, что там, в Ивановке, происходит.

Среди оставшихся полицаев мы своих людей не имели. А между тем все эти перемены и прибытие новых частей что-нибудь да означало. Безусловно, перед «специалистами» поставлена какая-то боевая задача. Но какая?

Я долго ломал себе голову над этим, но что можно надумать своей головой, когда требуются точные данные? Правда, наши разведчики, лишенные возможности попасть в этот гарнизон, сумели выяснить кое-что через двух подростков: братишки Саленко крутились с другими ребятами в селе и сообщили нам распорядок дня, часы смены постов и некоторые наблюдения насчет вооружения. Но все это было не то! Зачем посадили сюда «специалистов», мог сказать только кто-нибудь из них самих или чин полиции, да и то лишь из тех, кому многое доверено. На помощь этих лиц мы рассчитывать не могли.

Выкрасть одного из полицаев? Это не представлялось возможным: во-первых, они находились под строжайшим надзором немцев; во-вторых, мало того, что их охраняют люди, сильно пуганые, они сами остерегаются; в-третьих, нам невыгодно было поднимать шум.

Какой бы подобрать ключик к одному из доверенных полицаев, чтобы заставить его в добровольном или принудительном порядке развязать язык?

Вот над чем я думал. А то, как этот ключик подобрался, имеет свою историю.

Прежде всего, рассуждал я, кто такой полицай? Это такой подлец, который, будучи гражданином Советского Союза, пошел в

услужение к оккупантам; стал палачом своих земляков; продал народ и Родину; двадцать четыре года ел и пил у стола Советской власти, а потом ей изменил. Полицай, да еще из таких отборных, — это сознательный мерзавец и законченный иуда. Враг.

О тех, кто попадал в полицию, не будучи врагом народа (а в первое время были и такие), сейчас думать не приходилось. В сорок третьем году уже самые растерянные, несознательные и бесхарактерные люди определились: туда или сюда. Часть из них была уже прочно связана с врагами, а другая несла свои запоздалые раскаяния к нам в леса.

Значит, мне оставалось иметь дело с врагом — каким-нибудь одичалым бешеным волком, который кусал своих же братьев и сестер.

Вот насчет братьев и сестер я и задумался. И кое-что мне вспомнилось.

Самое первое воспоминание относилось еще к концу ноября сорок первого года. После гибели Добрянского отряда пятеро голодных и замерзших партизан шли на поиски другого боевого коллектива. Мы пробирались по району, сплошь занятому врагами, боялись подойти к человеческому жилью. Часто ночевали прямо в снегу, под открытым небом. Когда и где найдем своих, — не знали. Нам было плохо.

И кто же приютил и накормил нас однажды на пути? — Жена полицая. Это было в селе Дроздовицах. Женщина, рискуя собой, тайком от мужа, которого она возненавидела, оказала помощь партизанам. Она сказала, что ее отец был первым колхозником на селе, а брат-коммунист, уходя в армию, завещал ей блюсти верность народу, выручать своих людей из беды.

А позже? — продолжал вспоминать я. Уже в соединении у Федорова среди нас был хороший разведчик — Степа Коренок. Брат же Степы служил помощником начальника полиции Гуты Студенецкой. Он жестоко издевался над населением. Жена этого полицая — Ефросинья Коренок была нашей связной. Его племянник — Иван Дубина пришел в лес к партизанам. И когда нам удалось поймать озверелого предателя, родные первые потребовали его казни.

В моей памяти вставали картины одна другой ярче. Вот пришел к нам недавно с маленьким братцем двенадцатилетний Ваня Левченко. Их отец — в армии, а дядя, у которого отец их оставил, пошел в услужение к оккупантам. Мальчики не могли с этим смириться, просили помощи и совета, как отомстить за оскорбление имени фронтовика-отца дяде-полицаю?

Десятки примеров говорили о том, что все полицаи жили в

окружении смертельной ненависти и презрения со стороны своих же кровных родных. Немногие родственные узы выдерживали испытание изменой. Это я наблюдал еще в начале войны. Еще сильнее это было видно теперь.

На днях разведчики мне сообщили, каково живется в моем родном селе Машево помощнику начальника полиции Гецевичу. Подозревая в связи с партизанами не только всех односельчан, но и собственную семью, он дошел до подлинного психоза. Не ночевал дома, прятался по чердакам, а в свою хату заходил только поесть, да и то наспех. Сумасшедший, да и только.

Дней пять назад, когда Гецевич пришел домой пообедать, его сынишка Леня собирался идти на речку купаться. Мальчик завернул в платок пару яиц и кусок хлеба. Увидев это, отец вдруг озверел: «Передачу партизанам несешь? — Он швырнул в жену полено: — Ты в моем доме партизана держишь?» Гецевич поставил родного сына к стене и, щелкая затвором винтовки, на глазах у матери угрожал застрелить Леню, если он не сознается. Довел мальчишку до того, что тот начал заикаться. А папаша решил предъявить ультиматум партизанам.

Напившись для храбрости пьяным, он явился к моему дяде — Филиппу Семеновичу Артозееву и сказал:

— Я знаю, можешь не отрицать, что все три твоих племянника в партизанском отряде, а старший — у них командиром. За это я тебя не виню. Мой сын, мерзавец Ленька, — тоже партизан. Он из дому ворует хлеб и яйца — тащит к ним в лес. Но ты передай своим племяшам, чтобы оставили наше село в покое и не сманивали жителей. Пусть даже носа сюда не кажут. И если ты не добьешься от них такого обещания — пеняй на себя. Покажу на тебя гестаповцам — кожу сдерут.

Перепуганный Филипп Семенович передал мне эти слова. Их следствием было только то, что я дал задание группе бойцов изловить негодяя, а помогли им в этом жена Гецевича Ольга и сын Леня.

Перебирая в уме все эти факты, я пришел к заключению, что не так уже трудно подобрать ключик хотя бы к одному из «верных» полицаев Ивановки.

Мой выбор пал на уроженца нашего села — некоего Логвина Борисовича Сержана. Из всех машевских полицаев, которых, по данным разведки, там было пятнадцать человек, Сержан казался самым подходящим: у него было очень много родственников по селам. Часть их жила в Машеве и была мне неплохо известна. Обыкновенные советские люди, и я считал, что они вполне способны нам помочь. Я решил так опутать Сержана родственными связями, чтобы он и дохнуть без нашего ведома не

смел. Связей же этих было много — я и сам сбивался со счета, перебирая в памяти его родню.

Старшая сестра Сержана — Елена была замужем за моим однофамильцем — Степаном Прокофьевичем Артозеевым — нашим связным. Младшая сестра — Анна — за командиром Красной Армии Надольным, находящимся на фронте. Сам Сержан был женат на дочери Ксении Алексеевны Ашомко — активистки времен первых колхозов. Дети, племянники и племянницы, впрочем, продолжать этот список не стоит. Достаточно сказать, что я насчитал восемнадцать человек родственников и свойственников полицая, через которых и старался воздействовать на него.

Работенка оказалась кропотливая, но в конце концов цели я достиг: на Сержана налегли и теща, и зять, и сестры, и жена, и еще семь человек близких. Как они обрабатывали его, не знаю, но полицай вынужден был уступить.

Мы узнали все, что нас интересовало. Стала известна дислокация и вооружение частей в районе и причина заселения Ивановки «специалистами»: здесь полицаи должны были собрать население и возглавить строительство нового моста через реку Рванец. Этот мост открыл бы прямой путь на Новгород-Северский.

Из-за отсутствия переправ у фашистов образовались пробки в Семеновке, да и в других местах. Они гнали свой транспорт на Новгород-Северский в обход, по стародубскому шляху, удлинявшему путь примерно в пять раз. Открыв прямую дорогу из Семеновки через новый мост, они рассчитывали разгрузиться, быстрее доставить свои колонны к фронту.

Этого мы допустить не могли. Нужно было во что бы то ни стало сорвать строительство нового моста. Дать его построить, а потом уничтожить я считал невыгодным: немцы могли поставить к переправе очень сильную охрану. И мы решили разгромить «осиное гнездо» (так называли его партизаны) в Ивановке раньше, чем полицаи и саперы приступят к делу.

В боевом успехе этой задачи нам очень помог Сержан, ибо подобранный к нему ключик действовал отлично. Интересно, что жандармерия пыталась таким же путем опутать и изловить меня. Из этого, конечно, ничего не вышло, да и не могло выйти: если обращаются к группе людей, пытаясь заставить их воздействовать на близкого им человека, удача будет только тому, у кого честные, чистые намерения, кто действует на благо Родины и обращается к людям от имени народа.

Бессонница

Как-то выдалась темная, очень душная ночь. По натянутому парашютному шелку палатки мерно стучали дождевые капли. Мелкая водяная пыль оседала и внутри нашего жилья. От влажного, теплого воздуха особенно сильно клонило ко сну. Я удивился тому, как быстро захрапел мой ординарец Петя Чернуха: мы оба только что зашли сюда. Но удивившись, тут же почувствовал, что засыпаю сам.

Меня словно толкнуло какое-то воспоминание. Я сел и долго тер себе лоб — не мог сообразить: что за мысль прервала первую дрему? Наконец вспомнил и, улыбнувшись, повалился было на бок. Однако сразу вскочил опять.

А вспомнил я такие же теплые, влажные, как и эта, ночи, когда мне приходилось, будучи рядовым бойцом, стоять на посту. Тяжело было бороться со сном. Он подкрадывался со всех сторон, укачивал, клонило присесть хотя бы на «одну минуточку». Но; присевши, опомниться уже почти невозможно. И чего только в те часы, казавшиеся чуть ли не годами, не приходилось сочинять, чтобы удержаться на ногах. Иной же раз и не заметишь, как задремлешь стоя.

Я отчетливо представил себе это состояние именно потому, что и сейчас мучительно хотел спать. Однако, с завистью посмотрев на храпевшего Петю, заставил себя выйти из палатки. Надо было проверить посты.

Прошел по лагерю. Часовые внутренних постов — у штаба, у склада боеприпасов, у гауптвахты — переминались, покачивались, но держались. Только около хозчасти дневальный Целуйко разоспался на возу так, что не услышал, как ответственный дежурный Черноус стащил с него сапоги.

Мы с Черноусом пошли проверять дальние посты и заставы.

— Что не спите, товарищ командир? — спросил меня один молодец.

— Бессонница. — неопределенно ответил я парню, и мы пошли дальше.

На трех постах бодрствовали. Но на центральной просеке спали все. А надо сказать, что посты на этой просеке считались у нас самыми ответственными: отсюда ближе всего перекресток с дорогой, которой нет-нет, а пользовались немцы. Если можно так выразиться, здесь находился парадный подъезд к лагерю.

Наши, конечно, не допускали мысли, что гитлеровцы осмелятся двинуться через партизанский, лес ночью, и вот результаты: первый номер станкового пулемета Кукушкин лежал ничком на земле возле своего оружия. Поблизости, кто как сумел, раскинулись на траве еще семеро бойцов. Прислонившись к

березе, опершись на винтовку, спал девятый постовой — Жмурко.

Мы с Черноусом свернули самокрутки. Закурили.

«Как поступить?» — раздумывал я. Конечно, картина ясна. Но все же хотелось еще раз проверить людей, узнать, как они станут выкручиваться.

Я извлек из пулемета замок. Всунул вместо него свой трофейный портсигар. Затем мы с дежурным отошли шагов на сорок за деревья и начали громко разговаривать.

— Кто идет? Стой! — окликнул нас из-за березы Жмурко.

— Свои, свои. — ответил я, и мы продолжали подходить к заставе.

Все бойцы уже приняли позы бодрствующих. Здорово это у них получилось. Я и сам бы не поверил, что за пятнадцать секунд до этого они спали. Это меня разозлило и обеспокоило: у них, значит, разработана целая система, сговорились! — Случайно уснули — это еще можно понять и простить, а такая круговая порука — штука опасная. Ну, — думаю, — помолчу еще. Как хлопцы будут вести себя дальше?

Жмурко хоть и спросонья, но не растерялся и заявил:

— Я ваш голос сразу узнал, товарищ командир! Так — для порядку окликнул. Я уж давно слышал, как вы разговариваете.

— Очень хорошо, что вы так узнаете голос своего командира, — ответил я. — Однако странно: как могли вы слышать меня в то время, как я не говорил ни слова?

Жмурко понял, что перегнул палку, смешался. На выручку товарищу поторопился пулеметчик Кукушкин:

— Товарищ командир! Жмурко вас и по шагам мог угадать! Он еще с вечера говорил, что вы нас обязательно проведаете, и мы ожидали.

Я слушал их и думал: «Валяйте, валяйте! Заговаривайте зубы. Посмотрим, как станете выворачиваться, когда в ваших руках окажется мой портсигар. Уж лучше бы признавались».

Командир заставы — Горнащенко сначала мялся и слушал нашу беседу молча. Но потом осмелел и доложил, как полагается, что «за ночь ничего не произошло, кругом тихо, за исключением того, что по направлению Гомеля была слышна бомбежка».

Мы все присели в кружок около пулемета. Закурили. Как будто действительно все в порядке.

— Трудно сегодня стоять? — спросил я. — Ночь-то какая томительная.

Я давал последнюю возможность чистосердечно признаться. Сказали бы: так мол и так, трудно, был грех. Нет. Все стали разуверять меня: и ночь хороша, и спать ни одному не хотелось.

Силой искренности не добудешь. Посидели, поговорили,

вижу, — они всем довольны и совесть их не мучит. Тогда я послал Черноуса в лагерь — привести Логутенко с людьми сменить заставу.

— Почему нас до срока. — начал было Горнащенко, но я его оборвал:

— Узнаешь. Не спеши.

Как только явился разводящий с людьми, я приказал Горнащенко сдать пост и получить десять суток ареста. Предупредил, что за повторение подобного случая могу и расстрелять. Не сильно догадливый командир заставы продолжал разыгрывать простачка. Стал оправдываться в том, что слишком близко подпустил нас к посту без окрика. Но когда Кукушкин, передавая пулемет, обнаружил портсигар, Горнащенко осекся.

Не только он — все разом поняли, в какое попали положение. Языки развязались. Люди стали ссориться, особенно ругали Жмурко. Картина раскрывалась полностью, никто уже не таился.

Как я и думал, Горнащенко разрешил ребятам поочередно спать. Разделил людей на две очереди. Первая дежурит, вторая спит. Потом меняются. Все предусмотрено, кроме того, что одно нарушение всегда влечет за собой другое. Те, что должны были бодрствовать, тоже решили разделиться на две партии, и оставшиеся опять продолжали деление. Кончилось тем, что пост охранял один человек — Жмурко.

Но одному скучно. Жмурко топал по просеке туда и обратно, даже ноги заболели. Чтобы отдохнуть немного, он прислонился к березе. Воцарившийся на заставе сон одолел и его.

Сменив заставу, я вернулся в лагерь. Уже рассветало. Теперь можно и мне поспать! Но только закрыл глаза-выстрелы.

Автомат, другой, потом пулеметные очереди. Даже Чернуха проснулся.

Пулемет работал на перекрестке центральной просеки, откуда только что мы пришли с Черноусом и арестованными бойцами.

Признаться, я и сам не ожидал, чтобы здесь в это время оказались немцы. Я уже не шел, а мчался к этой незадачливой заставе, где только что было слишком тихо, а теперь стало чересчур шумно. Чернухе велел послать туда людей.

Вопреки моему убеждению и убеждению бойцов, люди Логутенко били именно по гитлеровцам. В утреннем полумраке на заставу напоролась идущая впереди колонны группа: она, вероятно, проверяла безопасность дороги.

У Логутенко уже двое раненых. С подоспевшим из лагеря подкреплением бой окончили довольно скоро. Уже показавшаяся было колонна повернула вспять, часть солдат бежала, рассеиваясь

по лесу, и нам удалось захватить пленных. На этот раз они представляли особый интерес.

Наш переводчик поговорил с ними, и все выяснилось.

Накануне со станции Узруй к нам перешли девять станционных рабочих. Новгород-северский комендант Пауль Пальм на этом основании решил, что партизаны готовят налет на станцию. Он дал приказ срочно перебросить на оборону в Узруй воинскую часть. Разведка этой части и наткнулась на нашу заставу.

Если бы разведка противника увидела спящих партизан и тихо сняла наш пост, гитлеровцы, конечно, не отказались бы от случая разгромить лагерь.

Все оказалось куда серьезнее, чем можно было думать по началу. Мы с комиссаром решили привлечь к разбору этого случая внимание всех бойцов.

В тот же день мы собрали отряд, и виновные предстали перед судом товарищей.

Горнащенко и его ребята молчали. Они выслушали много суровых слов от своих соратников. Вспомнили и Чапаева и заснувшую охрану его отряда. — Что тогда случилось? Ведь самое имя Чапаева должно было стать нам постоянным напоминанием о преступлении его охраны! — говорили бойцы. — А вы что чуть не сделали с щами? — спрашивали они у склонивших головы ротозеев.

Душу из них вынули разговором, но обсуждение обсуждением — мне после него надо было вынести приговор. Я ушел шагов за тридцать от собрания, посовещался с комиссаром. Мы говорили шепотом минуты три. И все это время народ молчал в томительном ожидании.

Командир заставы Горнащенко заслуживал расстрела. Об этом я и сказал, когда вышел к бойцам.

— Горнащенко Тимофею Ильичу высшую меру наказания, расстрел, заменить, учитывая его прошлые подвиги и долгую беспорочную службу в отряде, снятием представления к ордену Боевого Красного Знамени, лишением права на ношение партизанской ленточки сроком на один месяц.

Всех бойцов заставы — на десять суток гауптвахты.

Вздох облегчения пронесся по рядам партизан.

Через десять дней я поговорил с виновниками уже по-иному. Привел им в пример других бойцов, которые не поддались сну. И припомнил, сколько фокусов сам проделывал, когда стоял на посту. Чего только бывало не придумаешь? И табак нюхал, и стихи читал, и анекдоты вспоминал, старался думать о чем-нибудь смешном, чтобы развеселить душу.

С интересом слушали мой рассказ, иногда вызывавший смех, а иногда — серьезные вопросы, другие бойцы, среди которых находился и парень, спросивший меня в памятную ночь, отчего я не сплю.

И уже через несколько дней я случайно услышал, как этот товарищ с видом знатока перечислял перед группой товарищей «двадцать пять способов не спать». Затем он с сочувствием добавил:

— Вот с тех пор, как наш командир все эти способы применил, с ним и сделалась бессонница.

Я посмеялся про себя (если бы он знал, как мне тогда хотелось спать!) и не стал опровергать: пусть бойцы думают, что их командиру всегда не спится!

Снова вместе

Второго июля из штаба соединения от Николая Никитича Попудренко пришли связные. Командир группы Ракута рассказал, что на переходе из Елинского леса в Белоруссию соединение разбило противника в Тупичеве и Добрянке, а возле Днепра было окружено большими танковыми подразделениями. Два дня длился жестокий бой, и пришлось отказаться от форсирования реки — уйти на передышку в Злынковские и Новозыбковские леса.

Я передал товарищу Ракуте свой полный отчет о работе и просил у Попудренко в помощь два-три отряда, чтобы разбить немцев в Семеновке, так как своими силами мы сделать этого не могли. Если же удалось бы как следует ударить по семеновской группировке, у нас образовался бы просторный партизанский край.

Ракута ушел, а я начал со дня на день ожидать вестей из соединения.

Девятого июля вернулись наши разведчики из-под Новозыбкова и рассказали, что слышали очень тяжелые вести: будто в Новозыбковских лесах соединение окружено двумя вражескими дивизиями и при прорыве погиб Попудренко. Я не поверил:

— Ну. — сказал я ребятам. — Набрались слухов из агентства «одна гражданка говорила». Окружение, конечно, может и есть, но насчет Попудренко. Его уже не раз хоронили.

— Немецкая пропаганда! — поддержал меня комиссар Чернуха. — Это их давнее желание, отсюда и разговоры идут.

Однако блокада — дело тяжелое, и новость нас встревожила. Я мысленно утешался тем, что не из одного такого мешка мы вылезали и сам же Попудренко нас выводил. А все же запало в душу сомнение и не шло из головы маленькое, вредное слово «неужели?..»

Совершенно независимо от моего желания, по самым различным поводам, все время мне вспоминался Николаи Никитич.

То мне казалось, что Коновалов расхохотался точно такими раскатами, как Попудренко, то вдруг при взгляде на какого-то мохнатого жеребчика он представится мне похожим на того, что был под Николаем Никитичем, когда я впервые принимал участие в бою под его командованием. Мне вспоминался этот бой, и мельница, и фигура командира, и зычный его голос, и лихая посадка. То в разговоре с нашей связной — молодой матерью, державшей на руках ребенка, мне слышались ласковые слова Николая Никитича, его нежное обращение к трехмесячному партизанскому сынку — «Листочку». То, отправляя разведчиков на задание, я думал, какими словами меня в таких случаях напутствовал Попудренко.

И чем больше мне вспоминался наш храбрый, чуткий и умный командир, тем чаще я повторял себе, что не верю, не хочу верить в его гибель.

Но прошло еще два дня, и в лагерь приехали на нескольких подводах люди из соединения.

Теперь уже не верить было нельзя. Ничто в принесенных нашими разведчиками сведениях не было преувеличено. Три дивизии врага закрыли выходы из Злынковского леса. Когда пятого июля были сделаны попытки прорваться, гитлеровцы встретили партизан таким артиллерийским и пулеметным огнем, что наши были вынуждены вернуться обратно. В ту же ночь командование приняло решение: оставить весь обоз, боеприпасы взять на себя и вырваться не дорогой, а напрямик по лесу и полю.

Шестого, перед заходом солнца, соединение выступило снова. Гитлеровцы пропустили вперед разведку и открыли ураганный огонь. Попудренко дал команду двум головным отрядам прорвать кольцо, занять огневые позиции врага.

Первый отряд под командованием Короткова сильным ответным огнем успешно пробивал путь, но второй застрял. Увидев это, наш командир выскочил вперед, чтобы подтянуть бойцов отряда Водопьянова. И тут его сразила вражеская пуля.

Перед строем партизан отряда имени Чапаева я объявил бойцам о прорыве соединения и гибели его командира. Шел дождь. Вода каплями стекала с нахмуренных лиц — можно было

не скрывать слезы. Повариха — жена недавно замученного гитлеровцами коммуниста Слесарева — громко разрыдалась. В тишине умолкшего лагеря только и было слышно, как плачет эта даже не видевшая Попудренко женщина да шелестят по листве струи воды.

Мы отдали свой боевой салют, и партизаны разошлись. Но едва вернулся я в палатку, как начали приходить один за другим старые боевые друзья, а за ними и молодежь: они являлись, чтобы дать слово мести за командира.

— Подрывники обещают взорвать двадцать эшелонов, — докладывал Шахов.

— Бойцы-автоматчики просили передать, что будут бесстрашны в любом бою, — заявил от имени подразделения Николай Крез.

— Я подорву семь эшелонов. — дал свое личное обязательство Вася Коробко.

Так наши партизаны отвечали на гибель любимого командира.

Через день неподалеку от нас сосредоточились все вырвавшиеся из блокады отряды. Меня вызвал к себе в штаб комиссар соединения Новиков.

Теперь, наверное, мы снова будем вместе! — подумал я и так обрадовался, что без всякой к тому нужды поскакал бешеным галопом и уже в виду штаба слетел с коня. Я повредил ногу и, несмотря на протесты, попал прежде всего в санчасть, где мне вправили сустав и одарили костылем. В штаб пришлось явиться инвалидом.

— Мы не знали, что ты ранен! — сказал мне Новиков после того, как мы обнялись и расцеловались. — Не надо было ехать.

Встретив весь обком, я разволновался почти как в первый раз и даже не мог толком объяснить, что просто вылетел из седла. Передо мной снова были Новиков, Короткое, Петрик, Днепровский, Козик, Капранов, — только Николая Никитича мы лишились навсегда.

После длительных боев, тяжелого прорыва, многих потерь прибывшие бойцы были голодны, измучены, оборваны. Они нуждались в подкреплении, хотя бы краткосрочном отдыхе. Командование решило в Семеновском районе не задерживаться: надо было как следует оторваться от врага. Три вражеские дивизии, направленные специально на уничтожение партизан, следовали по пятам: от них только вчера оторвались, но скрыть следы не удалось.

К концу второго дня Украинский штаб партизанского движения передал приказ: командиром соединения назначается

Федор Иванович Коротков, командиром отряда имени Сталина вместо него — Петр Ильич Козик. В других отрядах перемещений не произошло; так мы все опять слились в одну большую семью и тронулись в новый путь. Соединению было присвоено имя Героя Советского Союза Попудренко.

Кудровский бой

В Понорницком районе, куда шло соединение, партизаны давно не бывали, а если и проходили его, то без серьезных столкновений с врагом. Теперь здесь находились части немцев и румын, которые чувствовали себя в селах довольно свободно; представление о партизанах они получали только из сводок гитлеровского командования, хвастливо сообщавших об «уничтожении «лесных бандитов» на Черниговщине, в Брянских лесах, в Белоруссии.

В самом Понорницком районе после недавней ликвидации группы партизан в семнадцать человек оккупанты тоже считали себя в полной безопасности.

Таковы были данные разведки.

Мы перешли болото близ реки Убодь, форсировали ее и встали в Кудровском лесу. Продовольствие уже давно кончилось, и пришлось сразу отправлять бойцов на хозяйственную операцию. Возвращались они под обстрелом врага.

В ту же ночь застава отряда имени Ленина обстреляла румынскую разведку. Двинуться сразу дальше мы возможности не имели: бойцы только что прошли сорок километров, немало измотались при переходе болот и реки. Врага мы особенно не опасались, наших сил он не знал и, судя по имеющейся информации, наверное, считал ликвидацию партизан делом не трудным. В штабе соединения решили становиться на оборону.

Западный рубеж для нас опасности не представлял: болото и река Убодь. Отсюда вверх по гребню небольшой возвышенности, примерно на расстоянии километра от центра лагеря, было приказано занять позиции нашему отряду. Недалеко от нас, на юго-восточной стороне, оборону занял отряд имени Ленина, с северо-восточной стороны — отряд имени Сталина с приданными им подразделениями других отрядов.

Мы хорошо окопались за возвышенностью, установили минометную батарею, пулеметы и подготовились к бою. Только одно обстоятельство смущало меня: на основании того, что румынская разведка появлялась на северо-востоке, в штабе

считали, что главный удар примет на себя отряд имени Сталина, и соответственно укрепляли именно его позиции. Потребовали часть людей и у меня.

Не мог я с этим согласиться. Стал доказывать, что противник пойдет как раз на меня, поскольку село Кудровка, где он сосредоточился, к нашему отряду ближе всего. Дошло до того, что Коротков прервал меня вполне справедливым в устах командира указанием, что нас позвали не для рассуждения, а для получения приказа. Пришлось замолчать. Но и Коротков, видно, не считал мои возражения пустыми. Он поступил очень умно, сказав мне на прощанье:

— Ладно, ладно, Артозеев. Мы твой отряд пока мало знаем, поэтому брать у тебя подкреплений не будем. Возьмем у других.

Мотивировка не из приятных. «Мало знаем»! Это звучит чуть ли не так же, как «не доверяем». Пришлось примириться с тем, что штаб опять «знакомился» со мной. Наверно, так и надо. Но слушать было тяжело.

В пять часов утра на линии обороны нашего отряда Чапаева произошло первое столкновение с противником. Мы подпустили его на шестьдесят метров. Бон завязался жаркий. Правда, сначала румынская артиллерия била по нашим позициям без особого эффекта — снаряды пролетали над головами бойцов и рушили лес где-то позади нас, но потом пристрелялись. Начались попадания. Партизаны-чапаевцы вели себя спокойно, боеприпасы расходовали экономно, держались как надо., А день наступал нелегкий.

После того как отбили первую атаку, противник, не дав нам и десяти минут передышки, начал вторую. Отразили и ее. Неприятель пустил вперед пьяных полицаев человек пятьдесят. Они кричали: «Не стреляйте! Мы свои.» Но мы узнали птицу по полету: если бы перед нами были мирные жители или пленные, то не орали бы так безобразно пьяными голосами. Большинство из них срезал наш пулемет.

Но тут вражеский артиллерист прямой наводкой попал в щит нашего «максима». Пострадал весь расчет, пулемет разнесло. Потом крупный осколок снаряда вывел из строя «Дегтярева». Патроны у нас были на исходе. А неприятель продолжал атаковать. То и дело моих бойцов относили в тыл. Дела ухудшались.

Я послал связного в штаб за боеприпасами и подкреплением. Нам прислали пять тысяч патронов, пулемет и взвод автоматчиков. Мы продолжали сдерживать натиск.

К пяти часам вечера отряд имени Чапаева отразил девятую атаку.

После девятой атаки я заметил в рядах противника непорядок: командиры сзади кричат, а солдаты уже вперед не лезут… То бегали во весь рост, а теперь, кто похрабрее, — ползком. За ранеными никто, видимо, идти не хочет. Стрелять норовят только из надежных укрытий. Совсем не та картина, что в начале боя.

Я учел, что наступление у них шло все время не широким фронтом (на других линиях обороны у нас было сравнительно спокойно), а клином. Враг, видно, хотел рассечь наши силы надвое. Теперь, когда ему это не удалось и сила ударов слабела с каждым разом, мы получили возможность пойти в контратаку и разбить его наголову. Если он побежит вправо — болото и река, влево — встретит отряд имени Ленина.

Я послал в штаб связного с запиской, что прошу разрешения на контратаку. Получаю ответ: «Не горячись, будь осторожен, держи оборону, где тебя поставили». Досадно, конечно, но что поделаешь! Умеешь командовать — умей подчиняться. Отряд продолжает стоять на месте.

А у меня душа горит. Вижу, что побить их можно. Не выдержал — опять гоню связного с той же просьбой. Получаю ответ: «Не глупи, дело к вечеру, скоро бой кончится».

Но враг, возможно уже и сам опасавшийся контратаки, видно, решил, что раз мы не идем — значит ослабли. Начали снова собирать и подтягивать людей.

Нам это не страшно, по опять-таки: когда они подойдут поближе — хороший момент их погнать в сторону — и в мешок. Конечно, в штабе опасаются, что я дам им возможность прорваться в центр — к лагерю, но я был готов голову свою прозаложить, что этого не получится, и послал третью просьбу. А сам в ожидании ответа прошу бойцов проявить побольше выдержки, хладнокровия, подпустить противника поближе. Взял на свою ответственность, чтобы людям веселей дышалось, передал по цепи, что сейчас пойдем в атаку.

Наконец получаю ответ: «Если уж берешь на себя — делай!»

Смотрю — мои ребята шевелятся. Кто сапоги сбрасывает, чтобы легче было бежать за врагом, кто оружие перезаряжает, кто лишнюю одежду покидал под куст, готовы рвануться. Вражеская цепь приближалась. Я дал команду открыть огонь из всех видов оружия и — вперед!

Партизаны яростно бросились в атаку. Минометчики прижимали бегущего врага к земле. Крик поднялся невообразимый. Противник бросал вооружение, раненых, стремился вернуться к селу, откуда вышел утром.

Наши бойцы обнаружили в рощице штук сорок оседланных,

привязанных лошадей, вскочили на них и перерезали дорогу, отгоняя бегущих в панике солдат влево, на восток.

Командир отряда имени Сталина Козик двинулся им навстречу, и мы взяли два батальона румын в такие тиски, что мало кто оттуда живым ушел.

Сам я, как обычно, был жив и невредим и, прямо скажу, с большим удовольствием ознакомился с приказом командования о том, что «командир отряда имени Чапаева Артозеев, измотав силу противника на месте, самостоятельно решил исход боя и с помощью отряда имени Сталина полностью разбил врага, захватив большие трофеи.» Приятно, когда, докажешь свою правоту делом, а главное, чувствуешь, что выдержал испытание в глазах товарищей, которых уважаешь.

Что касается трофеев, то их действительно было немало: два орудия, пять пулеметов, целые штабеля с патронами, снарядами и гранатами. Мы даже не могли все взять с собой — кое-что закопали.

Я же был счастлив еще и тем, как в Кудровском бою показали себя бойцы чапаевского отряда. Теперь уже никто в соединении не мог сказать, что нас «мало знают».

До последнего дыхания

Оставаться в Кудровском лесу было опасно: все понимали, что враг не замедлит собрать новые силы. Ночью мы двинулись в путь.

Наш отряд прикрывал отход, и когда я догнал колонну, первым делом спросил у командира пулеметного взвода Соседко, как чувствуют себя раненые пулеметчики, которых во время боя отослали в санчасть.

Соседко доложил, что раненые едут в санчасти с колонной. Только второй номер — Федор Павлович Бердус оставлен так.

— Что значит «оставлен так»? — переспросил я.

Соседко замялся, а затем объяснил, что Федор Павлович был тяжело ранен в голову, по заключению фельдшера Клягина состояние его совершенно безнадежно, но когда хоронили погибших, он еще не остыл, ребята решили, что нехорошо предавать земле теплое тело. Оставили его на месте — положили под кустик и прикрыли березовыми ветками.

Меня это сообщение как громом опалило. Не знаю, что бы я сделал с этим фельдшером, если б оказался он поблизости, — за себя не ручаюсь. И Соседко-то я чуть не избил. Дал себе волю на

словах.

— Тебе мало, — кричал я сам не свой, — что у Бердуса фашисты мать, жену, брата — всех расстреляли и бросили непогребенными. А вы и его — своего товарища бросили? — уже не помню, что я еще наговорил ему.

Никогда у нас такого порядка не было. Даже если ясно, что человек умрет, — проверь еще и еще. Подожди, пока тело остынет. Сколько раз видели мы, как люди буквально возвращались с того света.

Я приказал командовать прикрытием соединения Николаю Крезу и с взводом конников поскакал обратно в лагерь. Ехали мы очень быстро, но все же дорогой я успел перебрать в памяти не один случай чудесного спасения. Уж куда как безнадежно было дело радиста Гаркушенко: он упал раненый, а какой-то гитлеровец вынул из его кобуры пистолет и выстрелил ему в голову, в упор. Товарищи видели это, но не оставили друга. Казалось, мертвого, с лицом, залитым кровью, принесли его в лагерь. Гаркушенко и сейчас жив! Гитлеровец попал в ухо. Пуля пробила раковину уха, прорвала кожу на шее — вот и все. «Меня недоубили», — шутил потом Гаркушенко.

И с Булашем, вспомнил я, примерно так же. После выстрела он камнем упал с лошади. Вражеские конники перескочили через его тело — и давай догонять других. А Булаш полежал-полежал и опомнился. За ним с носилками из лагеря идут, а он собственной персоной навстречу.

Бывало, конечно, и печальнее. Никогда не забыть, как принесли из дальней разведки моего дорогого дружка Ванюшу Деньгуба.

Ваня покидал жизнь среди друзей, приняв от них последнюю ласку. Его глаза встречали вокруг только одно желание — не отдавать его смерти, сохранить его вместе с нами. И это было его последней радостью. А что если бы Ванюша лежал один, брошенный под кустами живыми, здоровыми людьми? При мысли о такой обиде мне вся кровь кинулась в голову.

Я хлестал своего коня все сильней: пусть мы примем последний вздох Федора Бердуса, а может быть, и сумеем еще оказать помощь?

Ночь наступила какая-то невыразимо тихая, задумчивая. После недавнего шума боя в лесу словно все повымерло. А в покинутом лагере — просто жутко. Нас окружали только партизанские могилки. Жизнь отсюда ушла.

Спешились. Под кустом орешника, прикрытый, как одеялом, зелеными ветками, лежал раненый пулеметчик. Он дышал. Это вызвало большую радость, но в то же время еще большую, ярость

против дурака фельдшера. Состояние Бердуса было действительно очень тяжелое. Без сознания, глаза закатились, дыхания почти не слышно.

Мы срубили две березки и с помощью одеяла сделали хорошие носилки. Бережно уложили на них товарища и, не торопясь, двинулись обратно.

Едва мы догнали своих, я приказал вызвать ко мне медсестру отряда имени Чапаева — Евстратову. Мы вместе перебинтовали голову Федора Павловича. Надо сказать, что, оказывая эту первую помощь, мы почти ни на что не надеялись. Казалось, что бинтуем мертвеца. Но это было не так.

Днем наше соединение встало на привал в овраге, где-то на границе Понорницкого и Корюковского районов. По краям обрыва поставили охрану, и дневка протекала спокойно.

Я немедленно заявил командованию — товарищам Короткову и Новикову о преступлении фельдшера. Командиры дали строгое указание медицинским работникам сделать все для спасения человека. Клягина приказали к раненому не подпускать: он был лишен всякого доверия, и в штабе его судьба должна была решиться особо.

Но что же Бердус?

После того как ему чисто обработали раны, наложили повязку, прошел целый день. Бердус не только жил, но чувствовал себя лучше. Дыхание стало глубже и ровнее. К вечеру с большим трудом сквозь зубы ему влили два сырых яйца. За больным установили особое наблюдение, ведь он находился несколько часов в невероятных условиях, без всякой помощи, потерял много крови. Работники санчасти были возмущены торопливостью и безответственным диагнозом Клягина больше, чем кто бы то ни было. Выходить Бердуса сочли делом своей медицинской чести и геройства. Через тридцать семь дней Федор Павлович встал на ноги.

Это случилось уже незадолго до памятных дней, когда соединение ожидало встречи с частями доблестной Красной Армии. Мы с Федором Павловичем расстались.

После войны я получил такое письмо:

> «Здравствуйте, уважаемый командир отряда имени Чапаева, товарищ Артозеев. Привет вам от партизана Бердуса, Федора Павловича.
>
> Уважаемый командир! Часто я вспоминаю о том как после ранения в Кудровском лесу я свалился у станкового пулемета и товарищи сочли меня убитым. Пулемет взяли, а меня оставили. И был бы я теперь

мертв.

Когда я приехал в Семеновку и зашел к начальнику штаба — увидел на стене вашу фотографию. Это меня так растревожило, что я даже от радости заплакал. И в тот день я все разузнал про вас, — что вы живы и здоровы, и очень был счастлив.

И вот теперь я пишу вам письмо, как своему командиру, который, несмотря на тяжелое положение, не оставил меня на поле боя и снова возвратил мне жизнь.

Я пригодился для Родины, с боями дошел до Берлина.

Спасибо, товарищ командир! Встретимся, и вы увидите мою грудь, украшенную орденами, полученными на фронте. Это я отблагодарил партию за вашу заботу.

Ваш Федор Бердус».

В этом письме меня радует и волнует главным образом последняя строчка. Как удивительно точно и верно сказано: «Это я отблагодарил партию за вашу заботу».

Новости большие и малые

Вместе с большими, идущими к нам с фронта новостями, вместе с переменами, важными для всего хода войны, и в зависимости от них многое изменялось и в нашей жизни.

С виду наша работа была все та же. Как и прежде, мы били фашистов, уничтожали их транспорт, помогали нашему населению. Но теперь самые обыкновенные операции и будничные дела неожиданно представали в новом свете.

Сделали мы, например, смелый налет на спиртзавод в Азаровку. А на другой день узнаем, что не только среди населения, но и среди оккупантов разнесся слух, будто завод брали прорвавшиеся вперед части Красной Армии! Конечно, возможность такой ошибки была нам очень приятна.

В другой раз партизаны ошиблись сами: во время боя за село Ивановку над их головами появились советские самолеты. Видимо, они отбомбились и перед уходом домой сделали два круга над вражеским тылом. Но нашим бойцам очень хотелось думать иначе. Они говорили: «Летчики увидели, что партизаны ведут бой, и решили поддержать нас!» Одни доказывали, что

летчики только послали нам привет, то есть покачали крыльями, пожелали удачи. Другие уверяли, будто один из самолетов дал пулеметную очередь по рядам врага. Но все сходились на том, что «очень хорошо воевать при поддержке авиации».

Дело тут, конечно, не в ошибках, хотя они возникали неспроста. Каждый день десятки новых примет показывали нам, как изменилось соотношение сил, как уверенно движется Красная Армия, как близок час ее прихода к нам. А ведь люди на Малой земле ждали ее, как родную мать.

Мы и раньше, почти с самого начала, понимали, что делаем с Армией одно дело; с чувством особой ответственности шли на задания, полученные от командования с Большой земли. Но никогда еще партизаны так наглядно не наблюдали согласованность своих действий с армейскими, как в эти дни.

Теперь, исполнив приказ о создании пробки па том или ином участке железной дороги, мы собственными ушами слышали, как советская авиация бомбит подготовленную нами цель. Партизаны как бы создавали условия, наносили первый удар, а авиация удваивала его силу. Мы били врага почти одновременно, находились почти рядом, и для партизан, привыкших только к звукам тех боев, что вели сами, это было новым, удивительным ощущением.

Другой характер теперь приняли и наши боевые задачи по уничтожению противника и его транспорта. После битвы на Орловско-Курской дуге и других событий этого лета их надо было решать иначе. Да и враг стал иным.

Раньше мы всячески мешали оккупантам укрепляться на нашей земле, затрудняли их продвижение вперед, вглубь страны, к фронту. Теперь пришла пора встать на обратном пути врага, постараться превратить отступление в беспорядочное бегство, не дать врагу увезти с собой наших людей и наше имущество.

В особенно трудное положение попали наши подрывники. Раньше они стремились сбросить под откос эшелоны, что шли с боеприпасами на фронт. А как теперь разобраться? Нельзя же пропускать в Германию поезда, идущие с советской пшеницей, станками и другими ценностями? Уничтожать все это — тоже руки не поднимаются. Был случай, когда в вагонах оказалось много швейных машин: подрывники послали в лагерь связного с просьбой немедленно прислать на разгрузку людей. Вытащили аккуратно запакованные ящики с машинами и потом роздали населению.

Но попадались и грузы менее ценные. Подрывники были поражены, когда увидели, что подорванный ими состав вез могильные памятники, кресты, ограды и другой железный лом.

Увидеть такой груз было по-своему приятно: он показывал, как сильно нуждается в металле гитлеровское государство.

Насколько дела врага изменились к худшему, было видно не только по большим событиям на фронте; мы наблюдали первые признаки ослабления фашистской военной мощи в незначительных для общего хода дел мелких фактах собственной боевой жизни. Это было как бы отражением в капле воды. Особенно много таких признаков появилось в сентябре.

Форсируем железную дорогу. Знаем, что переправа охраняется. Однако нас — полторы тысячи. Боя не опасаемся.

Все головные отряды, потом середина колонны проходят в полной тишине. Наши заслоны стоят в бездействии — слыхано ли такое дело?.. Наконец, когда на полотно вышел последний отряд, его обстреляли из пулемета. Только и хватило храбрости нам на хвост наступить.

Переезд миновали, идем дальше.

Но что это происходит на лесных дорогах? Раньше ночь была только партизанским временем. Передвигаться и воевать фашисты предпочитали днем. Но вот дважды мы напоролись на их колонну, один раз они — на нашу. Значит, стали двигаться ночами: вынуждены пренебрегать опасностью встречи с партизанами, лишь бы поскорей оторваться от наступающих частей Красной Армии.

Вскоре произошла новая и довольно занятная встреча с врагом: наши поймали группу разведчиков. Раньше фашисты посылали разведку, чтобы отыскать партизан, дать адрес карателям. Теперь цель стала другая. Вражеские разведчики интересовались партизанами не для того, чтобы их встретить, а для того, чтобы избежать встречи. Оккупантам надо было обойти партизанский район. И так как волей-неволей отступление заставило их ходить не только по большим шляхам, но и по проселку и по лесу, им приходилось побеспокоиться о безопасности этих, всегда для них неприятных путей.

Вообще враги пришли в такое движение и встречались в таком количестве, как будто их из мешка высыпали. Нашему командованию не просто было определять, с каким именно врагом мы имеем дело.

Раньше партизаны твердо знали, что фашисты делятся на фронтовиков, карателей, заготовителей и так далее. Теперь враг идет и едет туда-сюда в такой каше, что не сразу распознаешь, кто где. Тут и разбитые, уже отступающие части, и отставшие от них, и свежие, идущие на подкрепление, и тыловые, брошенные на фронт, и переведенные с фронта в тыл. Нам это было далеко не все равно, ведь мы их били не вслепую: нужен толк, выбор и

точное исполнение указаний штаба партизанского движения.

Малоопытным людям могло показаться, что путаная обстановка и сумятица у врага облегчают нашу жизнь. Но это было не так.

В неожиданных столкновениях, какие теперь у нас бывали, появилась возможность неожиданным ударом разбить крупные силы неприятеля, но не менее легко оказаться разбитыми самим. Да, враг отступал, теснимый Красной Армией, но отступал хорошо вооруженный.

Гитлеровцы хотели верить, что их отступление временное и строили планы обороны на новых рубежах. Не отказались они и от борьбы с партизанами. Германская армия еще исповедовала идеи своего безумного фюрера, еще считала себя хозяйкой на нашей земле. И хотя дела ее были неважны, — это был все тот же лютый, жестокий враг, который никак не желал протрезвиться от хмеля «великих завоеваний».

Партизаны — люди трезвые, правильно понимали обстановку. Только среди молодежи попадались восторженные ребята. У них слегка кружились головы от радостных событий последнего времени, и они перегибали палку на свой лад.

Если старые бойцы ясно видели приближение победы, то они понимали, что для нее еще много надо сделать, да и время должно пройти немалое. Те же хлопцы, которых в начале войны не брали в партизаны потому, что им было по четырнадцать лет, добившись теперь счастья попасть в отряд, воображали, что им море по колено.

Прослышала наша молодежь, что село Мощенку прозвали среди полицаев «вторым Берлином». Действительно связные рассказывали, что сидевший там гарнизон укреплен очень сильно, оборона построена, как в крепости. По их представлению примерно так немцы должны были укреплять свою столицу!

Разведка проверила, что это за неприступная крепость. Оказалось — ничего такого, чего б мы не видали.

Когда гарнизон, окопавшийся в Мощенке, разбили, группа молодых бойцов устроила демонстрацию: разъезжали на трофейной пятитонной машине по селу и пели песню «Партизанские отряды занимали города.» Вернулись они в лагерь с таким видом, как будто в самом деле Берлин брали или по крайней мере, как сказано в песне, город.

Постоянно прислушиваясь к мнению и разговорам старых партизан, наша молодежь усвоила, что времена сильно переменились и воевать надо по-новому. Что это означает, ребята как следует в толк не взяли, однако отставать не хотели: по-новому, так по-новому! И выдумывали кто во что горазд.

Был у нас такой случай: требовалось изловить одного из постоянно ездивших в штаб большой немецкой части фельдъегеря мотоциклиста. Заполучить его следовало тихонько, не поднимая тревоги.

Приучая к боевому мастерству молодых разведчиков, им предложили подумать: как выполнить эту задачу? И что же они придумали? Смотрим — раздобыли катушки трофейного телефонно-полевого кабеля, нарезали куски и стали тренироваться: один бежит во весь дух, а другой забрасывает петлю. Добаловались до того, что боец Кукушкин сильно поранил и чуть не оторвал бойцу Мальцеву ухо. Пострадавшего отправили на перевязку.

— Что означают, эти фантазии? — спросили у хлопцев. А те объясняют, что им охота что-нибудь новое изобрести.

— Хватит, — говорят, — по-старому воевать. Времена не те!

— Да как же это вы работали? Чуть человеку ухо не оторвали?

— Подумаешь — ухо! Ведь «язык» и без уха годится — была бы голова цела. Мы над тем и бились, чтобы петлю закинуть и не удушить. А что Мальцев пострадал, так ведь это случайно и потом все же — для дела. Большой обиды тут нет.

Дело обошлось без новаторства. Мотоциклиста взяли из засады старым способом, который был не так-то уж плох. Это делалось с помощью той же проволоки, протянутой над дорогой так, что, наскочив на нее, ездок разом вылетал из седла.

По-своему чувствовали новое положение и те бывшие советские граждане, которые пошли на службу к врагам своего народа, своей Родины. Полицаям теперь приходилось, пожалуй, хуже всех. Кому они были нужны? Хозяева, которым они продались, и всегда-то обращались с ними без церемоний, теперь же, вступая с партизанами в бой, фашисты выдвигали перед собой живой заслон из полицаев.

Впрочем, какую-то их часть оккупанты отправляли в Германию, где, надо думать, на их долю тоже не было уготовлено ничего хорошего. С одной из таких партий нам довелось довольно близко познакомиться.

Наши подрывники взорвали железнодорожный путь, и на одном полустанке застрял поезд из Чернигова, в котором ехали собранные из разных районов полицаи.

Однако то будущее, которое немцы готовили для своих слуг, им не улыбалось. Воспользовавшись задержкой эшелона, почти все они разбежались. И пока гитлеровцы чинили путь, полицаи рассеялись в лесу. Они бродили в поисках какой-либо возможности пристать к партизанам и врали всякое, лишь бы

спасти шкуру и встретить Красную Армию на нашей стороне.

Среди этой падали обнаружили мы и наших заклятых врагов, замучивших в ночь на десятое июля лучших разведчиков отряда имени Чапаева — Николая Жадовца, Николая Бондаренко и Ивана Гречкосея. Мы расстреляли палачей с проклятием: кровь за кровь, смерть за смерть.

Остальным приказали, если хотят оправдать себя, пойти в бой без оружия, добыть его у врага.

Случай скоро представился. Стало известно, что неподалеку продвигаются по лесной дороге два дивизиона немецкой артиллерии. Их встречала партизанская засада. А полицаи залегли второй цепью, метрах в ста от нас. Мы накрыли врага сильным огнем; затем полицаи пошли врукопашную — многие добыли себе оружие, а если и погибли, так по крайней мере честной смертью.

В том бою мы захватили штабные документы артиллерийского полка. Из них стали ясны планы обороны гитлеровского командования на тупичевском плацдарме. Видимо, вообще сейчас шло активное создание новых опорных пунктов и притом на водных рубежах. Немцы возлагали большие надежды на оборону Десны и Днепра.

Наших разведчиков послали выяснить, что там делается. Как же я завидовал этим ребятам! Пожалел даже, что стал командиром отряда. Был бы, как прежде, рядовым — уж добился бы чести пойти в эту разведку. Ведь на Днепре решится многое не только для нас, но и для всего фронта. Да что говорить! Взглянуть бы только на эти воды! «Украина», «Днепр» — слова эти неразрывно связаны и дороги всем нам.

Но разведчики ушли, а мы остались при своих, как я считал, менее интересных делах. Однакоже, правду говоря, много интересного можно было заметить, даже не выходя из лагеря.

После частых и успешных боев у нас накопилось небывалое количество трофейного вооружения. Партизаны совсем позабыли про тяжелые времена, когда не хватало оружия, — каждый имел по своей должности, потребности и вкусу, и все были «сыты» оружием по горло. Куда больше стало и трофейного обмундирования. Раньше мы радовались ему: приходилось обуваться и одеваться за счет врага. Нынче люди тоже были оборваны. Однакож та гитлеровские мундиры стали смотреть иначе. Опротивели. Не желали мы в таком виде показываться населению, а тем более — встретиться с Красной Армией.

Наконец, не выходя из лагеря, можно было слышать звуки, которые для партизанских ушей казались слаще всякой музыки: все ближе и ближе стал доноситься грохот советской артиллерии.

Многие из старых партизан помнили, как уходили, отдалялись от нас голоса орудий, пока не замолкли совсем. Бои шли, но мы их не слыхали. Линия фронта отодвинулась далеко, мы остались на Малой земле. Только тот гром и слыхали, который сами делали. И вот наконец, через два года, снова зазвучала родная артиллерийская канонада!

Подолгу молча слушали, как рвутся снаряды, бомбы, иногда обсуждая, где они ложатся.

— Это в стороне Гомеля бомбят.

— Не бомбят. Артиллерия бьет.

— Господи, увидеть бы, как «катюши» работают!

— Увидим.

— Теперь скоро.

Скоро! — Весь лагерь жил подчиненный одной мысли, одному чувству: кончается наша скромная партизанская война. К нам идет большая, настоящая, серьезная. Теперь нас отделяло от фронта совсем небольшое расстояние — всего десятки километров. Теперь даже те товарищи, которые при каждом порыве помечтать заявляли: «Пока солнце взойдет, роса очи выест», даже эти скептики, и те стали строить планы. (Такие товарищи никогда те мечтают. Они планируют.)

У костров только и было разговору — кому куда поскорее необходимо попасть. Кто торопился в колхоз, кто в школу, на завод, в исполком, в учреждение. Другие, напротив, думали только об Армии: хотели обязательно гнать врага дальше, конечно, до самого Берлина.

В эти дни все наши люди разделились на два лагеря, два течения — к дому и к военной службе. Одни уже мечтали, кому из своих детей подарить на память партизанскую шапку, а другие — плечи под погоны готовили.

Я уже повторил перед товарищами свою клятву — сбрить в Берлине бороду, из-за которой меня в тридцать лет ребята дедушкой называли.

В общем все себя определили, нашли себе место и дело. Но рано. Оказалось, что мы слишком поспешили распоряжаться собственной судьбой.

Однажды поздно вечером стало известно, что фронт всего в шестидесяти километрах от нас.

Я долго не мог в ту ночь уснуть. Ворочался, прислушивался к громам орудий, разговорам товарищей. Никому не спалось.

Накануне события, которого мы ждали с таким волнением, я задумался о завтрашнем дне более трезво и спокойно.

Самые минуты встречи, конечно, нельзя было себе вообразить иначе, как в счастливом беспорядке: рисовались наши дружеские,

крепкие объятия, слышались крики «ура». И при этом в качестве молчаливых свидетелей обязательно должны были присутствовать все виды вооружения нашей Армии, а в первую голову танки и загадочные гвардейские минометы «катюши».

Мне кажется, без гвардейских минометов ни один партизан не мыслил себе встречу с Красной Армией, хотя всем нам эта картина представлялась по-разному.

«Но вот это случится, мы увидим своих, встретимся с регулярным войском. — думал я. — Что тогда?»

Конечно, партизанам не откажут в приеме в армейские ряды, часть соединения вольется в организованные вооруженные силы. Но всех ли возьмут? И как будет со мной? Ведь я — не вольный казак. Обком, наверно, примет решение — кого-то будут оставлять на гражданской работе. Раз наши города и села освобождаются от оккупации — надо их поднимать, строить, заново налаживать советскую жизнь.

Положим, думал я, на восстановление советского тыла меня вряд ли направят, поскольку я до войны никаких руководящих постов не занимал и практики не имею. Да ни за что я на это и не соглашусь. Хочу еще воевать и могу принести пользу на фронте.

Скажем, все выйдет по-моему. Безусловно, так. Меня возьмут в армию. Но тут опять остается много непонятных и тревожных вопросов.

Ведь я привык к своим бойцам, они ко мне. Многие, огромное большинство партизан отряда имени Чапаева, желали воевать дальше. Что же, нам придется в армии служить всем порознь?

Надо думать, новые боевые товарищи будут не хуже старых, но тех я хорошо знаю, а это очень важно для дела, да и странно будет видеть рассыпанным налаженный коллектив. И в то же время ясно, что взять нас в армию целым отрядом не могут. Об этом, очевидно, и думать не приходится.

Итак, с отрядом, с боевыми друзьями придется проститься. И это произойдет со дня на день.

Что будет дальше со мною? Пригодится ли во фронтовых условиях школа партизанской войны? Ведь в армии все иначе. Каким я сумею быть там командиром и сумею ли? Какое дадут воинское звание? В какую часть проситься? Или, быть может, спрашивать не станут — это решится само собой.

Да, мы все, конечно, очень туманно представляли себе, как устроятся наши дела. И кстати, что это за глупость моя старая клятва — снять бороду в Берлине? Кому же я нужен в армии такой лохматый: партизанская фантазия — прическа, фантазия — костюм. Там — порядок. И чем больше я думал об этом порядке, тем больше мне хотелось скорей его увидеть, оценить, испытать

на себе. Мы, партизаны, всегда были только младшими братьями армейцев. И я твердо знаю, что хочу повоевать теперь плечом к плечу с настоящими военными.

Но я не знаю, как в армии отнесутся к партизанам. Не знаю и того, кто, когда и где будет нас формировать. Как произойдет ликвидация соединения? Увижу ли я сейчас Чернигов, Семеновку, Добрянку да села, за которые приходилось воевать, уже свободными? Или пройду другой стороной, быстрым маршем, мимо родных мест?

Все будто и хорошо и ясно. На душе праздник. А все-таки вместе с праздником столько еще заботы, столько непонятного в том, как сложится будущее, что найти покоя в эту ночь было невозможно.

И вдруг среди ночи — срочно за мной. Из штаба. Значит — серьезные новости.

В штабе много народу. Весь обком, некоторые командиры. Собрались у стола, так заслонили головами лампу, что в палатке темно. Что-то разглядывают, тихо говорят. Стоит в стороне один Коротков и громко диктует какие-то списки. Новиков, необычно напряженный, взволнованный, — рядом с командиром. Накурено страшно.

Слышу знакомые фамилии, но не могу уловить: куда, что, кого?

Новиков, увидев меня, говорит:

— Сядь, подожди, сейчас.

Коротков обращается к нему:

— Значит, командиром отряда Костеневича?

«Что это, — думаю, — за наваждение? Какие они еще тут отряды составляют? Осоавиахима? Противовоздушной обороны?»

— Костеневича? — задумывается Новиков. — Ведь это было решено.

Я тихонько обращаюсь к Новикову:

— Семен Михайлович! Где я — то буду? Имей в виду — ни в какой отряд не пойду. Я — в армию!

— Постой, постой, дойдет очередь и до тебя.

В палатку продолжают собираться командиры. Все слушаем, нервничаем, ничего не понимаем.

Но вот Коротков поворачивается ко мне:

— Высказывай мнение, — говорит он, — согласен ли с этим списком командиров соединения? Какие имеешь предложения? Как видишь, командиром Сталинского отряда — Костеневич. Кого полагаешь на свой, Чапаевский?..

— Как это Чапаевский?

— Кого назначить командиром? — раздраженно повторяет

Коротков.

Тут уж я не выдержал:

— Ничего, — говорю, — не понимаю. Кажется, меня еще не снимали. А разве наши отряды будут сохранены?

— Ты что не знакомил еще командиров с радиограммой? — обратился тут Коротков к Новикову.

— Нет, только собрались. Я думал сразу всех.

— Так что ж, давай, а то ж люди не понимают.

И мы выслушали текст только что полученной из Москвы радиограммы.

Все в ней было прямой неожиданностью.

Для работы в советском тылу на освобожденной Черниговщине остаются члены обкома и советские, партийные и хозяйственные работники.

Соединение черниговских партизан имени Попудренко будет продолжать боевую деятельность в тылу врага, по новым указаниям Штаба партизанского движения.

— Завтра вы должны уйти не менее чем на сорок километров, — тут же, не давая опомниться, сказал Короткое. — Сейчас соединению необходимо оторваться от Красной Армии и всячески препятствовать переправе отступающего через Днепр врага.

— Как мы? — не понял кто-то. — А обком?

— Обком через два часа перестает быть подпольным. С нами здесь, в Гулино, останется человек сто пятьдесят. Вы же все.

Тут уже народ в палатке зашумел, загудел и что-либо понять стало окончательно невозможно.

Хорошо, обком остается. Соединение уходит. Но кто теперь поведет все отряды?

Наконец, кто остается, кроме членов обкома? «Кто уходит? Где списки? Будут ли считаться с личными желаниями?

Не понимал ничего по-прежнему и я. Почему меня спрашивали о командире отряда Чапаева? Значит, меня оставляют в советском тылу? Но это же несправедливо! Все знают, что я хотел продолжать воевать, да я и больше пользы принес бы на фронте. Все же опыт имею.

Чтобы разом внести полную ясность и всех успокоить, нам зачитали выработанный уже в Москве и дополненный здесь список лиц, остающихся на гражданской работе. Конечно, кроме Короткова, Новикова, Петрика, Капранова, Днепровского, тут были и командиры отрядов Водопьянов, Козик и другие. Меня в этом списке не было.

— Шум в палатке немного поулегся. Я не без горечи спросил у Новикова: — Вижу, Семен Михайлович, обо мне везде забыли.

Ну, я в тыл не просился — не обижаюсь. А вот почему у меня хотят Чапаевский отряд отобрать? Коротков вон спрашивал, кого я порекомендую.

— Потому, — невозмутимо ответил мне Новиков, — что есть решение обкома назначить тебя командиром соединения.

Что это была за ночь! Когда я вышел из палатки штаба, оказалось, что весь лагерь не спит. Все взволнованы, расспрашивают друг друга, ждут, когда покажутся командиры.

— В нашем распоряжении только один день, — отвечал я людям. — Завтра ночью — в новый путь.

Боевая жизнь соединения черниговских партизан имени Попудренко продолжается.